





АДЫЛ ЯКУБОВ

В ЭТОМ МИРЕ ПОДЛУННОМ...

РОМАН —
жизнеописание великих ученых средневековья
АБУ РАЙХАНА БИРУНИ и АБУ АЛИ ИБН СИНЫ —
основанный на достоверных фактах, а также
на легендах седой старины



МОСКВА
«ИЗВЕСТИЯ»
1989

ББК 84 Уэ 7
Я 49

Перевод с узбекского
Юрия СУРОВЦЕВА

Художник А. НИКУЛИН

Я $\frac{4702570200-093}{074(02)-89}$ —85—89

ISBN 5—206—00011—6

© Оформление. Издательство «Известия», 1989 г.

В ЭТОМ МИРЕ ПОДЛУННОМ...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Настоящее имя поэта — Кутлуг-каддам, но этого не знал никто. В Газне он известен как Малик-аш-шароб, по-простонародному Маликул шароб, что означает «повелитель вина», а стало быть, и тех, кто любит вино.

А питейное заведение, пусть никем и не сравниваемое с дворцами султана Махмуда, — да продлит аллах годы сиятельного владыки! — славится тоже всею в городе. Невзрачная лачужка, что находится на самой окраине? Это как посмотреть... Ну да, она приютилась далеко от сада Феруз и сада Махмуда, от беломраморного султанского дворца и чиновных палат с позолоченными фасадами, от лазурнокупольных величественных мечетей, цветников, орошаемых водой из серебристых фонтанов, от шумных караван-сараяв и базаров, где тесно человеку среди благоустроенных торговых рядов. Лачужку можно было найти в уединенном уголке в Афшане, в той части города, которую аллах предназначил для бедняков да нищих. Но ведь не всякий бедняк от рождения бедняк: тут собирались поэты, певцы и музыканты, еще не нашедшие признания или уже утратившие его, собирались изгнанные из дворца неудачливые колдуны-звездочеты, и воины, не пожелавшие приумножить воинскую славу сиятельного владыки, и попросту беглые люди, где-то когда-то кому-то служившие,

Бродячий ночной люд... Чаще всего никто из приходящих сюда под покровом тьмы не имел за душой ни монетки, но едва ли не каждый был горд и по-своему знаменит. Среди музыкантов оказывались прославленные мастера: не просто сетарчи, а Бобó Сетари¹, и не просто гиджакисты, а Пирí Гиджаки². И среди хафизов не редки были такие, к кому обращались: Бобо Хафиз Булбули³. Поэты же все величали друг друга, не скупясь, «повелителями слов», не иначе... Даже горбун-лавочник из Гургана, мастер играть на нае⁴, всего охотней откликался, когда его называли Пирí Букрí, что означает «святой горбун».

Лачужку свою «повелитель вина» унаследовал от отца, Карагуляма,— верного слуги победоносного воителя эмира Сабуктегина, отца нынешнего победоносного и снательного владыки, султана Махмуда Газнийского.

В юности Маликул шараб тоже был возлюблен султаном, приближен к сердцу и очам его, ну, а потом... Э, если б не та юная, четырнадцатилетняя красавица! Если б не она, Маликул шараб, может, и не стал бы Маликулом шарабом, оставался и по сей день Кутлуг-каддамом, одним из самых близких людей победоносного. Ну, и что тогда? Чего бы достиг он? Довольства, счастья? Высоких должностей — эмирства, например? Э, нет! Управляй ты половиной мира — счастлив не будешь. Скорей, чем срок тебе на роду выпал, от забот помрешь — вот и все! За вином да в беззаботности время проходит медленней.

Секретам виноделия Маликул шараб научился у одного старого садовника-гератца. Теперь сам стал винным чародеем, доказал, что не только в Герате, но и в Газне такие возможны. Вкушать вино Маликула шараба приходил не один лишь мелкий люд, и не только поэты-несчастливцы, и вообще несчастливцы; некоторые наделенные богатством и знатностью вельможи тоже не гнушались посещать лачужку. Да что там вельможи! Даже такой ученый, как Абу Райхан Бируни, временами навещался. И любимец султана, непревзойденный поэт Унсури. И сам визирь победоносного и снательного, отъявленный пьяница и женолоб Абул Хасанак... хоть порога

¹ Сетар — трехструнный щипковый музыкальный инструмент. Сетарчи — тот, кто играет на сетаре. Бобо Сетари — глава (буквально: отец, старейшина) сетаристов.

² Гиджак — народный инструмент, похожий на скрипку. Пирí Гиджакí — большой мастер и наставник гиджакистов.

³ Хафиз — народный певец. Бобó Хафíз Булбулí — буквально: певец-старейшина с соловьиным голосом.

⁴ На́й — музыкальный инструмент типа свирели.

не переступал, но своего человека за вином к Маликулу шарабу посылал неоднократно.

Правда, иногда то надзиратели рынков, то особенно шейхи-духовные отцы поднимали крик, обвиняя Маликула шараба в безбожии, пытались выгнать его из Газны, но, к счастью, сорок пять лет назад молодой тогда Махмуд, еще не султан, а эмир, прогнав от себя, отринув от сердца верного своего слугу Кутлуг-каддама (да, да, все из-за юной, четырнадцатилетней красавицы, которая приглянулась им двоим, но больше благоволила... ха-ха-ха...), издал на века нерушимый указ: «Из дворца долой, а поиному не наказывать...» Вот и живет Маликул шараб, не тужит. Прозябая живет? А это как посмотреть...

Обыкновенно костер беседы в питейной лачужке у Маликула шараба разгорается в сумерках, после захода солнца. Сегодня же любители-посетители стали являться раньше обычного.

Как всегда, пространство у самой двери осталось анашистам¹, калекам в лохмотьях да нищим-дервишам. Неподалеку от входа расположились ученики из медресе, иные любители поэзии, жаждущие выпить и узнать что-либо новое. На почетные места были приглашены два путешественника, приехавшие откуда-то в Газну: один постарше, лет пятидесяти, благообразный человек, с проседью в бороде и усах, украшенный чалмой, одетый в синий бархатный халат, поверх которого белела накыдка; второй был молод, худобой лица и тела похож на дервиша, только одет не в рубище, но и небогато.

Через некоторое время явились с музыкальными инструментами под мышкой Бобо Сетари и Пири Гиджак, завсегдатаи, желанные мастера музыки. А вслед за ними Бобо Хафиз Булбули, совсем уж старик, однако сесть не желавший, бороду и усы красящий, и с ним Пири Букри, тоже немолодой возрастом и, как мы уже знаем, любительная, низенький, с непомерно большой головой (о таких говорят: сам худ — голова с пуд).

Черный Паук — его еще и так называли за глаза. Родом он из Хорезма, родного края Абу Райхана Бируни. В Газне на базаре «Афшан шал» Пири Букри держал лавку.

О горбуне музыканте разные слухи шли в городе. Будто покупает он и ворованные товары; будто обладает неисчислимым богатством в золоте и драгоценных камнях;

¹ Анаша — растение, из которого и до сих пор делают наркотические снадобья.

будто игра его на нае — для отвода глаз... Аллах ведаёт, что тут было правдой, а что — ложью. Во всяком случае, Маликул шараб не испытывает к горбуну ничего, кроме дружелюбной жалости. В свою очередь Пири Букри ценит и самого винодела, и его дружеское участие к себе: вот уже пятнадцать лет с тех пор, как приехал из Гурганджа, прошло, и чуть ли не каждый вечер в питейном заведении Маликула шараба играет-заливается най, да так, что сам плачет и других до слез доводит. Играет горбун — и людям кажется, что сама душа выплакивает какое-то неутешное горе в звуках печально-сладких, и забывают люди нехорошие слухи о Пири Букри.

Месяц назад Пири Букри обратился к виноделу с некой тайной просьбой, удовлетворение которой, как поговаривали, было делом весьма шекотливым, Маликул шараб вынужден был отказать. Пири Букри перестал посещать уютную лачугу, а Маликул шараб переживал его отсутствие, душевно страдал из-за того, что обидел старого приятеля. Понятно, как сильно обрадовался он сегодня, когда увидел у себя вместе с «певцом-соловьем» и «святого горбуна». Приказал талибам¹ принести из погреба целый хум² вина десятилетней выдержки.

Любители-ценители одобрительно зашумели:

— Да сопутствует тебе удача, Маликул шараб!

— Да живет Маликул шараб сто лет...

Когда-то Маликул шараб умел, как говорится, выпить, — мало кто мог сравниться с ним в этом занятии. Но, перевалив за шестьдесят, достигнув возраста пророка, несколько ослаб; сам теперь не столь часто, как прежде, прикладывался к сладостным источникам, больше угощал других, с тем, однако, чтоб лились и поучительные, и веселые беседы — не одно вино. За красивую газель, интересный рассказ, сердечную песню исполнитель вознаграждался чашей доброго вина, и в предвиденье такого вознаграждения настроение певцов и поэтов поднималось само собой, равно как и состязательный их дух.

Но вот сегодня Маликул шараб, отпивая вроде бы по глоточку-другому, сильно захмелел.

Оно и понятно, скажем еще раз: сегодня пришел старый приятель — Пири Букри, целый месяц его не было, обижен был, а нынче прибыл, осчастливил лачужку да еще сыграл такую мелодию вместе с Пири Гиджаки, что

¹ Т а л и б — ученик духовного училища (медресе).

² Х у м — большой глиняный кувшин для хранения воды, масла, вина.

не осталось ни одного, кто не прослезился бы в ответ... Ну, и путники, прибывшие в Газну, в столицу государства сиятельного султана... Они оказались хорасанцами, земляками великого Абулкаси́ма Фирдоуси, и когда беседа подошла к «Шахнаме», то уж, ясное дело, не минула она и сиятельного и могущественного,— ведь это Махмуд Газнийский обидел поэта, а поэт едкими стихами отозвался на обиду. Тут беседа разгорелась, будто пламя от ветра. Одни восхваляли поэта; другие, наоборот, его упрекали: «Коль Абулкасим мудр, зачем он венец своей мудрости — поэму «Шахнаме» — посвятил султану, которого не любил? Больших подарков ждал? Но разве это мудро?» Третьи, струхнув не на шутку, тихо и незаметно оставляли круг спорящих. Маликул шараб не спорил и едва ли даже слушал; неверными жестами поправлял он свою старую, конусом, дервишскую шапку, оглаживал свой бязевый старый халат, бередил и без того растрепанную бороду; перед ним будто витал сам досточтимый Абулкасим Фирдоуси, да уготовит ему аллах место в раю,— некогда, перед тем как покинуть Газну, покойный поэт пожаловал в эту вот невзрачную лачугу, к Кутлуг-каддаму. А за день раньше, помнится, по городу пронесся вихрь противоречивых слухов. Одни утверждали, будто султан Махмуд выказал поэту большую милость, распорядился за каждую строчку великой «Шахнаме» выдать по золотому, но иные, наоборот, говорили, что султан не одарил поэта даже простым халатом, а деньги, все же заплаченные,— хотя сколько их там было, тех денег? — Абулкасим взял да и пошел тут же в баню, все их там и раздал банщикам да нищим, а сам сочинил едкие стихи про султана!

Маликул шараб припомнил, как «шах поэтов» навещил его. Абулкасим был уже в почтенном возрасте, с белой бородой на груди, но держался прямо, выглядел человеком крепким, глаза сверкали живостью и видели далеко. Он и впрямь был острым на язык, что не нравилось многим, не только султану Махмуду. Когда поэт приходил сюда в хорошем настроении, то охотно рассказывал разные истории из «Шахнаме» или легенды о жите-бытье мудрецов, и люди жадно слушали великого мастера, учителя, мудреца, а если старик был в плохом настроении, то, даже не присев, молча выпивал одну чашу и тут же уходил.

В тот, последний, раз учитель поразил Кутлуг-каддама необычным видом. Волосы на голове и борода растрепаны, длинное худощавое лицо осунулось, зоркие глаза под

густыми седыми бровями горели гневом, и одет не так, как всегда, не в парчовый халат, а в скромный, черного цвета чекмень, на голове старая шапка, в руках посох, на плече переметная сума.

— Маликул шараб! — сказал тогда учитель с порога. — Я не тот, кого ты знал и звал «шахом поэзин», а бедняга, кого можно легко и просто оскорбить и унижить, я нищий без деньгí в кошельке. Если ради аллаха дашь пиалу вина, выпью, благословляя тебя, если нет... покину твою питейную... с улыбкой на губах и злобой в душе, как учат меня жить в вашей Газне.

С жадностью осушил тогда Абулкасим Фирдоуси большую чашу. Возвратил ее хозяину, заговорил горестно:

— Нет! Нет, Маликул шараб! Я проливаю слезы не из-за того, что живот мой пуст, а на плечах нет богатого халата. Достоинство человека, достоинство поэта султан оценил в двадцать тысяч дирхемов¹. Каково? За «Шахнаме» — двадцать тысяч дирхемов. Я их раздал нищим! Не оставил себе даже мелочи и вот теперь, словно безгрешный ангел, стою перед тобой. Собрался в родные свои края, голым пойду... Увы! Такова, видно, участь всех поэтов и мудрецов в этом султанате, среди роскоши и несправедливости!

Но что поделаешь? Скажи, разве не сам я виноват? Я, написавший историю благородных и справедливых царей, я, воспевающий честных и праведных, — я у такого султана пришел искать правду? О неразумный!.. Мне говорят: султан недоволен тем, что я, его покорный слуга, противопоставил Иран и Туран! Будто персидских царей я возвеличил, а тюрков унижил!.. Нет! Нет! — учитель высоко и гордо вскинул голову. — Одну страну натравливать на другую, один народ унижать, другой превозносить — это дело не поэтов, не мудрецов, а султанов и шахов! Я, покорный их слуга, в своем дастане воспел правду! Одну лишь правду, клянусь аллахом! Придет время — оно уже, чувствую, близко, — и я покину сей бранный мир. Но «Шахнаме» на веки вечные останется... да будет на то воля аллаха, а кто прав, кто не прав, покажет время, Маликул шараб!

Так он тогда сказал, «шах поэтов» и учитель. Отказался выпить вторую чашу вина, ушел. Уехал. Исчез. Навсегда...

Из раздумий Маликула шараба вывел взрыв хохота,

¹ Дирхемы — мелкие серебряные монеты.

резко выдлившийся в общем галдеже. Музыканты, оказывается, давно умолкли; разговоры рассыпались по группкам. Старик в грязных лохмотьях, со спутанной, давно, видно, не чесанной бородой, выскочил из одной хмельной группки и живо подскочил к хозяину. Маликул шараб хорошо знал старика. Да и другие знали его в лицо, хотя никому не известно было, откуда он. Откликается старик и на «Бобо Хурмо»¹, и на «Бобо Савдои»². Рассказывали, что как раз там, где ныне разбит роскошный сад Феруз, росла некогда рощица хурмы и хозяином ее был вот он, старик. Да лет двадцать назад блистательному султану приглянулось то место, отобрал он у хозяина его рощицу, самого изгнал оттуда, и тронулся умом изгнанный, бросил все, что у него было, стал нищим и уже много лет бродит по улицам, просит милостыню.

Тот, кто знает эту историю, жалеет старика, а детвора Афшаны дразнит:

— Бобо Хурмо! Бобо Савдои! Благослови и дай хурмы!

Бобо Хурмо почтительно склонился перед Маликулом шарабом.

— О, простите, Маликул шараб! Тут у нас разгорелся спор о хороших и плохих повелителях... Если будет позволено... есть одна интересная и поучительная сказка...

— Расскажи, Бобо Хурмо!

— А кто оплатит?.. А, Маликул шараб?

Гвалт хмельного люда стих, многие повернулись к хозяину:

— Рассказывай, Бобо Хурмо! Не одну, а десять чаш вина даст тебе Маликул шараб! Он добрый...

— Открывай рот, Бобо Хурмо! Прямо из хума вино в живот польется...

Маликул шараб, тоже улыбаясь, махнул Пирри Букри.

— Налей-ка ему, друг, пусть досыта утолит жажду.

Две касы³ опрокинул старик, одну за другой без передыху, утер губы, поднял руку, постоял, прикрыв глаза; дождавшись тишины, начал:

— Итак, в давние-предавние времена отправились в путешествие по свету двое друзей. Шли долго-долго, устали, остановились наконец под старым раскидистым карагачем, передохнуть. Все, что имели съедобного, поде-

¹ Хурмо — хурма.

² Савдои — помешавшийся человек.

³ Каса — большая пиала.

лили поровну. Разговорились. Один приятель спрашивает другого:

«Что бы ты сделал, если б вдруг стал шахом?»

«Если б посчастливилось мне стать шахом,— отвечает спутник,— навел бы порядок повсюду в своем государстве, везде установил бы справедливость... Чего бы ни пожелали мои подданные, все сделал бы! А ты?»

«А я?.. Всех людишек... поставил бы на колени, разорил бы дотла, так, чтоб не нашлось у них, на что купить бязь для савана, когда помрут...»

«Почему же так жестоко?»

«Потому что людишки — это заблудшая в грехе чернь, не понимает она ни добра, ни зла и лучшей участи не заслуживает».

На следующий день друзья продолжили путь. Шли долго-долго и пришли в один огромный город. Видят — на площади перед дворцом народ толпится, почти каждый в руках кусок мяса держит, и все смотрят вверх, на птицу в небе. Ну и выяснилось, что за день до их прихода покинул сей бранный мир правитель городской. Был он бездетный. Потому на совете мудрецов решили выпустить из клетки любимого прежним правителем старого беркута: на чью голову он сядет, тот и станет новым правителем. А беркут покружил-покружил над толпой да, по воле аллаха, и опустился на голову немилосердного путника.

Не сразу решились в городе сделать своим хозяином чужака неведомого, снова пустили беркута в небо.

И опять он сел на голову немилосердного. От судьбы, стало быть, не уйти.

Сел путник на трон да и осуществил все, о чем говорил: разорил всех непомерно высокими налогами, истерзал жестокостью и несправедливостью. Люди отыскиали друга своего правителя, попросили: заступись, мол, за нас. Добрый путник пришел к правителю. Тот его с радостью встретил, но, услышав слова заступничества, оборвал: «Не вмешивайся не в свои дела.— И добавил: — Помнишь наш разговор?.. Да, я этих людей разорил, замучил несправедливостями. Скажешь, себе во вред? Пусть так. Они же глупы. И лучшей участи им от меня ждать не приходится. Иначе — разве посадили бы они меня на трон, поверив птице, этой неразумной твари аллаха? Невежды получили то, что заслужили. Мудрого правителя достоин мудрый народ. А невежды и глупцы достойны глупого шаха!»

Вся лачуга содрогнулась от смеха.

— В чем смысл сказки, эй, Бобо Хурмо?

— Ясно, как день! Таким дуралеям, как ты, нужен злой и глупый правитель, чтоб ты поумнел наконец!

— Как наш султан Махмуд? Да? На это намекает Бобо Савдои?

— Сам ты Савдои! Нечестивец!

— Это слова не Бобо Хурмо, а заступника бедняков имама Исмаила Гази!

— И правда! Эй, Маликул шараб, ты сам султанов недруг и в свою питейную зовешь таких же?

— Захлопни рот! Если султан услышит такое, он и тебя повесит, глупец!

— Да еще поджаривать будет снизу...

— Да замолчите! Здесь тоже могут быть доносчики султана!

— Покажи-ка мне такого! Сам его повешу!

Маликул шараб протрезвел. Встал, поднял руку. И когда постепенно шум стих, приказал налить еще одну пиалу вина старику Бобо Хурмо.

Опять клики восторга, хвалы хозяину, споры, шум, гвалт.

Что было потом, Маликул шараб не запомнил.

Когда открыл глаза, увидел, что лежит в узенькой комнате Наргиз-бану. И над ним с едва мерцающей свечой в руках — Пири Букри.

В полумраке комнаты горбун в хорезмской своей бараньей шапке на голове и в черном чекмене и впрямь похож на огромного паука, подумал Маликул шараб и невольно вздрогнул. В медленно проясняющейся голове родилось опасение: «Опять пришел со старой затеей?»

Месяца три назад купил себе Маликул шараб рабыню лет пятнадцати. Звали ее Садаф, была она из Хорезма. Как и Бируни. Как горбатый торговец, любитель ная.

Садаф-биби¹ была проворной, ловкой, ласковой; всем она у Маликула шараба понравилась; с ней было хорошо и старой Наргиз-бану, уже много лет прикованной к постели. Когда у Маликула шараба гостил ученый друг-хорезмиец, он, увидев Садаф-биби, попросил хозяина отдать девушку ему:

— Пусть послужит у меня в доме. Тут ей, среди голодранцев и дервишей, не место.

Маликул шараб сначала отказал Абу Райхану, но потом, подумав, согласился отдать Садаф-биби. Как назло,

¹ Биби — ласковое добавление к женским именам; бану — уважительное.

в те самые дни с такой же просьбой пришел к нему и горбун. Маликул шараб сказал ему, что обещал свою служанку Абу Райхану, но горбун упал на колени и стал упрасивать Маликула шараба, обещал десятикратно превысить ту сумму, которую должен был заплатить Бируни за Садаф-биби. Для Абу Райхана важно было, что девушка хорезмийка, ему нравится, мол, как мило она говорит и поет по-хорезмийски. Удивительно: и горбуну, коль его послушать, пришлось по душе то же самое в девушке! Но Маликул шараб сдержал свое слово, отправил Садаф к Бируни. С тех пор Пири Букри и обиделся на винодела.

«Неужели и сегодня Черный Паук затеет старый разговор?» — подумал Маликул шараб.

— Ну, в чем дело, дорогой мой?

— Маликул шараб, беда... — Пири Букри наклонился еще ниже, зашептал: — Один из чужаков затеял ссору... Молодой...

— Ссору? Тогда пусть идет на все четыре стороны... А что ему нужно?

— Видишь ли, он требует высокое место, достойное его господина...

— Хм, высокое место не ищут в нашей лачуге. Скажи: пусть идет к султану Махмуду! Во дворец «Невеста неба»...

Пири Букри поднял свечу, которую держал в руках, выпрямился, осмотрелся, будто хотел убедиться, что никто нигде не спрятался. Опять склонился над Маликулом шарабом:

— Молодой путешественник намекает, будто его спутник — тот самый... исцелитель недугов... почтеннейший Абу Али Ибн Сина!

— Что ты сказал? — Маликул шараб резко приподнялся на ложе.

— Да, да... Тот, мол, самый, прославленный во всем подлунном мире целитель... Абу Али Ибн Сина.

Маликул шараб встал. Широко открытыми покрасневшими глазами окинул взглядом Пири Букри с головы до ног. Погладил бороду, улыбнулся:

— Ну, а если это в самом деле почтеннейший Абу Али... тем более пусть идет к сиятельному султану. Ведь уже двадцать лет, как султан его ищет, ищет, да не находит!

Пири Букри еще раз оглядел занавешенные углы комнаты.

— Это он, он... молодой-то показал рисунок, который, помнишь, нам мавляна¹ Бируни показывал. Так вот, пришел и человек на рисунке — они как две капли воды.

Маликул шараб полностью пришел в себя. Накинул на плечи пестрый домотканый халат. Тут из одного угла, из-за занавески, послышался слабый голос: «Мой мирза»².

Маликул шараб кивнул горбуну: «Ты иди пока, я сейчас...» — и двинулся на голос.

За ширмой в полумраке — в стенной нише едва тлела лампада — сидела в постели худенькая седая женщина. Огромные глаза и седые снежно-белые волосы выделяли из темноты ее лицо; маленькая красная родинка на лбу показывала, что родом она из Индии.

Маликул шараб опустился на колени перед ложем, ласково-нежно спросил:

— Почему не спишь? Опять начались боли, бану?

Наргиз-бану поправила волосы (рука покалечена, не хватает двух пальцев), большие черные глаза ее сверкнули.

— Это правда, что у нас великий хаким, я не ослышалась?

— Дай бог, чтоб это было правдой.

Маликул шараб осторожно взял трехпалую ладонь жены в свою, поднес к губам, — острая жалость, любовь сжали сердце. Нет, сколько бы лет с тех пор ни прошло, сердце не перестает болеть...

На окраине Газны — замкнуто-обособленно — жили выходцы из Индии. Но и там было местечко для тайных пирушек, где обычно выступали индийские музыканты и очаровательные танцовщицы. Зачастил туда — понятно, втайне от набожного отца — избалованный сын Сабуктегина, молодой Махмуд, конечно, со своим верным Кутлуг-каддамом, которому полностью доверял: с детских лет росли, можно сказать, вместе. Юношей влекли не просто танцы, нет, — очаровательнейшая из очаровательнейших, — Наргиз. Ей тогда было четырнадцать; всякий, кто видел ее, не мог потом оторвать глаз от красавицы. Стройная и нежная, хрупкая и гибкая, целомудренная и страстная, девочка-девушка Наргиз, с красной родинкой на лбу и большими черными глазами, то смешливыми, то горестными, то манящими, она была неотразима. Мила и

¹ М а в л я н а́ — ученый; человек больших знаний.

² М и р з а́ — здесь: господин, глава дома.

чиста, как ребенок, а жгла юношеские сердца, будто пламя. Наргиз танцевала так, что, казалось, все живое хотела объять своим пламенем, умчать ввысь, одушевить и воскресить даже мертвых...

В тот несчастный, в тот страшный вечер Наргиз — в одеянии из мягкого желтого шелка, в двойных золоченых кольцах и браслетах на запястьях и щиколотках — превзошла себя, и лишь только закончился грациозно-страстный танец, как эмир Махмуд и его верный Кутлуг-каддам одновременно грохнулись на колени перед дивной танцовщицей и одновременно протянули ей чаши, приглашая красавицу пригубить.

Обжигая юношей своими очами-звездами, с невинной улыбкой на губах, Наргиз грациозно поклонилась знаменитым гостям. Нежные пальцы, крашенные хной, протянулись... нет, не к чаше эмира Махмуда, а к чаше его слуги Кутлуг-каддама! Красавица взяла чашу, но пригубить не успела. Молодой властитель вскочил на ноги, в мгновенном взрыве безрассудной, яростной обиды швырнул свою пиалу в потолок, и никто не успел и глазом моргнуть, как в руке его сверкнула выхваченная из ножен сабля. Крик, замешательство; вскинутые в ужасе руки Наргиз; повалившиеся под ноги Махмуду бородатые индийские музыканты; кровь, хлынувшая на руки, плечи, грудь девушки, ее отчаянный вопль... Он-то, Кутлуг-каддам, вскочил на ноги с опозданием, но тоже вскочил и тоже бросился к эмиру. Безотчетно схватился за лезвие вновь взметенной Махмудом сабли, увидел свою кровь, но даже не почувствовал боли.

А на следующий день эмир Сабуктегин призвал юношей к себе. Хмуро-грозный, сидел он на низком, отделанном золотом троне, а неподалеку от трона стоял отец Кутлуг-каддама, Карагулям. Не глядя на провинившихся, Сабуктегин сказал, как отрезал:

— Думал, что вы станете верными друзьями, неразлучными и в бедах, и в радостях. Слышал, что вы теперь не друзья, не братья, а соперники. А где появилось соперничество, там не будет преданности. С этого дня не желаю видеть тебя во дворце, Кутлуг-каддам! И тебя, Карагулям!.. Знаю, ты прослужил мне двадцать лет. Преданно, тоже знаю. Но я должен прогнать тебя из-за твоего гордеца-отпрыска. Благодарю за верную службу!..

Карагулям — да благословит его душу аллах! — был богатырь и телом, и нравом. От слов старого эмира лицо его потемнело и окаменело. Молча выслушал повелителя.

Бросил на сына взгляд исподлобья, кивком головы позвал: «Идем»; молча направился к выходу.

...Воспоминания Маликула шараба прервал голос Наргиз-бану:

— Что с вами, мой мирза? У вас слезы на глазах...

Покалеченной ладонью жены Маликул шараб стер влагу со своих ресниц. Губы его дрогнули:

— Милая, что взять с хмельного дервиша?

Наргиз-бану, будто мать, что увещевает ребенка, грустно посоветовала:

— Не пора ли вам бросить вино и пирушки? Вы ведь уже в годах пророка, мирза...

— Да простит он меня, грешного, ханум. Сей дервиш, хоть и постарел телом, душой молод. А вино...

Да, вино для меня — как с глазами газели красавица.
Целовать ее — значит, от всяких недугов избавиться.
Ну, а выпить вина, золотого, хмельного вина?
Мне оно — как любовь — исцеляющей силой является.

Наргиз-бану убрала руку, грустно улыбнулась.

— Идите, почтеннейший врачеватель вас заждался.

— Дай бог, чтоб это был действительно он. Тогда вы поправитесь, дорогая ханум...

...В питейной комнате было уже сумрачно. Кроме двух приезжих да Пири Букри, все разошлись, только у выхода, скорчившись на циновке, спал беспробудно какой-то нищий, подложив под голову старый, дырявый свой трех.

Благообразный человек с красиво подстриженными бородой и усами, и впрямь похожий на ученого мужа, дремал на почетном месте, привалив тело к стене и подложив себе с обеих сторон подушки, а его моложавый спутник, ученик, как тут же и назвал его Маликул шараб, расположился рядом, за низеньким столиком и, показывая Пири Букри какой-то свиток, что-то, видно, растолковывал горбуну.

Винодел остановился от них как раз на таком расстоянии, чтобы сравнить можно было дремлющего на двух подушках пожилого благообразного мужа и свиток-рисунок в руках его ученика...

О аллах! Ну конечно, то было изображение почтеннейшего Ибн Сины, то самое, что он, Маликул шараб, видел однажды в руках почтеннейшего мавляны Абу Райхана Бируни! И дремлющий путешественник был словно две капли воды похож на изображенного.

Молодой ученик хмельным, неверным движением откачнулся от Пири Букри, пошатываясь, встал.

— Да будет благословен Маликул шараб — истинный глава весельчаков-винолюбцев достославной Газны!

Маликул шараб не любил пьяниц, но хмельная выходка этого молодца, будто детское баловство, показалась приятной.

— Простите нас великодушно, повелитель вина! — продолжал ученик. — Мы много слышали о вас доброго и потому, прибыв из Туса в Газну, отправились прямо к вам. Но вы покинули пир, и без вас, к сожалению, не только ко мне, но и к знаменитому исцелителю всех недугов не было проявлено должного почтения, почему я и позволил «отвоевать» для устода¹ и место, где он пребывает, и подушки, коими подпирается...

— Из города Туса? — Маликул шараб не обращал внимание на велеречие захмелевшего. — Но разве почтеннейший Ибн Сина не родился в благословенной Бухаре? Разве почтеннейший родом из Туса?

— О нет, повелитель вина! Почтеннейший устод родился в благословенной Бухаре, истинно так. Но Бухара была завоевана илек-ханом Насром². И вот с тех пор наш шейх-ур-ранс³ скитается из города в город, из одного государства в другое... Но где бы он ни бывал, везде добрые люди оказывают ему и его ученикам знаки высокого уважения. А вы, газнийцы, этого не сделали! — ученик вдруг гневно возвысил голос, и пожилой благообразный путешественник встрепнулся, встревоженно стал осматриваться. Он увидел нестойко держащегося, но гордо вскинувшего голову ученика своего, и растерянно застывшего Пири Букри, и Маликула шараба, всплеснувшего руками в ответ на гневливую тираду, — кажется, тут же все понял.

— Глупец, невоздержанный на вино и слова, — сказал он ученику не без горечи в голосе. — Сколько раз я тебе говорил, что не следует торговать моим именем, сколько раз предупреждал я тебя...

Просто сказал и покоряюще благородно как-то, и Маликул шараб, прижав правую ладонь к груди, низко поклонился путешественнику.

¹ Устод — учитель, мастер.

² В 999 году тюркские племена, возглавляемые илек-ханами, разгромили государство персоязычных саманидов, захватив их столицу Бухару. При этом погибла знаменитая библиотека.

³ Шейх-ур-ранс — «шах ученых», «наставник ученых» — так звали Ибн Сину на всем Востоке.

— О шейх-ур-раис! Это я, грешный, виноват, я, ваш покорный слуга. Не знал, что в мою бедную лачугу пожаловал почтеннейший Абу Али Ибн Сина!.. Тотчас во внутренних покоях моего дома вам приготовят все для приятного отдохновения... Эй, кто там! Поживей поворачивайтесь!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я тебе говорил о жестокостях султана Махмуда Газневи. Но я еще не говорил о другом великом представителе времен Махмуда. Это — Абу Райхан Бируни. Во времена безмерной жестокости он глубоко присматривался к жизни, отличался тем, что как великий ученый стремился докопаться до правды...

Джавахарлал Неру

Целую неделю Бируни мучился от жестоких приступов малярии.

И потом еще — от бессонницы.

И от тяжелых, давящих снов в короткие промежутки между бодрствованиями. Ничто не могло тогда разбудить его — ни стук, ни грохот. А тут тихий шепот вывел его из забытья.

Бируни увидел неподалеку от своей постели Садаф-биби. Время, кажется, позднее, уже зажжены были свечи, но узкая комната, вся заставленная книжными полками вдоль стен и в стенных нишах, выглядела по-дневному светлой. Садаф-биби, видно, думала, что он заснул, как обычно, крепко; осторожно двигаясь, стирала пыль с книг. И пела, и, кажется, тихо разговаривала сама с собой.

На девушке было полосатое синее платье, синие сафьяновые кавуши с загнутыми носками. Чуть слышно вела она какую-то мелодию. Бируни вслушался — хорезмийская. Иногда Садаф-биби, прервав пение, принималась листать какую-нибудь книгу — в красном, или синем, или желтом кожаном переплете, и тогда на маленьком круглом лице девушки появлялось выражение удивления и радости, заинтересованности и непонимания — все разом. Положив книгу на место, Садаф-биби снова принималась напевать вполголоса, точно с того места, как замечал Бируни, на котором прежде остановилась. Ему да не знать знакомых с детства напевов! А когда слова и напев ты

слышишь из таких милых уст, сердцу вдвойне приятно.

В памяти оживали детские и юношеские годы, вставали перед глазами близкие сердцу берега Аму... Как же соскучился он по родным своим песням, сколь долго мечтал послушать голос, точно, естественно передающий особость, единственность родной хорезмийской речи.

Бируни сразу же, как увидел Садаф, был очарован ее нежным голосом, картавинкой хорезмийской, впитавшейся в кровь с материнским молоком. Не красотой даже, хотя и красота девушки бросалась в глаза,— больше всего голосом, речью. А когда узнал, что Садаф и впрямь из маленького села между Ургенчем и Кятом¹,— о, тогда Бируни столь крепко вцепился в Маликула шараба, что, наконец, тот не устоял и отдал девушку.

До появления Садаф-биби ученый жил в этой вот комнате, и был у него один слуга, он же ученик, индус Сабху. Юноша умело вел домашние дела, освобождая Бируни от повседневных забот. Но как же все заблестело, заиграло, будто в теплых солнечных лучах, когда в их дом вошла молодая служанка-хорезмийка, улыбочивая и милая Садаф-биби.

Странно, да и только: молодость Бируни уже давным-давно прошла, а с того дня, как появилась Садаф-биби, в его душе повеяло чем-то светлым, весенним,— право слово, ученый не хотел строго определять, что же это за чувство навестило его. Когда-то он испытал похожее.

Да, те дни быстро пролетели, как сама весна, но, исчезнув, оставили в душе некий свет... Звали ее Райхана, да-да, Райхана-бану.

...Нет, Садаф-биби не похожа на Райхану-бану. Та была дочерью известного торговца из Кята, к тому же христианка. И еще припомнил Бируни: Райхана была белолицей, с большими глазами, в них голубело весеннее небо, а золотисто-рыжие волосы так и полыхали на солнце.

Больной смежил веки.

...А Садаф-биби смуглая, круглолицая, глаза иссиня-черные, брови тоже темные. Но все равно чем-то напоминает она ему Райхану. Чем? Этого он не берется объяснить... Так ли уж все надо объяснять? Ему довольно того, что каждый раз, когда он видит Садаф-биби, слышит ее мягкую, с картавинкой речь, невольно припоминается Райхана-бану. И на душе светлеет...

¹ Кят — старинный хорезмийский город, где родился Бируни.

Вот как сейчас...

Садаф-биби быстро повернулась, почувствовала на себе его пристальный взгляд; вся вспыхнув, подошла к постели.

— Лекарство, то, что вы заказали... я его принесла, учитель!

— Кто ходил за лекарством? Сабху?

— Нет, Сабху занимался ужином. Я ходила, учитель.

Полуприкрыв лицо краем красной косынки, Садаф-биби присела к столу, на котором рядом с кувшином, полным сладкого шербета, лежал небольшой сверток. Голос девушки вдруг изменился, дрогнул:

— Учитель! Если позволите... я не буду ходить на базар в тот ряд...

— Почему?

— Горбун, похожий на паука... он сегодня приставал ко мне...

Бируни приподнялся на локоть.

— Говорил плохие слова... Лучше не спрашивайте меня, лучше я замолчу, учитель.

История повторяется, да?..

Длинные пальцы Бируни невольно сжались в кулак.

Вчера утром за лекарствами ходил он сам. Заказал что надо, но только вышел за порог лекарственной лавки — из угловой в ряду лавки выскочил какой-то нескладный человек, издали похожий на пень, и преградил ему путь. Бируни узнал его: любитель поиграть на нае в питейной у Маликула шараба, известный в городе скупщик вещей, продает всякую всячину — и одежду, и утварь, и предметы хозяйства в доме, и еще, говорят, драгоценности... и деньги в рост дает. Пирн Букри, Черный Паук...

Истинно непостижимы пути аллаха!

Жизнь столкнула Бируни с горбуном еще сорок лет назад, в Кяте, как раз, между прочим, в доме, где жила Райхана-бану. Горбун, как и Бируни, жил тогда в Кяте, считался учеником знаменитого торговца — отца Райханы-бану. Но ученик, что был мягче шелка, преданней сторожевого пса при жизни учителя, чуть ли не в тот самый день, как умер торговец, нагрянул во тьме в его дом и пытался насильно овладеть девушкой.

Пришлось «ученику» быстро-быстро убраться из Кята. Бируни на долгое время потерял горбуна из вида. И надо же: сорок лет спустя встретил его в Газне, в питейной Маликула шараба! Сидит, играет на нае, да так,

что не у одних завсегдаев льются слезы и рыдает душа.

По правде сказать, избегая встреч с Пири Букри, Бируни и сдерживал желание бывать у Маликула шараба.

Что там болтал ему вчера этот Пири Букри в торговом ряду? Мышью вынырнул, засеменял рядом, затараторил, захлебываясь словами:

— Простите, ради аллаха, простите меня, мавляна! Умный человек старое не помянет, говорят мудрецы, ведь это верно? Забудем старые раздоры, мавляна! Простите, простите... оба состарились... Вы-то в зените славы, а я — кто? Помыкался в этом мире подлунном. Не дал аллах погибнуть... Знаю, вы знаток редких камней, как никто, разбираетесь в них! По воле судьбы в руки вашего покорного слуги попал редчайший камень. Прошу вас: взгляните на него и скажите цену, мавляна!

Болтливый, видно, знал, чем можно смягчить душу Бируни. Вот уже много лет Бируни мечтает написать книгу о редких камнях, собирает сведения об их свойствах, даже сказочные, невероятные.

Превозмогая слабость в теле, Бируни молча пошел за горбуном. Вошли в низенькую, полутемную лавку, оттуда перешли в маленькую комнату с камышовой циновкой на полу, из комнаты спустились в погреб, что ли, какой-то, остро ударило в нос запахом сырости. В погребе теплилась убогая копилка. Кругом громоздились большие и малые сундуки, мешки, хумы, коробки, коробочки.

В самом темном углу Пири Букри открыл железный сундук, сняв замок величиной с лошадиную голову; приподняв крышку сундука, долго рылся в нем; наконец, вытащил что-то, подошел к Бируни, показал в свете копилки коробочку, напоминающую по форме черепахе:

— Этот жемчуг в драгоценной оправе я купил у одного купца-багдадца, мавляна. Честно признаюсь, купил за большие деньги. Да все грызет сомнение — не ошибся ль в цене?

Пири Букри нажал на некую защелку снизу, на брюшке черепахи. Панцирь откинулся со звоном, и сумрачный погреб озарился, будто от десятка свечей. Со дна коробочки сиял, переливаясь радужно, камень величиной с голубиное яйцо и яркости невиданной!

Вот тебе и жалкий горбун, мастер ная!

Бируни всмотрелся в чудесную, источающую голубовато-синее пламя драгоценность. Всевышний! Да это ведь,

право слово, знаменитый, когда-то принадлежавший халифу Гаруну ар-Рашиду камень. Она куда-то потом исчезла таинственным образом, как сказано было в преданиях, редкая, редчайшая, диковинная драгоценность; с ней связано много темных и мрачных историй!

Бируни осторожно вынул камень из коробочки, положил себе на ладонь. Какая игра красок! Сколько нежных переходов от одного цвета к другому!

Ну и Черный Паук! Ухитрился раздобыть такую драгоценность, если и не украшавшую, может быть, сокровищницу великих мира сего, но достойную ее украшать! Выходит, слухи о том, что человек этот и хитер и страшен, небезосновательны.

— Цена этого камня такова, что вы сможете купить себе за него пол-Газны!

Горбун будто испугался этих слов. Цепко схватил камень, зажал в руке, поспешно положил потом драгоценность в круглую железную коробочку.

Бируни молча повернулся к выходу из подвала. Пири Букри догнал его в средней комнате:

— Мавляна! У меня к вам одна просьба... Вы видели своими глазами: ваш покорный слуга не из нищих. Берите, чего и сколько хотите... хоть золото, хоть драгоценности... сколько хотите... Но есть просьба к вам.— Светлые, прямо-таки невинно-голубые глаза горбатого торговца блестели, будто у анашиста, редкая рыжая борода судорожно дрожала: — Единственная просьба: отдайте мне, мавляна, ту служанку, которую вы купили у Маликула шараба! Прошу, умоляю... за любую цену.

Бируни резко рванулся вперед — поскорей уйти отсюда. Тяжело дыша, Пири Букри схватил его за рукав:

— Хотите? Отдам вам тот камень, цена которому... пол-Газны!

Поистине этот человек, этот пожилой мужчина вел себя словно безумный юнец: из невинно-голубых глаз его на широкое, костлявое и морщинистое лицо текли слезы — неподдельного страдания слезы!

— Пожалейте меня, мавляна, пожалейте!

Как странно, бывает, крутится колесо жизни! Сорок лет назад слышал Абу Райхан от этого же человека — тогда-то и впрямь юнца, обезумевшего от животной страсти, — ту же мольбу!

— Убери руку, Пири Букри! Я не работоторговец.

Бируни силой вырвал из цепких пальцев Черного Паука рукав своего халата. Выскочил наконец на улицу.

Крутится-крутится колесо жизни, повторяется движение... Райхана-бану, Садаф-биби...

Бируни посмотрел на понуро склоненную девушку.

— Ты права, Садаф-биби! Хозяйничай дома, пусть на улицу выходит Сабху...

Тут как раз послышались торопливые шаги с улицы, и в комнату вбежал Сабху. Он был явно взволнован, белая шапочка сбилась набок.

— Учитель! К нам пожаловала госпожа из дворца!

— Из дворца?

— Да, в крытой повозке, в сопровождении конных нукеров.

— Странно. Днем, когда у меня был приступ, из дворца прискакал гонец. Сиятельный султан, оказывается, желает завтра видеть Бируни на совете улемов¹, а теперь вот...

Бируни не успел продолжить, как дверь распахнулась; вошла сама Хатли-бегим, сестра сиятельного султана, родная сестра.

Женщина была в черном одеянии, приличествующем самым торжественным случаям. Тонкую талию, красоту плеч и высокой груди подчеркивал узкий, в обтяжку, черный, расшитый золотой ниткой камзол, надетый поверх матово-черного длинного платья. Лицо женщины прикрывала прозрачная черная вуаль с золотыми крапинками. На ногах — лакированные черные кавуши с загнутыми кверху носочками; руки у запястий украшали двойные золотые браслеты, на которых темно-красным полыхали гранаты.

Госпожа остановилась на пороге спальни Бируни, вежливо наклонив голову, извинилась за приход в неурочное время.

Бируни поспешно выпрямился:

— Добро пожаловать, госпожа Хатли-бегим! Простите, что из-за недуга не мог встретить вас перед своим домом.

— Благодарю! Благодарю!

Хатли-бегим спокойно подошла к столику неподалеку от ложа. «Мускус и базилика», — тотчас определил Бируни, вдохнув идущий от женщины приятный запах. Она присела у столика на курпачу², быстрым движением смахнула с лица на плечо черный платок-вуаль.

¹ У л е м ы — высшее духовенство.

² К у р п а ч а — одеяло, особым образом стеганное. Часто стелется на полу для сидения.

Бируни посмотрел на Садаф-биби: девушка так и застыла в сторонке, у ниши с книгами, ни жива ни мертва.

— Ты иди, милая, помоги Сабху...

Словно испугнутая лань, Садаф выбежала из комнаты. Хатли-бегим посмотрела вслед и, когда закрылась дверь, полюбопытствовала:

— Простите женскую слабость, мавляна, но как не спросить, кто эта красавица?

— Служанка, служанка это, досточтимая ханум.

На губах Хатли-бегим мелькнула понимающая усмешка:

— Позвольте похвалить ученого мужа за хороший вкус. Вы умеете выбирать... служанок, мавляна.

«Ревность присуща всем женщинам,— подумал Бируни.— Тем более любимой сестре султана».

Чтобы успокоиться, Бируни стал зачем-то поправлять и без того складно сидевшую на голове шапочку... Та самая Хатли-бегим... Вот она сидит напротив, по другую сторону столика, та самая Хатли-бегим... Десять лет назад во время похода султана в Индию на берегу одного прекрасного озера в провинции Синд та самая Хатли-бегим и он, грешный... Он не забыл их сладостную совместно проведенную ночь. И видно, она тоже не забыла, та самая Хатли-бегим... Нет, она тогда была молодой, но и тогда уже миловидность соединялась в ней с властностью султанского рода... А черты лица теперь иные. За десять лет сдала. Осунулась, и на припудренных щеках заметны морщины, но в обведенных сурьмой, чуть раскосых глазах, в крепко сжатых тонких губах — прежняя властность. Не просто сестра брата — доверенное лицо султана Махмуда. Ведает, говорят, гаремом султана, всем распорядком его семейной жизни... Или это выражение холодности и высокомерия в глазах Хатли-бегим обманчиво? Разве десять лет назад на берегу прекрасного озера, в пышной, уединенной ее палатке, в сладкие часы любовной игры, на которую она сама рискнула, разве тогда эти глаза не блестели совсем по-иному? Только играла? Ублажала плоть?

Бируни протянул руку к столику за фарфоровым кувшином.

Огромная шелковая палатка, застеленная дорогими коврами... В темном ее углу, на высокой постели, сложенной в несколько слоев из шелковых перин, женщина в прозрачном индийском одеянии... Горячие поцелуи. Нетерпение. Истома и в ее, и в его утомленных телах, в

их — у каждого горячей — крови... Женщина эта, избалованная и властная, уже и тогда почиталась примером целомудрия для всех знатных женщин. Она избрала уединенную жизнь для себя, дала обет не видеть и не знать ни единого мужчины. Насколько все то было правдой, известно одному аллаху; он же, Бируни, этим вопросом не задавался, когда его поманили в темную палатку на зеленом лугу у прекрасного озера. Мавляна и переводчик, знаток Индии Абу Райхан Бируни не думал в ту ночь ни о походе, ни о дворцовых нравах...

Бируни с поклоном протянул Хатли-бегим пиалу шербета. Снова отметил на тонких губах женщины ту же едва заметную и все понимающую усмешку. «О небеса, она, кажется, тоже вспомнила ночь у озера...»

— Прошу вас, досточтимая.

— Благодарю! — но пиалу не взяла. Достала из кармашка камзола тяжелые, тоже черного цвета, четки, принялась перебирать камешки.

Бируни улыбнулся: «Хорошо, что она пришла не вспоминать былое... А если бы ей захотелось теперь, через десять лет, повторить былое, что б ты делал, бедный Абу Райхан?»

Хатли-бегим положила четки на столик, взяла пиалу, пригубила шербет.

— Мавляна! Вы, наверное, уже догадались, почему я пришла вас навестить?.. Слух о болезни вашей достиг дворца. Но ваш недуг, я вижу, проходит. А вот сиятельный наш покровитель — дай аллах ему долгой жизни! — заболел тяжело. Дворец полон ученых, известных всему подлунному миру лекарей, мудрецов и прочее и прочее, а бедный брат сгорает в огне недуга, и нет того, кто на самом деле облегчил бы его страдания! — Хатли-бегим даже всхлипнула, прижав к глазам край платка. — Вместо того чтобы всем нам думать, где искать исцеление благодетелю общему, во дворце интриги да склоки! Верные визири Али Гариб и Абдул Хасанак заняты низменными расчетами, дележом высоких чинов на тот случай, если наш покровитель покинет сей бренный мир, — дай бог, чтобы саван, который они ткнут для брата, достался им самим!.. Кто займет трон? Что они получают? Как и куда пристроить родственников? Нет у них забот, кроме этих! Да и на трон предполагают они посадить не первенца султанского, не эмира Масуда, а младшего сына — полоумного Мухаммада! Чтоб руки себе развязать.

«Осведомлена обо всем! За фарсанг¹ может почувствовать, как змея по траве ползет... Но почему она рассказывает об этих интригах мне?.. Для чего? Чего хочет она от меня?»

Хатли-бегим совсем открыла лицо. Испытующе глядела на Бируни, глаза в глаза. Сурьмленные глаза ее блестели холодной решимостью.

— Я спрашиваю: и впрямь неисцелима болезнь моего брата, мавляна?.. Вчера вечером поэт Унсури рассказал, что где-то далеко за Индией, на некоем острове среди моря, растет, мол, «негмати илохи», «божественное дерево», по-нашему, по-тюркски, так? И что, мол, больной, поевший плодов этого дерева, избавляется разом от всех болезней, старик превращается в юношу, старуха, — Хатли-бегим вздохнула, — опять в молодую красотку. Поэт Унсури говорил, будто собственными глазами прочитал об этом в каких-то рукописях то ли индийских, то ли китайских мудрецов. Вы долго жили в Индии, мавляна, вы все знаете, скажите, посоветуйте, как нам достать плодов этого «божественного дерева»?

Бируни оторвал взгляд от полных боли, гнева и ожидания глаз Хатли-бегим.

Смотри-ка, и тут преуспела, узнала, что ей нужно было.

В самом деле, в одной старой легенде, которую он слышал от жрецов, скитальцев по городам и селам необъятно великой Индии, рассказывается:

«Жил некогда царь, известный по всей Индии и во всем мире. И был у него попугай, которого царь сильно любил. Однажды, когда попугай из клетки своей разговаривал с царем, появился в небе над ними еще один попугай. Тот, что сидел в клетке, начал переговариваться с тем, что летал на свободе, — говорили они, говорили, и вдруг попугай, тот, что в клетке, забился, затрепыхал крыльями, раскрыл клюв и — испустил дух. Царя охватила сильная печаль, но ничего не поделаешь, приказал вынести мертвого попугая в сад. А тот «мертвый», оказалось, лишь притворился мертвым, а как очутился в саду, так и ожил: вспорхнул и сел на ветку дерева. Царь с удивлением крикнул:

— Эй, птица! Что же я сделал тебе плохого, что ты так обманно убегаешь от меня?

¹ Фарсанг — мера длины, расстояние, равное примерно семи-восьми километрам.

— Царь мой,— ответил попугай,— не забуду твою доброту. Но суди сам. Я тоже был царем попугаев, по воле судьбы попал к тебе в плен, ты запер меня в клетку, и вот с тех пор мои подданные сильно печалются из-за того, что разлучились со мной. Тот попугай, что прилетел к нам,— мой младший брат. Он мне поведал просьбу попугайского народа — выпросить у тебя разрешения хоть на несколько дней повидаться с близкими, потом, мол, вернешься к своему благодетелю. Я ему сказал: «Мой царь не согласится на такое». Тогда брат посоветовал: «Ты притворись мертвым, пусть мнимая смерть избавит тебя от плена насовсем». Так я и сделал.

И, молвив все это, попугай вместе с братом улетел. Царь горевал и день и ночь. Потерял надежду на встречу со своим любимцем. И вдруг однажды тот снова прилетает. И в клюве держит росток какого-то деревца. Царь очень обрадовался. Но и попугай тоже.

— Вот,— говорит,— побывал у родных, нагляделся на них, вернулся к тебе.

Попугаяю оказали почет и уважение. Потом царь спросил:

— Что за росток ты принес?

Попугай ответил:

— Царь мой, когда я решил вернуться, я попросил своих родных и подданных приготовить хороший подарок тебе. Один из близких мне попугаев сказал: «На некоем острове видел я замечательное дерево. Плоды его обладают таким свойством, что, если их съест старый, тут же станет молодым; если больной, то вмиг выздоравливает». Я подумал, что нет лучшего подарка в мире.

Царь обрадовался, позвал садовника, приказал посадить росток чудо-деревца и хорошо ухаживать за ним. Что садовник и сделал. Через несколько лет дерево дало плоды. Случайно вышло так: змея ужалила упавший с ветки плод. Садовник, не ведая о том, положил плод в миску и принес царю. Царь хотел его съесть. Но визирь сказал:

— Царь мой, прежде чем отведать плод, необходимо его проверить.

Дали съесть одному из слуг. Тот тут же и скончался. Царь сильно разгневался. Разругал попугая:

— Ах, окаянный! Значит, ты намеревался таким образом отравить меня?

И распорядился убить попугая. Что и сделали. Приказал царь срубить и дерево, но визирь сказал:

— Царь мой, такое дерево полезно. Это — лучшее средство против наших врагов!

У садовника был друг. Старость согнула его в дугу. Однажды он пришел повидаться с садовником. А того не было. И вот опять случай: подошел старик к тому самому дереву, видит, плоды вполне созрели, сорвал один и съел. И сразу помолодел. Садовник пришел, видит — на аллее сидит молодой парень. Рассердился:

— Кто тебя пустил в этот сад?

— Э, приятель, я друг твой, не узнал?

— Брось плести небылицы: мой друг стар, а ты молод.

— Э, приятель! В твоём саду я увидел дерево, съел его плод и стал таким молодцом. Сам изумлен этим чудом.

Короче говоря, нарвал садовник миску плодов и вместе со своим другом направился к царю. Рассказал обо всем происшедшем. Царь проверил и убедился в том, что попугай говорил правду. А первый плод был ядовит, потому что тронула его змея ядовитая. Царь сильно раскаивался в том, что понапрасну убил попугая, и всю жизнь скорбел о нём».

Когда Бируни услышал эту сказку — мудрую сказку, зовущую правителей к выдержке и справедливости, поучительную сказку, — он записал ее, думая включить в свою книгу о нравах и легендах разных народов.

Но сейчас... как сказать этой женщине, что «божественный плод», исцеляющий любого больного, — это просто сказка, всего лишь мечта, вымысел смертных рабов аллаха, упование их на вечную молодость, которая, увы, обязательно проходит у каждого человека и ни у кого не может быть вечной.

Хорошая ли, плохая ли женщина сидит перед ним, но, подарившая ему некогда мгновения счастья, сейчас она пришла просить его помощи, — так что он ей выскажет: трезвую правду или обманную надежду?

— Госпожа моя, — Бируни не поднял взгляда на Хатли-бегим, — тысячи лет смертные ищут этот «божественный плод». Мечтают найти его... Но никому еще не пришлось его отведать, бегим, цыкому...

— О создатель! Никому? Но поймите, мавляна, завоеватель половины мира, властелин сиятельный и победоносный, мучительно страдает, в страхе мечется ночами в постели, а вы... вы не умеете помочь, отказываете мне в надежде? Что за проклятая болезнь!.. Неужели свеча

жизни моего высокородного брата, которому я посвятила жизнь, погаснет, подобно жизни любого нищего? Ах, мавляна... Видно, и впрямь, как говорили мне, единственная надежда на почтеннейшего Ибн Сину!

— Ибн Сину?

— Да. Вот уже три месяца, как послано за Ибн Синой! К сожалению, до сих пор никаких известий о нем у нас нет. Мы полагаемся и здесь на вас, мавляна. А еще на эмира Масуда. Вы знаете, наследник престола ныне в Исфахане, он завоевал его. А Ибн Сина был где-то там. Но почему-то до сих пор и оттуда тоже нет вестей! Говорят, он чуть ли не визирь у тамошнего правителя, жалкого Ала-уд-Давли¹...

«Абу Али Ибн Сина!»

От этого имени все вокруг Абу Райхана Бируни буд-то посветлело!

О жизнь скоротечная! Подлунный мир, полный превратностей! Сколько уже лет прошло, как они, в последний раз обнявшись, со слезами на глазах простились у ворот Гурганджа²! Восемнадцать? Нет, девятнадцать! Девятнадцать лет они не виделись друг с другом и, никогда друг друга не забывая, все жаждут и жаждут встречи! О, сколько счастливых часов провели они вместе во дворце хорезмшаха Мамуна³, в бурных ученых спорах, в состязаниях поэтов, в беседах, длившихся до утра! Что же осталось от тех счастливых, полных надежд и стремлений дней? Только воспоминания! Они уже навязчивы, как сновидения... К нему, Бируни, иногда доходят отрывочные сведения о великом друге, а чуть раньше приходили — с караванами — и очень редкие, правда, письма. Не всякий купец соглашался их взять. Даже книги свои они не могут подарить друг другу! Так, Абу Райхан смог прочитать только первый том «Аль-Канона»⁴, — теперь говорят, что он известен всему миру, а Ибн Сина, наверное, и не слышал даже про книгу Бируни об Индии...

¹ Ибн Сина жил в Исфахане у эмира Ала-уд-Давли последние годы своей скитальческой жизни (1023—1037). Благодаря его дипломатии Масуд, сын Махмуда, ушел из пределов Исфаханского государства, оставив его самостоятельным, хотя и взяв в жены сестру эмира.

² Гургандж — старинное название Ургенча.

³ Пребывание Ибн Сины (вместе с Бируни) при дворе хорезмшаха Мамуна (1002—1011) было наиболее спокойным периодом жизни ученого. Там была своеобразная «академия» наук и искусств.

⁴ Знаменитый многотомный «Канон врачевания», законченный в Исфахане в 1023 году.

Бируни пришел в себя, вернулся к разговору с Хатли-бегим:

— Да. Было бы хорошо, если б почтенный Ибн Сина стал врачевать сиятельного султана. Нет болезни, которая не поддалась бы Ибн Сине, и нет лекарства, которого он не знал бы.

Хатли-бегим закивала было головой в знак согласия, но тут же опять придала лицу своему выражение холодно-надменное.

— Но этот высокомерный лекарь с давних пор не желает приехать к нам в Газну, говорят, будто он заявил, что служит здоровью и не желает служить султану. Моего брата он просто избегает... Мне ведомо, вы с ним не раз встречались, мавляна. Следовало бы вам написать ему, дать добрый совет прибыть в Газну. А мы бы послали еще одного гонца...— Хатли-бегим на миг умолкла. Выражение глаз ее смягчилось.— Если этот мудрец желает служить не султану, а здоровью, то пусть... так будет. Долг врачей перед людьми и богом лечить болезни, облегчать страдания больных. Бедный мой брат! Уж которую ночь подряд не смыкает он глаз, ходит-бродит по дворцу, не ведая сна и покоя!

И опять Хатли-бегим, будто в испуге от искренних слов своих, вмиг приосанилась. Набросила на лицо черную вуаль, поднялась с курпачи.

— Я выдала вам, мавляна, то, чего никто не должен знать. Я верю вам. Верю в ваш ум и... доброе отношение... ко мне.— Хатли-бегим опустила голову.— Будем же надеяться, что милостивый аллах, тот, кто вознес нашего повелителя столь высоко, ниспошлет ему исцеление... Напишите письмо своему другу, мавляна, прошу вас. Я пришлю за ним человека... Не вставайте, лежите, мавляна, лежите, вы тоже, оказывается, больны. Занятая своим горем, я и не знала о том... Пусть бог поможет и вам, мавляна! — понизив голос, добавила Хатли-бегим и, прямая, с высоко поднятой головой, пошла из комнаты.

Бируни обессиленно вытянулся в постели...

Захватив в кулак большую, с уже заметной проседью, чуть кудрявящуюся бороду свою, Бируни крепко задумался. Свечи из ниш и со стола бросали колеблющиеся лучи на длинные, сросшиеся его брови, угловато выступающий из-под круглой тубетейки большой лоб, крючковатый крупный нос. Лицо его, воинственно-нахмуренное, было похоже на лицо полководца, закаленного в тяжелых боях и принимающего ответственное решение.

Да, вот уже несколько месяцев столица, да и не одна столица — вся страна неспокойна. Ходят тревожные и мрачные слухи о султани Махмуде, коего в мусульманском мире называют десницей аллаха и покровителем правоверных всего халифата — так поименовал его духовный вождь мусульман халиф Кабир. И вот доверенному не доверяют. Одни говорят, что он страдает неизлечимой болезнью, другие намекают на то, что султан обезумел, мания преследования терзает его. А он, всегдашний мучитель, теперь особенно капризен, непостоянен, все во дворце его живут в ежечасном страхе за жизнь свою, особенно лекари, астрологи, ближайшие советники.

Султан два месяца назад вызвал к себе Бируни и приказал составить зайчу¹. Бируни поразил вид султана. От рождения высокий и худощавый, он теперь напоминал гнилой, иссохший изнутри огромный тополь. Прищуренные, узкие глаза, которые всегда блстели, как ртуть на дне наперстка, подернулись пленкой невыразимого страдания. Как у смертельно раненной птицы. Бируни не занимался астрологией, но, посмотрев в такие глаза, не смог отказать султану. Он посоветовался с настоящими звездочетами, составил гороскоп, так «обосновав» его, чтобы утешить душу султана. Но и то не надо забывать, что султан дотошен. Может быть, он уже и нашел некоторые, пусть приятные, неточности, и кто знает, что за это будет ему, бедному Абу Райхану. Истинный ученый, Бируни лишь во имя облегчения мук тяжелобольного человека отступил от своих правил, но за это может теперь поплатиться. Правда, в тот раз утешительно неправдивые слова Бируни султан воспринял милостиво, его иссохшее, обтянутое желтой кожей лицо просветлело, Махмуд даже стал расспрашивать о его ученых занятиях, спросил и про книгу об Индии.

Бируни знал, что султан многого ждет от этого произведения, верит, что оно будет восторженным рассказом о боевых походах, великих победах его, Махмуда Газнийского, над индийскими властителями-иноверцами... Бируни, как подумает об этих ожиданиях, теряет сон. Всякий раз, когда берется за рукопись — а ей уже скоро без малого десять лет, — почему-то вспоминает одно и то же: страшное побоище в Синде, и все начинает путаться в голове.

¹ З а й ч а — гороскоп.

В тот зловещий день султан Махмуд в необузданном гневe приказал дотла сжечь величественный храм внутри белокаменной крепости на берегу Инда. Молодой, тогда молодой, переводчик Бируни вместе с плененными военачальниками индусов стоял на коленях перед султаном, просил о милости. Но султан ничего и никого не пощадил. Ни людей, ни крепости, ни святыни — храма. Повелел обложить со всех четырех сторон здание сеном и поджечь. Многие тысячи людей, преклонив колени, молились, нет, не молились, а, казалось, пели молитвенную печальную песнь расставания с жизнью, и так, с песней на устах, сгорели в белокаменном храме... До сих пор в ушах звучит та скорбная песнь. По сей день бросает в дрожь при воспоминании, будто злодейство произошло не по велению молодого тогда султана Махмуда, а по его, Бируни, приказу. Чувство вины своей за участие в неправедных походах заставило ученого, вопреки султанскому желанию, остаться в Индии, хоть немного послужить ее народу, миролюбивому и гордому.

Палка-посох в руке, с плеча свисает сума... сначала один, потом с сиротой Сабху, которого подобрал на лахорской улице,— половину Индии так обошел Абу Райхан Бируни. Из города в город, из села в село, по бесчисленным дорогам и тропам; изучал язык, древние книги и предания, великие поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», и танцы, и календари, и историю храмов и монастырей. Ветхие на вид жрецы, знатоки религий и многих наук, знакомили его и с преданиями, и с рассуждениями логическими, и с геометрией. Несколько лет провел Бируни в расадханах — обсерваториях Индии, вникал в учебники географии и космографии, в таблицы движений планет. И вот теперь, собрав воедино все, что узнал в той великой стране, написал, нет, еще пишет большую, разрастающуюся от года к году «Книгу о мыслимых и чудесных науках индусов», а коротко — «Индия».

Закончив какую-нибудь главу произведения — истинно любимого, — Бируни давал переписывать ее Сабху. Абу Райхан нашел его на лахорской улице, когда мальчику было лет семь-восемь. После, в преклонном возрасте, да что там — в старости, ученик стал другом и помощником ему, учителю. Неделю назад Бируни отдал Сабху последнюю главу «Индии», а сам без промедления принялся за книгу о драгоценных металлах и камнях. Но неожиданная болезнь — кстати, приобретенная в той же Индии — навалилась, к сожалению, оторвала от дела...

К тому же все эти слухи... Кто знает, что завтра скажет на совете мудрых всемогущий повелитель, десница ислама? Аллах знает... Бируни не боится жестокости и гнева султана, он другого боится — намеченную для себя работу не довести до конца. Только этого боится, только этого!

Бируни освежился глотком шербета, вытащил из-под подушки трещотку, помахал ею.

Тут же явился Сабху. Его большие темные глаза светились по-детски ласково и доверчиво. Но видно было, что юноша и взволнован чем-то.

— Подойди ко мне, сынок, садись-ка... Что это с тобой, Сабху? Кто-то тебя обидел?

— Обидел? Почему? — Сабху застенчиво улыбнулся, блеснув снежной белизной крепких зубов. — Я только что завершил переписку вашей книги, учитель. — Юноша воодушевился: — Это великая книга! Она прославит во всем мире мою родную землю! Ее нужно быстрее переписать! И чтоб побольше было рукописей! И пусть лучшие мастера займутся этим, пусть перепишут и разошлют по многим странам!

Бируни закрыл глаза. В его жизни было немало друзей, приятелей, учеников — и хороших, и плохих. Были и такие, кто старался угодить, когда удачи сопутствовали ученому, а когда неудачи выпадали на его долю — предательски отворачивались. Всякое бывало и всякие, но преданней ученика, чем этот сирота лахорский, преданней человека у Бируни не было.

Стройный и гибкий, будто прутик, усики только начинают пробиваться, и характер, чудесный индийский характер, в котором и мягкость, и скромность, и трудолюбие, и гордость не на виду, и крепость духа не на показ.

Почему это каждое племя и каждая страна, еще даже и не зная ничего о другом племени и другой стране, полагают, что оно-то и она-то, а вовсе не другие, являются лучшими в мире и что нет лучше языка, обычаев, песен, чем язык, обычай, песни собственные? Да ладно, полагают: находятся люди, которые, полагая так, всеми правдами и неправдами, с помощью меча и копья начинают распространять свои обычаи на другие племена и края... Шахи, султаны... Они — конечно. Они по-другому не могут поступать. Но ведь не одни шахи и султаны. Разве он сам, просвещенный Абу Райхан, одно время думал не так же? Разве не считал он, что, кроме страны, раски-

нувшейся по берегам Джейхуна¹, страны, где он родился и вырос, нет лучше и что нет вообще ничего лучше, чем тюркские песни, язык, обычаи? Хорошо, что хоть потом глаза у него открылись, когда увидел такие удивительные страны, как Джурджан и великая Индия. Увидел и убедился: каждое племя, каждая страна хороши, интересны по-своему. Эта мысль задушевная есть в его «Индии»! И потому-то свою любимую книгу, на которую ушло у него десять лет жизни, он вынужден пока скрывать от мира.

— Спасибо, дорогой мой,— произнес Бируни, тяжело вздохнув.— Но пока эту книгу не надо ни переписывать, ни распространять среди ученых людей. Нельзя, сынок...

— Почему, учитель?

— Потому что... сперва я ее должен преподнести султану Махмуду!

— Ну и преподнесите! И богатые подарки получите, учитель!

Бируни усмехнулся. «Нет, этот юноша сообразителен в науке, а в житейских делах он еще совсем ребенок, с материнским молоком на губах».

— Сынок, для того чтоб получить богатые подарки, я должен восхвалять десницу ислама, покровителя правоверных. Значит, что же? Превознести мне его жестокости, убийства в твоем краю, в Индии?

Сабху покраснел — и впрямь как ребенок,— опустил глаза.

— Простите, об этом я не подумал, учитель.

Бируни отпил шербета прямо из кувшина, облокотился на подушку.

Голова будто раскалывалась, мысли путались, все тело ломило, но в душе крепло воля-желание высказать накопившееся в сердце прямо и честно, и воля-желание это все росло и росло. Пусть больной властелин-самодур похож на раненого барса, пусть от него всего можно ожидать!

— Дитя мое, Сабху, не знаю, с какой целью я позван завтра на совет к нашему султану и вернусь ли я домой... Сейчас хочу, чтоб ты крепко-накрепко запомнил, что я скажу... Про книгу, которую я писал десять лет и которую ты переписывал много раз с такой любовью... Эту книгу я написал для того, чтобы смыть вину свою перед Индией — твоей родиной.

¹ Джейхун — Амударья.

Сабху всем телом подался вперед.

— Вы? Вы виноваты перед Индией, учитель? Я не понял... Ведь не вы растоптали Индию! Не вы!

— Да, я там и муравья не обидел! — сказал Бируни. Хрипый от жара и озноба голос его зазвучал неожиданно сильно: — Если там пролиты реки крови, то пролил ее султан Газнийский и его военачальники! Да, это они истребляли тысячи людей, грабили города, жгли храмы! Все так... И все же... Все же в твоём краю у многих людей осталось плохое впечатление о моем крае, о моем племени... да, завоеватели очернили, запятнали жестокостью, бессердечием, алчностью свои имена в глазах людей, народов, ими ограбленных и принижённых. Но только ли свои? Ты понимаешь меня? Такие, как мы, просвещённые, образованные, должны своим добрым делом, добрым словом уничтожить хотя бы частично горький осадок в душе ограбленных и принижённых. Вот с какой целью я писал книгу об Индии, о твоём крае. Знай это, дитя мое!

Бируни, обессилев, опустил голову на подушку. Вытянул вдоль тела руки. Закрыв глаза. Почувствовал вдруг на ладонях своих, больших и смуглых, как у крестьянина, прикосновение губ ученика. С трудом поднял правую руку, погладил Сабху по плечу.

Вдруг в голове мелькнуло: «Пока я жив, надо бы женить его! Сабху и Садаф-биби... они подходят друг к другу, как рубин к глазку золотого кольца. И тогда мой ученик стал бы мне воистину сыном... А я сам — что там осталось мне прожить?.. — отдался бы полностью науке».

Да, это правильно: он вдруг особенно ясно понял, что Садаф-биби стала ему дорога не просто из-за того, что от ее слов, улыбки, даже от дыхания веяло родным краем. Он с недавних пор и по-мужски почувствовал ее красоту — красоту, притягательность ее лица, ее молодого тела. Но воля и ум противились влечению. Когда прошла молодость, наступила старость, давать этому влечению свободу — великий грех! Прошло время давать сердцу такую свободу!

Надо сказать о своем решении Сабху сегодня-завтра. Все так тревожно и неясно.

Впрочем, не надо ли прежде получить согласие самой Садаф-биби, узнать зов ее сердца?..

Бируни попросил Сабху позвать девушку.

Спустя мгновение дверь бесшумно открылась. В милых карих глазах Садаф-биби еще затаился страх, выз-

ванный Хатли-бегим. Слегка прикрыв лицо тоненьким шелковым платком, девушка боязливо под села к ложу Бируни.

— Дочь моя, я позвал тебя, чтобы сказать об одном своем, очень важном для тебя, решении.

Садаф-биби, побледнев, застыла на месте.

— Не бойся, дитя! Если ты и впрямь моя дочь, то Сабху — мой сын. Сабху верно служит мне. Он очень добрый, благородный, хороший юноша...

Бируни не успел договорить — Садаф-биби, закрыв ладонями лицо, горько заплакала.

— Пожалейте меня, учитель. Не лишайте меня счастья видеть вас, не лишайте! — И, сквозь слезы вымолвив это, упала лицом на вытянутую вдоль постели правую руку Абу Райхана.

Бируни поднял левую руку, чтоб погладить голову девушки, но сил не хватило...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Десница аллаха», «покровитель правоверных», сиятельный и победоносный, султан Махмуд Ибн Сабуктегин сидел под шелковым зонтом-балдахинном, в кресле, поднятом на могучего боевого слона, богато украшенного, препоясанного золочеными подпругами и ремнями. Военачальники, чиновники, родовая знать теснились рядом и ниже — на скакунах, нетерпеливо перебиравших ногами.

Местность вокруг была холмиста, покрыта густыми кустарниками, прихотливо пересекалась небольшой рекой. На холме за рекой возвышались белокаменные стены, а над ними — верхушки храма, заостренные купола, золотисто сиявшие, будто парившие в небе, — не храм, а устремленное в голубую высь чудо, сказка.

Пространство, которое открывалось взору султана — зеленые холмы, и речки внизу, и крепость на том берегу речки, — все уже было в его руках. Повсюду его несметное победоносное войско. Могучий рев боевых слонов, блеск и звон оружия, топот коней и крики всадников — все это радовало душу султана, будоражило кровь. Радость несколько омрачали какие-то странные звуки, похожие на протяжно-печальную песню, — из того самого храма за белокаменными стенами.

О всемилостивый аллах! Большой город неподалеку отсюда был вчера захвачен первым приступом. Вон, в густых зарослях, индийские воители, плененные, уже в кандалах. Их мечи, щиты и копья сложены в кучи — трофеи, а их боевые слоны уже служат войскам султана. А белокаменная крепость на той стороне реки не хочет сдаться. И то сказать: на диво сложена крепость, хоть и назвал он ее перед своими воинами «ничтожной», дабы поднять их боевой дух. Штурмовые лестницы, с помощью которых его воины взлетали на стены самых, казалось, неприступных крепостей, были очень длинны, но верха стен этой крепости все-таки не достигали, каменеты, что словно бумагу пробивали каменные стены других крепостей, перед этими оказались бессильными: каменные снаряды отскакивали будто мячи... Что за странность? Неужели победоносное войско непобедимого и могущественного султана, покорителя десятков городов этой необъятной страны, потеряет несколько дней перед этой крепостью?

Султан Махмуд одним глотком осушил золотую чашу, услужливо-осторожно поднятую к его креслу визирем Абул Хасанакон, выпил воду и швырнул чашу через плечо. Чаша блеснула в воздухе золотокрылой причудливой птичкой, упала на землю, прокатилась в высокой траве. Султан выпрямился во весь свой высокий рост, встал устойчиво на спине слона, повернул лицо чуть назад к военачальникам на черных скакунах, гневно блеснули узкие глаза:

— Эмир Нуштегин!

Плотный, коренастый всадник, со значком эмира на темно-зеленой чалме, мгновенно оказался рядом. Обученная лошадь преклонила колени перед хоботом султанского слона. Нуштегин выпрямился в седле, а потом приложил руки к груди, склонил голову:

— Готов исполнить любой приказ, повелитель.

— «Готов исполнить»! — зло передразнил военачальника-эмира султан. — Уже два дня не можешь захватить эту ничтожную крепость!.. Ну-ка, что нужно делать, эмир Нуштегин, когда город не сдается?

— Сжечь его дотла, повелитель!

— Так почему медлишь, эмир Нуштегин?

Как только раздалось слово «сжечь», среди знатных пленников индусов — их можно было выделить из остальных по одинаковым желтым одеяниям и еще по тому, что кандалов на них не было, — поднялся крик и

шум. Из круга выдвинулся белобородый старец, видно, ученый жрец. Лицо его озарялось спокойной решимостью. Он приблизился к страже, горячо заговорил о чем-то. Султан недовольно спросил:

— Что это говорит этот неверный? Где Абу Райхан? Позовите его сюда.

Из голубого шатра, стоявшего тоже среди зарослей, вышел высокого роста смуглый человек в синем халате, в белой чалме. Продолговатое смуглое лицо украшала короткая треугольная бородка. Человек со скромным достоинством предстал перед султаном, склонил голову в поклоне.

— Подойди поближе, Абу Райхан! Послушай этого иноверца. Пусть скажет тебе, чего он хочет, а ты передашь нам его слова.

— Этот раб аллаха просит милосердия и пощады, повелитель! Он говорит, что в том замке заперлись пятьдесят тысяч беспомощных людей...

— Беспомощных! — вскричал султан. — Если они беспомощны, почему не сдаются, не открывают ворота?

— Солнце мира! Большинство в крепости, оказывается, немощные старики, безвинные дети и женщины...

Благообразный старец пал лицом на землю, рыдая, простер руки по траве перед слоном. Бируни глянул вверх, на султана, который снова сидел чуть скособоленно в кресле, покрытом шкурой тигра, — хмурый, отводя глаза от распростертого.

— Повелитель, будьте милосердны, — произнес тихо, но внятно Бируни.

Нетерпеливый окрик султана:

— Эмир Нуштегин! Сжечь тех, кто не хочет сдаться, сжечь!..

С четырех сторон крепости пылало пламя, дым от горячей соломы вздымался густой и черный, затмевая, пятная золотые купола.

Еще, еще соломы, хвороста... Ага, ворота рухнули!..

Еще, еще! Теперь пламя вокруг храма! Пусть сгорят заживо нечестивцы, упрямы!

Запросят пощады, запросят!

Но все та же печальная мелодия — неторопливо-заунывная — лилась из горящего храма. И еще — тяжелый, дурной запах.

— О аллах! — султан схватился за сердце. — Неужели затворники предпочтут сгореть, чем преклонить колени? Эй, эй, пусть выходят!.. Кричите, зовите их, пусть

выходят... Впервые вижу, как заживо сгорающие поют песню!

Откуда-то от храма, из пламени — голос Бируни:

— Нет, это не песня, повелитель! Это стон рабов аллаха! Они молятся всевышнему. Они плачут, спрашивая небеса: в чем их вина, почему с ними обходятся так жестоко?

— Зря говоришь так, Абу Райхан! Это не плач безвишных рабов аллаха, это вопль иноверцев, который не дойдет до всевышнего!

— А разве иноверцы не рабы аллаха?

— Хватит, Абу Райхан! Опять затеваешь спор? Я тебя приблизил к себе, я хотел и хочу, чтобы ты нашел и позвал в Газну этого знаменитого... лекаря, вечно бегающего от меня Ибн Сину... А ты защищаешь моих врагов, перечишь мне, несчастный! Ну, так берегись!

И, сказав это, султан (он уже почему-то стоял на земле, у ворот храма) выхватил саблю из ножен, поднял ее над головой, но от неожиданно острой боли в боку забился, застонал...

Проснулся...

Большинство свечей в люстре оплыли, погасли, желтые шелковые занавеси на стенах потеряли цвет, и в большом, удлиненном помещении был разлит пугающий полумрак. Махмуду почудилось, что лежит он не в собственной спальне, а в какой-то усыпальнице. Тело мгновенно покрылось холодной испариной. И сердце забилось, будто вот-вот вырвется из тощей груди, а перед глазами все стоял и стоял охваченный пламенем индийский храм, в ушах все звучала и звучала заунывно-горькая песня погибающих в огне...

О аллах всевидящий! Что это с ним, грешным рабом всевышнего? По какой такой причине приснилось ему то, что случилось много лет назад? Неужто резня, устроенная тогда его победоносными воинами во имя правой веры, негодна аллаху и есть его, Махмуда, грех, как говорил Бируни?

Султан поглаживал бок, ноющий от боли.

Уже несколько месяцев, как он страдает от этой проклятой боли. И душа неспокойна. Жизнь вдруг стала безрадостна, ночами все естество охватывает неясная тревога, призраки прошлого являются перед глазами, пугают... Почему-то вспоминаются не добрые дела, не мавзолеи, мечети, дворцы, им построенные, не цветущие сады, разбитые в Газне, в этом лучшем городе подлун-

ного мира, а жестокие битвы, топот коней, отрубленные головы, мертвецы, качающиеся на виселицах, разграбленные города и огонь, огонь, кругом огонь...

И боль. И страх, никогда прежде не являвшийся к нему.

Боль не отпускает и сегодня.

Да, всему причиной эта дикая боль, три-четыре месяца терзает она и тело, и душу. Правда, в последние дни два врачевателя, из Индии и Китая, несколько облегчили страдания больного; в боку немного поутихло, да и холодный, сжимающий сердце страх ежевечерний чуть отступил от султана. Вчера султан повелел верному визирю Абул Хасанак пригласить музыкантов, хоть немного потешил душу. После чего Абул Хасанак, по обычаю прежних счастливых лет, завел витиеватый разговор о необходимых мужских утехах и значении их для здоровья. Будто бы, мол, есть в гареме такая роза... младшая жена бывшего правителя Бухары Алитегина, сгорает, мол, от страсти к победоносному султану... и хоть он, Абул Хасанак, осчастливленный благосклонностью и доверием сиятельного, знает, что эту младшую жену султан видеть не захотел, а держал ее в неволе лишь с одной целью — насолить старому недругу Газны, но... но... и воздержание полезно лишь в меру, да и женщина эта, по слухам, до того страстна... словом, Махмуд неожиданно для самого себя загорелся.

В самом уединенном уголке дворца «Невеста леба» была особая укромная комната. Там было множество сладострастно-женственных статуэток. А на стенах будоражили похоть бесстыдные изображения из «Алфий-шалфий»¹ — сцены любовных ласк, нагие мужчины и женщины, удовлетворяющие страсть.

О, султан Махмуд хорошо знал эту комнату: сколько юных красавиц, разодетых в шелка, умощенных благовониями, побывало здесь с ним. Со скольких из них, трепеща от вожделения, он срывал легкие одежды! Правда, бывало все это до возраста пророка; достигнув шестидесяти четырех лет, султан, «покровитель правове́рных», стал благочестив и закрыл тайную комнату. Но Абул Хасанак, как уже сказано, раззадорил султана Махмуда, и вот гаремные надзирательницы и банщицы подготовили бухарскую пленницу, и когда султан в легком халате

¹ «Ал ф и я - ш а л ф и я» — эротическая книга, известная на Востоке.

вступил, шаркая, в комнату любовных утех, красавица уже лежала обнаженной на сложенных шелковых одеялах, — и то учли, что султан теперь мог бы раздражаться промедлением из-за раздеваний.

Крупное белоснежное тело женщины было прекрасно, глаза прикрыты, темно-русые волосы беспорядочно разметались на подушках и на красном ковре.

Султан остановился. Перевел дух. Красавица по-своему поняла его, быстро поднялась, приблизилась, опустилась прямо перед ним. Торопливо и жарко стала гладить его колени, бедра. Кровь заиграла, и высокорослый султан резко наклонился к ней, ладони легли на горячие, как огонь, плечи женщины... и тут же нестерпимая боль ударила его в бок, а потом в живот, в желудок... будто еж, который успокоился было в нем в последние дни, снова пробудился, растопырил иглы и заворочался внутри него.

...И вот тогда, прямо из той комнаты, его перенесли, положили сюда, и он лежит и мечется, и не только от боли, хотя она сильна и непрерывна, но еще от тяжких дум, от кошмарных снов, от всеобъемлющего холодного страха.

И от несправедливости, как он думал, происходящей с ним теперь.

О всевышний! Прости грешного раба своего! Но за что такие мучения? Верный раб аллаха, десница ислама и покровитель правоверных, он, султан Махмуд, долгих сорок лет боролся за истинную веру, с востока до запада наводил ужас на всех, кто не принимал веру в аллаха, единого истинного бога для людей, и во всех странах, куда бы ни пришел, он, султан, всюду насаждал святое слово корана, и на этом трудном пути аллах давал ему победу за победой, и вот когда, казалось, наступило могущество, а стало быть, и успокоение, аллах навлек на него тяжкую болезнь... Если этот недуг и впрямь неизлечим, зачем же были нужны все победы, и все почести, и этот трон, под которым — огромное государство, и даже само дарованное — хм, дарованное? Нет, вырванное у испуганного халифа! — именование его, султана Махмуда, мечом и десницей ислама? Он, победоносный султан, нажил несметные богатства, превратил свою Газну в самый красивый город в подлунном мире, построил десятки мечетей, создал сады, подобные райским садам, возвел дворцы, вроде этого, украсил их так, что подобного не было во дворцах других властелинов. И все сие —

во имя аллаха! Так неужели непосланная ему болезнь неизлечима?.. В свой гарем он собрал первых красавиц — из Китая и Египта, из Индии и Рума, он собрал танцовщиц, которые непревзойденны в танцах,— и мягко-лебединых, и жарко-переливчатых, «павлиньими» называл он их сам... А его, султана, музыканты, а известные миру поэты и мудрецы?

Все эти блага ты сам дал мне, всемогущий, и сам же теперь их отнимаешь у меня?

О, как жестоко!

Нет, не отнимай надежду, не отнимай!.. Вчера «садовник сада поэзии», Унсури, принес добрую весть. Прочитал в одной старинной книге, написанной на языке неверных, что на каком-то острове, среди безграничных морей, растет чудо-дерево с «божественными плодами» и кто поест плодов этого дерева... Старуха может тогда превратиться в девушку...

Правда или ложь? Один всевышний знает. Но... должно быть правдой! Чтоб не нарушалась божественная справедливость: султан Махмуд, перед которым дрожит подлунный мир, победоносный и могущественный властелин, да не умрет от болезни, что прилепилась к нему так же, как к нищим и голодранцам каким-нибудь с окраин Газны! Нет, в такое невозможно поверить! «Ас салотйн зуллуллохуфил арз!»¹ Для кого, как не для «тени аллаха на земле», и растут где-то «божественные плоды»? Надо только найти тот остров, где они растут!

Султан по наущению Унсури вызвал врачей-врачевателей из Китая и Индии. Но они не дали удовлетворяющего разъяснения. Ну да, они тоже слышали об этом чудодейственном дереве, оно, конечно, есть, существует, но вот где точно растет — увы, и для них загадка неразрешимая. Поначалу султан разгневался, но потом, поразмыслив, решил, что полезней будет созвать всех ученых и улемов на утренний совет.

Среди вызванных был и только что приснившийся султану Абу Райхан Бируни.

Может, именно он знает, где растет дерево с «божественными плодами»? Ведь мавляна Бируни долгие годы прожил в Индии, бродил по ее городам и селам, изучил все науки индийцев, даже древние их языки... Возможно, в древних индийских книгах можно вызнать нечто определенное про это дерево? Ну, а если и Бируни не знает,

¹ «Властители — тень моя (аллаха) на земле». (Стих из Корана.)

то тогда... тогда должен наверняка знать тот гордец из Бухары, шейх-ур-раис, Ибн Сина! Должен знать!

Ох этот Ибн Сина! Гордец, упрямец, вольнодумец... Великий врачеватель! Чародей! Много, уже много лет гоняется за ним он, султан Махмуд, зовет к себе, велит привезти его... Из Хорезма... Из Ирана... Непостижимым образом Ибн Сина исчезает как раз перед тем, как в тот или иной город, к тому или другому даннику Газны приезжает взмыленный гонец с его, Махмуда, повелением... зовом... просьбой.

И последние три месяца глаза султана прикованы к дорогам, ведущим в Газну из Хорасана, однако от посланных верных мушрифов¹ до сих пор нет вестей. А слухи — самые разные. О том, что исцелитель-чародей вот-вот поедет в Газну, уже, мол, поехал. И о том, что он, не желая ехать к султану, опять скрылся, куда — неизвестно...

Да, уже больше трех месяцев прошло, как султан послал к гордецу врачевателю самого верного своего слугу, советника близкого — рыжебородого Абул Вафо. Просил, чтоб держал в тайне его султанское поручение, не говорил о нем даже эмиру Масуду, родному сыну султанскому, который с войсками находился в покоренном Исфahanе. Может, надо было направить своего посла не в Хамадан, где правителем еле-еле держится трусливый Ала-уд-Давля и где в последние годы будто бы и жил, чуть ли не визирем, Ибн Сина, а как раз к Масуду: захвати, мол, города-то рядом, захвати, и дело с концом? Нет, султан своему отпрыску не верит. Догадывается, наследник сейчас в Исфahanе, но всеми помыслами — здесь, в столице, ждет с нетерпением известия о смерти отца! Жестокосердый сын не то что найдет и пошлет к отцу знаменитого врачевателя, а, напротив, сделает все, чтобы отговорить Ибн Сину от поездки в Газну!

Вспомнил сына, и в груди опять вспыхнула острая обида, и тут же накатила боль; опершись исхудалыми, немощными ныне руками о ковер, Махмуд осторожно приподнялся с курпачи.

— Прости меня, аллах! Прости! — Боясь разбудить притихшего было ежа, долгое мгновение простоял неподвижно, с закрытыми глазами, пока не смог взять свечу из ниши, двинулся в коридор.

Длинный, будто бесконечный, коридор был пустынен,

¹ Мушриф — посол, специальный гонец.

казался мрачно-таинственным в дробящемся полосатом свете редких свечей, по две-три штуки зажженных в люстрах. Бесчисленными казались двери, узорчатые, богато инкрустированные, все плотно прикрытые, хотя, он знал, не все заперты.

Тишина, тишина... Будто и не было тут людей никогда.

О боже! Где же люди, его, султана, верные слуги, преданные и приближенные, военачальники и чиновники? Куда запропастился главный визирь Али Гариб? И отмеченный благосклонностью, султанский наперсник Абул Хасанак? Он — Махмуд, не кто-нибудь, он, повелитель, десница ислама, он скован нынче недугом, горит в огне страданий и страха, а все эти визири, эмиры, благодаря его щедрости достигшие высоких чинов и в богатстве утопающие, — все эти пройдохи, бездельники, «верные» интриганы, спят безмятежным сном или наслаждаются с молоденькими невольницами в своих гаремах. А может, и нет? Может, эти дьяволы, нечестивцы в каком-нибудь темном углу собрались, обсуждают тайные планы, роют яму султану, ему, еще живому, ткнут и кроют саван?

Султан знал за собой особенность: стоило издали почувствовать хоть легкий ветерок опасности, как закипала в нем ярость, просыпалась львиная отвага.

Он постоял немного, передохнул, почувствовал, как силы его удесятерились. И пошел по полутемному коридору, крепко держа в правой руке тяжелый посох с острым зубом из слоновьего бивня (копье, да еще какое!), а в левой — свечу.

Вот нужная дверь, дверь с правой стороны, — навалился плечом. Открыл. Кромешная тьма. Издали повеяло холодом. Почудилось, что в глубине этой бездонной пещеры что-то зашевелилось во мраке. Султан попятился. Рука скользнула с рукоятки посоха к середке — удобней ударить, уколоть неведомого врага. Но не пришлось искушать судьбу! Снова прошел шагов десять по коридору. Достиг большой двустворчатой двери из ореха, расцвеченной жемчугом и перламутром. Опять постоял, потом решил: всем телом толкнул створку.

Это была зала советов. Просторная, высокая — доброе войско поместится. Стены отделаны белым мрамором. Лучи света падают сверху от экономно зажженных люстр, рассеиваются по пространству залы, сбегаются к тронному месту. Золото на троне; золотая краска мерцала и на голубом потолке в виде особо щедрых, затейливых арабесок.

Завтра тут на совете соберется множество людей, а сейчас стоит гулкая и пугающая тишина.

В четырех стенных выемках, формой похожих на михрабы¹, помещены синие, желтые, белые знамена покоренных стран! Низвергнутые во прах знамена некогда могучих — растоптанных газнийским войском — государств. Там же, в нишах, висят золотые и серебряные шлемы, кольчуги, щиты — добыча, взятая у побежденных шахов, султанов, эмиров. А еще — кривые сабли, чьи рукоятки украшены рубинами и хризолитами, кожаные колчаны с полным набором стрел, кинжалы, ножи с костяными черенками, множество длинных и коротких копий, клинков, булав... Каждое знамя и каждая сабля — это волнующая история, рассказ, пусть и без слов, о бесчисленных удачных походах султана Махмуда Газнийского, о его победоносных битвах. Это не тряпки и металл, нет, это задавленные позором поражения, приниженные пред ним властители и военачальники, некогда прославленные и высокомерные, — от правителей городов до иранского шаха! Пусть видят посланники, приезжающие в Газну со всего света, пусть видят эти боевые трофеи, пусть теряют свою спесь, пусть, разинув рот, замирают от любопытства и ужаса.

Вот, например, огромной величины щит, тут и золота довольно и драгоценных камней, а рядом длинная, почти до колен, кольчуга, в каждое колечко которой ювелирно тонко продета золотая нить... Трофей этот особенно дорог султану... Он помнит, как властелин Кашмира, богатырского сложения воин, неутомимый в боях и, говорили, в любви — больше тысячи женщин держал в своем гареме, — как явился он на поле брани, и слон его был яростен и взбешен. Но султан Махмуд не убоился ни бешеного слона, ни богатыря на нем. На черном туркменском скакуне, с длинным копьём в руке подступил к слону, закрутился, стремительный, ловкий, бесстрашный, улучил момент, поднял коня на дыбы, а сам привстал, уперся ногами в стремя и одним точным ударом сбросил кашмирца со спины разъяренного и растерявшегося слона на землю!

Да, многое было... И что было — того не вернуть! Он, султан Махмуд, был смел. Никогда не оставался в засаде, его никто не видел за войском — всегда впереди. И ог-

¹ М и х р а б — ритуальная стенная ниша внутри мечети; ее местоположение «задает» молящимся мусульманам направление на Мекку.

ромное государство он создал сам, своим умом и железной волей, своей храбростью и львиной отвагой... Какая польза ему теперь от этого беспредельного государства, от несметного богатства, от этих трофеев, дарованных аллахом? Тень аллаха на земле, могущественная длань ислама... ха, он и впрямь, видно, станет тенью, измученный болью... Оказывается, никто не в силах найти и привезти сюда какого-то лекаря. Что он значит, этот лекарь, пусть искусный, в сравнении с ним, победоносным властителем?

От гнева, вмиг охватившего все существо его, султан яростно вознес вдруг над головой посох и метнул его в развешанное на правой стенке оружие. С грохотом и звоном попадали щиты и сабли, покатались копья по мраморному полу. Звон эхом откликнулся в голубовато-лазурном потолке, набрал силу, а потом постепенно стал сходиться на нет.

Его услышали.

Распахнулись изнутри двери с обеих сторон зала, из коридора донеслись звуки торопливых шагов.

Показался наконец визирь Абул Хасанак, воистину самый приближенный к султану из визирей, — бледный, напуганный, не успел привести себя в надлежащий вид: из-под красного халата виднелись белые исподние штаны. За ним показался и главный визирь Али Гариб, его красное круглое лицо тут же, впрочем, скрылось опять за дверью, слышно было, как он что-то кричит стражам.

Абул Хасанак опустил на колени, стал стучать лбом об пол перед султаном.

— О солнце мира! О повелитель...

— «Повелитель»... — передразнил султан, и губы его вдруг старчески жалко задрожали. — Все вы, дьяволы, раньше времени решили похоронить своего повелителя! Что, уже до кончины моей приготовили саван? Подстрекаете? Кознями занимаетесь?!

— Благодетель... нет, благодетель, не занимаемся.

— Нет? Не занимаетесь кознями? Ну, а тогда... куда пропал толстобрюхий Али Гариб? Со стражей без него разберутся! Ваше дело — я. Почему нет никаких вестей от гонцов? Когда приедет этот... нечестивец Ибн Сина?

— Приедет, повелитель!.. В ближайшие дни должен приехать!

— Ежели на этой неделе не приедет... на виселицу вас отправлю! Всех! На виселицу! Жрете мою хлеб-соль,

плюете на мой дастархан! Неблагодарные твари!.. Понял меня?

— Понял, о десница ислама!

— Ежели понял, то зови ученых... Утро уже... Сейчас же созовай совет!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Солнце едва только появилось на небе, когда Бируни надел пеструю остроконечную тюбетейку, навязал поверх нее серебристую, цвета ртути, чалму, облачился в голубой бархатный халат, вышел из дому и с помощью Сабху взобрался на коня. Ехать не хотелось, но ехать было надо.

После ночного дождика воздух был особенно прозрачен. Трава вдоль арыков, на глинобитных стенах и крышах домов зеленела чисто и глянцевито, отражая каплями влаги солнечные лучи.

Бируни чувствовал себя лучше, чем ночью, жар в теле спал, но вязкая какая-то слабость оставалась. Мавляна глубоко вдохнул свежего, чистого воздуха, понудил лошадь ускорить ход, рысью пойти по берегу Афшаны, речки, которая делила город на две части. С правой, холмистой, ее стороны раскинулся огромный сад, после ночного дождя будто расцветший заново: миндаль, персик, груша, айва — все чисто, свежо, все свободным цветением своим напоминает молодых невест в розовом.

Углубишься в сей сад и в восточной его части без труда обнаружишь возвышающийся беломраморный дворец. «Невеста неба»... Словно белый лебедь плывет среди зелени. За дворцом — ростом пониже — золотые купола палат, еще дальше и ниже можно увидеть мрачные, несмотря на зелень у подножья, каменные казармы для непобедимых султанских войск. На другом берегу речки Афшаны — здания разных государственных служб.

С дороги, вьющейся поверху вдоль реки, город был виден как на ладони. Весь в зеленых садах. Мелькали белые, розово-красные, бледно-голубые красочные пятна — дома и дворцы знати. Там живут родственники султана, его эмиры, улемы, чиновники, богатые торговцы. А вон — обнесенные прямоугольниками высоких дувалов¹ — помещения караван-сараяв, открытые простран-

¹ Дувал — глинобитный глухой забор.

ства базаров с ясно видными сверху крышами торговых рядов и бань. И, конечно, острые пики минаретов, купола и порталы мечетей. А еще дальше — хижины бедноты. С берега эти невзрачные, приземистые дома из глины и камыша и лавчонки казались ашичками¹, разбросанными азартно и впопыхах.

Красива, обширна, многолика столица Газна!

Бируни достиг большого моста, остановился перед ним, оглядел другой берег, вытянутые в ряд конюшенные помещения, перед которыми строем стояли молодые нукеры, одинаково одетые в красное. Они учтиво встречали съезжающих сюда эмиров, вельмож, мудрецов-ученых, каждому помогая слезть с седла.

Народу там было уже немало.

Тут перед мостом возникла телега, запряженная мулом. В ней сидел человек, на голове старая дервишская шапка. Человек пел полголоса.

Вот так так: бедняцкая телега на эдакой дороге? Где сейчас даже не все богатые могут проехать?

— Эй, мавляна!

Бируни тоже узнал хозяина телеги и натянул уздечку, придерживая своего коня.

— О, благословение аллаха повелителю всех питейных почтенному Маликулу шарабу!

Маликул шараб тоже остановился; поглаживая давно не чесанную, не крашенную бородку, лукаво заулыбался:

— Слава наставнику мудрецов, досточтимому Абу Райхану! Думаю, почему это не показывается он в бедной моей лачуге, покинул верного своего слугу? Видно, забыл старого друга ради нового? — сощурив глаза, метнул взгляд на султанских вельмож. — Поздравляю, поздравляю с новым другом, мавляна!

Бируни рассмеялся:

— Можно ли забыть повелителя весельчаков, дорогой мой? А не показывался я в вашем прекрасном заведении из-за недуга.

— Лучшее лекарство от всех болезней — глоток доброго вина!

— Истинно так. И сейчас же с удовольствием полегил бы... Жаль, что приходится предпочесть райскому вину совет мудрецов во дворце.

— Вы едете туда? — Маликул шараб сдвинул набок колпак, покачал головой. — Эх, мавляна! Не надо иметь

¹ Ашички — позвонки, кости для игры, любимой на Востоке.

великий ум, коим аллах одарил вас, чтобы постичь простую истину: подальше, подальше от властителей, военачальников, улемов. Оно будет надежней, а то, дорогой, быть может, и вас постигнет судьба Унсури!

Маликул шараб ударил кнутом своего мула, но тут же снова остановил его:

— Ох, будь проклята моя память! Хотел сообщить новость: вчера мою лачугу посетил еще один великий мудрец. Редкая, редкая птица в Газне.

— Интересно! Кто же?

— О, это такая тайна, что даже с самим собой боюсь о ней говорить...— И, ударив кнутом мула, винодел поехал дальше, мимо моста, по дороге, преодоленной Бируни.

«Таинственный мудрец? «Боюсь о ней говорить...»?.. Странно!.. О чем это он?.. Может, просто подшучивает надо мной?..»

Бируни пересек мост, слез с лошади, поводья сунул молодому нукеру-слуге. Миновав мост, следовало идти пешком. От входа в сад Феруз до мраморных ступеней дворца «Невеста неба» вела дорожка, застеленная коврами и шелковистыми полотнищами. По обеим сторонам пути — чем ближе к дворцу, тем гуще — застыли с обнаженными мечами, строго вертикально прижатыми к груди, молодые воины в красном.

Наконец Бируни — в тронной зале, где должен состояться машварат, совет мудрецов. Белоснежное пространство залы кажется еще большим, чем оно есть: собравшиеся теснятся вдоль стен, только самые важные вельможи во главе с главным визирем Али Гарибом расположились неподалеку от тронного кресла, справа и слева от него. На белых чалмах искрами вспыхивают золотые и серебряные знаки отличия; голубые, красные, желтые халаты украшены серебристыми бархатными лентами, кушаками, изукрашенными ремнями, на которых висят сабли с дорогими рукоятками в дорогих ножнах.

Среди знати — поэт Унсури. Меньшего ранга поэты — в других группах. Китайский гололицый врачеватель (четыре волосинки на подбородке!) бормочет что-то переводчику. Около него, скромно сложив руки, стоит лекарь-индус в широкой желтой рубашке и широких желтых шароварах. В одном ряду с эмирами священнослужители-улемы, «столпы веры», все — в зеленых бархатных халатах и зеленых чалмах, с тяжелыми четками в руках. А где же собратья-ученые? А, вот они, четыре знакомых

мудреца, не в первом строю, конечно, — вон старый звездочет Фаррух, вон летописец Абул Фазл Байхакі...

Взоры всех направлены на двустворчатую, массивную, пышно изукрашенную слоновой костью и золотом дверь, что в стене за тронном.

Говорят шепотом, на лицах — печать глубокой озабоченности.

Бируни тяжелым шагом приблизился к ученым, поздоровался тихо, кивком головы. Увидел главу дивана¹ Абу Наср Мишкана. Весь седой, маленький, но крепкий Абу Наср Мишкан подошел поближе.

— Опять лихорадка мучает, мавляна? Ой, ой, ой!

К Унсури подходить здороваться Бируни не стал. «Повелитель стиха» величественно взирал поверх голов; на его одутловатом, с красными пятнами лице легко было прочесть выражение самодовольной радости, столь не соответствующей печальным лицам других людей в зале. Унсури медленно-медленно вертел головой, дабы все другие получше увидели приколотую к чалме золотую булавку — особый знак внимания повелителя к поэту. В руке Унсури была какая-то толстая книга, завернутая в белый шелковый платок.

«С чего это радуется лицемер? Прямо-таки рот до ушей вот-вот растянет...» — спросил себя Бируни, и в это время медленно и звучно раскрылась двустворчатая дверь за тронном, все взгляды одновременно устремились в том направлении... и показался дворецкий в синем суконном халате с двумя красными лентами на груди, к чалме приколот особый стрелообразный жемчужный значок.

Сарайбон подошел к трону, загремел трещоткой, треща полной тишины. Провозгласил:

— Благодетель правоверных! Десница ислама! Честь и слава государства! Счастье престола! Наш сиятельный повелитель султан Махмуд Ибн Сабуктегин!

Звонко-торжественно отозвалось провозглашенное в беломраморной зале. Белые, зеленые, серебристые, цвета ртути, чалмы, брововые и соболий шапки склонились до земли. В дверях появился султан Махмуд Газнийский, сиятельный, победоносный, сопровождаемый (поддерживаемый!) с одной стороны чернобородым красавцем Абул Хасанакон, с другой — имамом² Саидом.

¹ Д и в а н — государственная канцелярия.

² И м а м — высокий духовный чин в мусульманстве, настоятель главной мечети.

Победоносный, сиятельный, могущественный... А похож он не на живого человека — на желтую восковую фигуру, которую нарядили в золотой халат и жемчужную корону. Худой и высокий, всегда суховатый, султан ныне похудел так, что, казалось, острые кости вот-вот прорвут кожу: плоское лицо обтянуто вроде бы до предела, словно желтая маска натянута, а глаза — печальные, полные страдания глаза раненой птицы — излучают странный блеск. Не один Бируни отметил: султан изо всех сил старается держаться с обычным величавым достоинством, сморщился, но приосанился перед людьми, отстранил поддерживающих и сам, твердо ступая, пошел к трону. Постоял-подождал немного, пристально глядя, как склонились головы и плечи («Будто могильные холмики», — почему-то подумалось), тяжелым шагом поднялся к тронному креслу, сел.

С правой стороны трона на более низком, позолоченном кресле сел имам Саид, слева точно на таком же сиденье должен был обосноваться бывший любимый прислужник, теперь приближенный визирь Абул Хасанак. Но — не одновременно с имамом, а после вступительной речи, которая ему поручалась. Абул Хасанак, стройный, сильный, прошел, будто танцуя, вперед. Голос его был звучен, как у певчей птицы, мягок, как бархат, журчал приятно, как вода в арыке. Он начал, конечно, с пожелания здоровья повелителю великой Газны, покровителю правоверных, пожелал процветания, счастья и покоя трону, он говорил витиевато и красочно, видно было, что и сам упивается произносимым. Султан вдруг перебил его, хмуро и хрипло-угрожающе:

— Где тут садовник сада поэзии?

— Покорный слуга всегда готов служить своему повелителю! — отвечивал Унсури. Подметая краем златотканого халата плиты пола, Унсури подошел к трону, рухнул на колени.

Тонкие губы султана чуть брезгливо скривились, но угроза в голосе пропала, когда он обратился к поэту:

— Мы довольны нашими поэтами. Они правдиво воспевают славу нашего государства, и пускай о том узнают все, кто собрался ныне на совет. Вот обладатель редкого дарования, садовник сада поэзии, преданный нам слуга Унсури. Преданный, да, ибо, день и ночь листая старинные книги, он нашел сведения о таком райском плоде, который... если его съешь, избавляет от всех недугов. Ведь так, шах поэтов?

— Истинно так, солнце неба!

— Эй, принесите золота! Дайте ему столько монет, сколько влезет в рот!

Открылась дверь за тронем, и вошел знакомый сарай-бон с подносом, полным золотыми динарами. От волнения Унсури заерзал, стоя на коленях.

— Бери, садовник сада поэзии, ешь досыта! За твой честный труд.

Унсури, причмокивая, будто перед ним было вкусное яство, широко раскрыл рот, наклонился головой к подносу и принялся губами забирать с него в рот золотые монеты. Кое-кто в зале восхищенно вздохнул, глаза многих загорелись завистью,— в мыслях своих они тоже хватили ч «жевали» золото.

Бируни и раньше видел такие вот церемонии «кормления золотом». Иные, уваженные султаном, чуть не давились от жадности. Как сейчас поэт Унсури... О всевышний! Едва ли не вполовину меньше стало золота на подносе. Но всему есть предел, и когда садовник сада поэзии вытянул губы за динаром, который был ему уже не под силу, глаза его выпучились, поднялась к горлу рвота. Он удержал ее, но несколько динаров, выскочив изо рта, покатились со звоном по полу.

— Слава шаху поэтов! Золото, выпавшее изо рта, считается целебным. Забери его снова, поэт!

И султан отвернулся от ползающего Унсури. Встал с трона (опять Бируни пришло на ум сравнение с огромным, но гнилым тополем. Гнилой, высохший тополь этот все еще обладал, все еще пугал таинственной своей силой).

— Итак, повторяю: мы довольны нашими поэтами, воспевающими наши победоносные походы. Шах поэтов Унсури!

— Готов к услугам, повелитель!

— Ежели не ошибаюсь... то дерево с божественными плодами, о котором ты говорил, растет в одной из восточных стран?

— Истинно так, благодетель! Может быть, в восточной части Китая, или Индии, или на одном из островов среди беспредельных морей. Так говорится вот в этой мудрой книге, солнце неба! К сожалению, мы, поэты, далеки от научных премудростей. Может быть, собравшиеся здесь ученые мужи укажут точное местонахождение того райского дерева, повелитель?

Низенький, весь кругленький, пухлые ручки на объ-

емистом чреве, Али Гариб, главный визирь государства, быстрыми мелкими шажками вышел вперед, повернулся к султану:

— Необходимо выпросить у китайского врачавателя, повелитель! Еще и еще раз выпросить...

Султан поморщился — спрашивали «еще и еще раз», — но согласился приличия ради:

— Где тут китаец? Где переводчик?

Выдвинулся китайский лекарь, помотал маленькой, с кулачок, головкой в круглой черной шапочке, низко поклонился сначала султану, а потом всем собравшимся. Сладко улыбаясь, что-то пролопотал. Переводчик сообщил: мудрец подтвердил сказанное поэтом Унсури, китайские врачеватели тоже слышали о райском дереве. Но, к сожалению, мудрец бессилён указать точное место.

Очередь дошла до индуса. И он что-то похожее слышал, но реальность ли слышанное или вымысел?.. Султан в нетерпении поднял руку:

— Довольно! Хватит! Опять ничего не ясно... Опять вокруг да около... Кто даст точный ответ?

Голубовато-лазурные купола потолка грозно отозвались: «Кто даст точный ответ? Кто?»

Грозный отзвук будто раскалил султана Махмуда. В печальных раскосых глазах раненой птицы заблестел гнев и, как показалось Бируни, отчаянье.

— Стыд, срам, мудрейшие! Поэты... ученые... сорок лет едите мой хлеб, а простую загадку отгадать не можете... Где Абу Райхан Бируни? — загремел вдруг султан, и эхо грозно повторило вопрос: «Где Абу Райхан Бируни?»

Бируни лихорадило, бросало в жар и в холод, как только он вошел во дворец, но, услышав вопрос султана, к нему обращенный, взял себя в руки:

— Я здесь, повелитель! — И добавил: — У ног ваших.

— Почему ты молчишь, ежели... у ног? Знаменитый ученый муж, десять лет прожил в Индии... А скрываешься, как крыса, в щели, в своей худжре¹, пишешь толстые, с подушку, книги. А ответить на важный для нас вопрос и у тебя не хватает ума?

Бируни, стараясь умерить стук сердца, сказал тихо:

— Повелитель! Позвольте мне задать один вопрос поэту Унсури.

¹ Худжра — келья в медресе, вообще — каморка, тесная комната.

— Не поэту! Он — наставник всех поэтов! Нами излюбленный шах поэтов!

— Я бы хотел спросить почтенного шаха поэтов Унсури, в какой книге он прочитал о райском дереве?

Поэт Унсури пугливо-растерянно взглянул на султана.

Тот кивнул — говори.

— В книге о мудром пророке Сулеймане, кто знал язык всех птиц и животных, — да будет мир его душе!.. Про дерево упоминает священная книга о благословенном пророке Сулеймане, — повторил поэт и, тяжело дыша, достал сверток-книгу из-за пазухи. Развернул. Поднял над головой.

— С вашего разрешения, повелитель, я хотел бы поглядеть на эту книгу.

— Дай, пусть прочитает!

Все затихли. Затаили дыхание. В полном молчании передавали книгу в черной кожаной обложке из рук в руки.

...Бируни не ошибся: в книге излагалась та самая сказка, которая вспоминалась ему вчера при Хатли-бегим. Сказка про попугая, который хотел сделать добро царю, а лишился собственной головы!.. О грешные люди! Жестокая казнь!.. Конечно, трудно упрекать султана за то, что он, подобно утопающему, хватающемуся за соломинку, схватился за эту небылицу: во что ни поверишь, коль тяжко болен. Но этот-то поэт, шах поэтов, эти-то визири и эмиры! Неужели и они поверили в сказку? Или спятили с ума, или им все равно, что будет с султаном...

— Почему молчишь? Абу Райхан!..

«Абу Райхан!»

Бируни произвольно вздрогнул: звучание собственного имени страшило не меньше, чем грубый голос самого султана.

— О аллах, спаси и помилуй!.. — Бируни не заметил, как вырвался у него этот вздох души. — Простите, повелитель, но книга эта не учеными написана, это... это просто сказочная история.

По зале прокатился гул и тут же затих. В тишине султан переспросил, как-то жалобно даже:

— Сказочная история? Как это так?

Бируни нашел в себе силы повторить еще отчетливее:

— Простите вашего покорного слугу, повелитель, но, к сожалению, это и впрямь старая сказка!

Тут, спотыкаясь и путаясь в полах своего златотканого халата, выскочил к трону Унсури, пал ниц:

— Солнце неба! Этот нечестивый... этот Абу Райхан называет сказкой слова святого пророка Сулеймана... Он берет под сомнение нашу веру, он — нечестивый богохульник!

— Все вы нечестивцы и богохульники, — сказал султан, почему-то не повысив голоса, с выражением скорби на лице. — Сорок лет мой хлеб ели, плюнули на мою скатерть, неблагодарные! Вы невежды, а не мудрецы! Вот что я увидел, когда на голову пала беда. Главный ви- зирь!

Али Гариб, будто кто-то ударил его под коленки, тоже пал ниц, поцеловал пол перед тронем.

— Десница ислама! Солнце наше! Аллах да не лишит нас своей милости! Ангел спасения находится в пути. Он разгадает загадку, повелитель!

— Находится в пути? — Султан тяжело встал, пошатнулся, выставил вперед правую ногу, рывком вытащил из ножен саблю. — В пути, говоришь? Где в пути? Где?! — спокойствие оставило Махмуда. Он закричал: — Или немедленно найдите мне того надменного лекаря, или всех вас зарублю! Всех! Вон! Все вон отсюда!

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Сегодня четыреста двадцать первый год хиджры¹, третий день месяца раиул аввал. Перед заходом солнца в большую квадратную комнату шейха² пришли сорок красиво пишущих переписчиков. Шейх любезно пригласил их, дабы они переписали из «Китаб Аш-Шифа»³ главу о растительном мире, но тут вдруг перед вечерней молитвой внезапно приехали два гонца от правителя Хамадана эмира Ала-уд-Давли и забрали шейха во дворец. Шейх, когда садился на лошадь, приказал мне до его возвращения занять и угостить собравшихся каллиграфов.

¹ Мусульманское летосчисление ведется с года хиджры — переезда пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (622 г.). Указанная дата — начало февраля 1030 года.

² Шейхом назывался старейшина, наставник. Как мы помним, Ибн Сину называли «шейх-ур-рапс» (наставник ученых).

³ Одна из работ Авиценны энциклопедически-философского характера.

Я накрыл стол, угостил их, затем мы приготовили бумаги и писчие перья и стали ждать шейха.

Шейх обычно садился на почетное место, произведение свое сам диктовал наизусть, за ним слово в слово записывали, и таким образом за одну ночь тридцать — сорок свитков бывали готовы.

Шейх, когда закончил «Аль-Канон», тоже так сделал: собрал всех лучших каллиграфов, сколько их было в Исфахане, сам диктовал, а писцы слово в слово записывали. Потом каждый каллиграф собрал у себя кто двадцать, а кто и тридцать жаждущих знаний молодых талибов, и то, что записал со слов шейха, диктовал талибам, а они это записывали, и таким образом, за два-три приема было готово несколько сотен рукописей.

Вот почему книга «Аль-Канон» так быстро разошлась по миру и так быстро обрела славу.

Шейх вернулся из дворца после вечерней молитвы. Наставник был очень взволнован и встревожен. Он зашел в комнату, где собрались каллиграфы, попросил у них извинения и разрешил разойтись по домам. Мы остались одни. Шейх тут же сказал, чтобы я собрал одежду и еду на три-четыре дня пути. Как потом стало мне известно, от правителя Газны султана Махмуда в Хамадан, где обитал шейх, прибыл посол. Посол привез грозный приказ султана во что бы то ни стало, хоть под землей, найти шейха и немедленно доставить в Газну. Прочитав это высочайшее повеление, вконец перепуганный эмир Алауд-Давля тайно встретился с шейхом и ему самому предоставил решить, как быть и что делать. Шейх наотрез отказался ехать в Газну. Они решили обоюднo, что до отъезда посла шейху следует исчезнуть из Хамадана, скрыться где-то на время.

Мы надели старые халаты, на головы натянули потрепанные шапки странствующих дервишей и в полночь, не весьма отягощенные грузом в переметных суммах, вышли из дома.

Шейх сильно тревожился. Когда эмир Масуд захватил Исфахан, шейх бежал оттуда и прибыл в Хамадан. Месяц назад он получил печальное известие, что в Исфахане сгорел его дом и что во время пожара сгорело собрание ценнейших книг шейха. К тому же неизвестно, остался ли в живых его младший брат Абу Махмуд и что случилось еще во время пожара. Все свое богатство, приобретенное тяжким трудом, шейх потратил на собиранье книг; там хранилось много бесценных, а также редкие

списки произведений шейха «Аль-Канон» и «Аш-Шифа» — плоды трудов лучших каллиграфов. Лишь бы они не сгорели вместе с другими книгами!

В Исфахане шейх приступил к давно задуманному произведению, которое называлось «Китаб-ал-Инсаф» и составляло целых двадцать книг¹. В нем он подвел итог своим раздумьям о мире, о бытии человеков, о добре и зле, о справедливых и несправедливых шахах. Когда пришла неприятная весть из Исфахана, шейх то печалился, думая о брате, то страдал, думая о своем бесценном книжном собрании. И почему-то часто вспоминал «Книгу справедливости», может, потому, что рукопись этого труда не была им завершена. Теперь он, бежав из Исфахана, вынужден и в Хамадане прятаться, проводить бесценные дни свои в темных закоулках, скрываясь от недругов, от соглядатаев всемогущего Махмуда Газнийского!

Что за участь уготовила судьба такому человеку на старости лет? А ведь у шейха нет другого желанья, кроме как последние годы всецело посвятить себя занятиям наукой. Бедный шейх! Когда же он получит возможность осуществить свои желанья, сокровенные свои желанья? И придет ли время, когда он сможет прожить свои последние годы спокойно и без печали?

Абу Убайд Джузджани²».

ОТ АВТОРА РОМАНА

Воспоминания Абу Убайда Джузджани, верного ученика Ибн Сины, являются для нас бесценным документом. К сожалению, полностью эти бесценные воспоминания до сих пор не найдены. Помню, в нашем кишлаке был один старый учитель, знавший хорошо по-арабски, да и в современных науках он разбирался неплохо.

Однажды, в начале пятидесятых годов, когда я, окончив первый курс университета, приехал домой на летние каникулы, он пригласил меня к себе домой.

— Говорят, сейчас в Ташкенте очень большой интерес проявляют к трудам великого Абу Али Ибн Сины? — спросил учитель. — Будто бы приступили уже к перево-

¹ «Книга справедливости». Безвозвратно пропала после разгрома войском газнийцев дома Ибн Сины в Исфахане.

² Один из самых верных учеников Ибн Сины, автор, точнее — соавтор и продолжатель начатого ученым автобиографического «Жизнеописания».

дам его трудов с арабского на узбекский. Ты, сынок, слышал про это доброе дело?

Молодой, недавно вступивший на вторую ступеньку университетской учености студент, я, конечно, был далек от подобных проблем, но, чтобы не показать своего невежества перед почтенным учителем, ответил:

— Да, слышал об этом. Большие дела делаются в этом направлении.

— Наконец-то! — обрадовался учитель. — У великого врача был очень сообразительный ученик по имени Абу Убайд аль Джузджани. У меня есть рукопись его воспоминаний о великом Ибн Сине, переписанная, конечно, много веков спустя... Если хочешь, я кое-что тебе прочитаю.

Сказав так, учитель подошел к нише, полной старинных книг, и вытащил одну, в черном тяжелом переплете. Стал читать по-арабски, слово в слово переводил, а я слушал. Такое чтение продолжалось несколько вечеров. Вначале я слушал без особого интереса, а затем увлекся. Я даже попросил у него книгу, сказав, что, если он согласен, я отвезу рукописную книгу в Ташкент к ученым-востоковедам. Но получил решительный отказ. «Если будет здоровье и возраст мой позволит, я сам переведу эти воспоминания и сам отвезу», — ответил учитель.

Но, к великому сожалению, учитель вскоре скончался. На следующих каникулах я побывал в его семье и спросил о редкостной книге. Но книга исчезла.

Когда я, спустя много лет, приступил к написанию этого романа, то с удивлением обнаружил, что моя память кое-что из услышанного в юности сохранила.

Да, память — хрупка, полностью доверяться ей нельзя. И все же, понимая, что лучше поздно, чем никогда, я попытался как бы восстановить воспоминания Абу Убайда аль Джузджани и воздать к тому же дань памяти своему старику учителю из кишлака, где прошла моя юность.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Главный визирь Али Гариб возвращался из дворца вконец расстроенным. После злополучного позавчерашнего совета мудрецов состояние здоровья султана ухудшилось еще более, а сам он стал невыносимо капризен: ничего разумного не говорит и ничему разумному не внимлет. Ни о чем и ни о ком не хочет слышать. Твердит

одно: доставьте к нему Ибн Сину! Повелитель просто приличие теряет: по десять раз на дню осведомляется об Ибн Сине, а главный визирь и Абул Хасанак должны придумывать с утра до вечера тысячи объяснений, почему лекаря нет до сих пор в Газне. И все начинается сначала.

Дворец «Невеста неба» в эти дни стал для Али Гариба сущим адом, потому, приходя домой в вящем убеждении, что жизнь человека недолговечно-бренна, главный визирь всем существом своим отдавался наслаждениям.

В чем они состояли? Поведаем и о том.

Хотя сад великого визиря не мог бы победить в соперничестве сад Феруз, а дворец великого визиря не «Невеста неба», и сад и дворец его тоже были преисполнены прелести.

Пышно цвели персики и ранний урюк; стройные кипарисы по краям дорожек, посыпанных мелким красным песком, зеленели нежно; плакучие ивы на берегу арыка опустили к воде ветви — уже в сережках, будто красавицы, расчесывающие волосы. В сумерках начинали журчать серебристые фонтаны, каменные фонари зажигались среди темной зелени, — сад становился волшебным.

Так вот, обычно, придя домой из дворца, главный визирь снимал златотканый халат, набрасывал какую-нибудь легкую одежду. Вместо зеленой чалмы с золотой булавкой — значком главного визиря — водружал на голову гладкую бархатную тюбетейку с узорами, похожими на цветы персика. Приятно прогуливаться одному по огромному саду в легких сафьяновых кавушах, не спеша прохаживаться среди гранатовых, миндальных, персиковых деревьев, зарослей хурмы, ласкающей взор неповторимо нежным тоном распускающихся соцветий. Великий визирь любил думать о заботах государственных в одиночестве, без свидетелей, вот так гуляя спокойно или посидевшая в уютных беседках на берегу пруда, — с кем же и обсудить запутанные дела и спорные вопросы, как не с самим собой?

А забот тяжких и опасных вопросов становилось все больше с каждым днем.

Главное — не промахнуться в том, кто будет наследником престола: бесстрашный, воинственный, упрямый, как султан-отец, эмир Масуд, находившийся сейчас в далеком Исфахане, или безвольный Мухаммад. Пожалуй, все остальные сложности дворцовой жизни, раздоры, явные козни и тайные распри сановников, «столпов государ-

ства», упирались в то или иное решение этой трудной задачи. Ну, а ему ль не знать, что сложные задачи требуют от того, кто берется их решать, осторожности и бдительности, это уж прежде всего, да, да, государственные дела — это вам не поле битвы, где надо проявить быстроту и лихость, тут не на них — не на саблю и стрелу — надо надеяться.

Особо доверенным лицам известно: султан решил сделать наследником престола младшего сына, Мухаммада. Но это его решение — еще не хутба¹, да и многие сановники недовольны таким решением. Скажем, любимая сестра султана, Хатли-бегим, женщина властная и хитрая, умела вмешиваться в государственные дела, явно и неявно повелевала во дворце всеми. Или маленький, тщедушный, но мозговитый хозяин канцелярии Абу Наср Мишкан, он тоже за Масуда. Главный визирь знает, что они и сообщники их тайно связаны с эмиром Масудом, каждый шорох во дворце становится Масуду известен. Хорошо еще, что сам эмир Масуд в эти опасные дни не в Газне, а в Исфахане, ну да он эмир, военачальник, где войско — там и он... Но ведь и войско может пойти, куда военачальник пойдет...

Обычно главный визирь обходил все дорожки в своем саду, а когда уставал, отдыхал в беседке. Там все было приготовлено заранее к его посещению: розовые и золотистые вина в изящных, радужно играющих хрустальных сосудах, горячие шашлыки из перепелиного мяса, — как умудрялись слуги подать их неостывшими! — лепешки, только что испеченные, — словом, все, до миндальных орешков и фисташек. В одной беседке хозяину прислуживали молоденькие, безусые еще, юноши, в другом, уединенном, месте — прелестные девушки-невинницы, которых, как говорится, и родная мать еще не целовала. В тонких, прозрачных одеждах, сквозь которые просвечивали их лебедино-белые груди, подобранные животы, стройные ножки, они и волновали, и радовали взор низкорослого, кругловатого своего господина, готовы были любую прихоть его исполнить.

Недолговечно-бренна жизнь рабов аллаха, и потому в сем подлунном мире человек торопится насладиться тем, чем аллах разрешил наслаждаться.

¹ Хутба — особая проповедь имама в главной мечети; в хутбу включались решения правителей, поэтому она часто имела государственную юрисдикцию.

Но сегодня великий визирь вернулся из дворца настолько расстроенным, что из дворцовых покоев своих в сад не спустился.

С тех пор как здоровье султана пошатнулось, Али Гариб все свои главные ценности хранил в собственном доме, не показывая никому: золотые статуэтки из Индии, хрустальную посуду, шелковые ковры и редкостные украшения из слоновой кости, слитки золота и кувшинчики с золотым песком, кувшины поболее, с динарами, редкостные, причудливые жемчужно-изумрудные шкатулки, статуэтки диковинных животных и птиц, — все это богатство упрятано в тайных местах, только ему и ведомых, а в просторных, отделанных разноцветной керамикой комнатах дворца оставлена на виду простая домашняя утварь.

Сегодня главный визирь зашел в одну из таких порядком опустошенных комнат, прилег на заурядную ватную курпачу. Сомкнул веки: хотелось прийти в себя, потому как голова трещала от тяжелых дум и от боли в висках. Еще предстояло принять купцов заграничных, пришли на поклон, разумеется, не без подарков. А после купцов — правителей некоторых дальних городов и областей. А затем еще — соглядатаев, приглашенных на ночную беседу. Главный визирь, прежде чем полежать на курпаче спокойно, приказал снять с себя сапоги и, как всегда, помассировать ему ноги, — без этого глаз не сомкнешь. Но только прилег на курпачу и вытянул ноги, только молодой слуга взялся за каблуки сапог, вошел дворецкий визиря и доложил, что из Афшаны явился некий соглядатай и что соглядатай этот нетерпелив, просит, не медля, его принять. Обычно главный визирь в первую очередь принимал купцов, поскольку те никогда не являлись с пустыми руками. Но Афшана есть Афшана — самая бедная, самая скандальная, самая опасная часть Газны.

Али Гариб отпустил слугу-массажиста. Позвали соглядатая. Некто в черном чекмене и черной, вывороченной наизнанку шапке мелкими шажками вошел в комнату, пал на колени.

Великий визирь недолюбливал этого давнего своего доносчика, — может, потому, что тот кругловато-неуклюжей фигурой и качающейся походкой напоминал его самого. Но Пири Букри неизменно приносил самые ценные вести. Слово в слово о том, что говорилось, например, в питейной поэта-нечестивца Маликула шараба, о подстре-

кательских разговорах против сиятельного султана и всего государства...

И на сей раз сообщение оказалось из важных.

Пири Букри, прижав к груди длинные крючковатые руки, втянув голову в горбатые плечи, начал рассказывать об одном странном и воистину заслуживающем внимания происшествии: будто в питейную этого нечестивца Маликула шараба, в сие гнездо злословия и козней, на днях заявили двое неизвестных. Один — молодой, другой — намного старше, весьма ученого вида, с благообразным ликом, говорит весьма складно и умно. У вдребезги пьяного молодого путника он, Пири Букри, выведдал, что мудрец, на чьем лице читались ум и пронизательность, не кто иной, как великий исцелитель недугов, человек, которого весь подлунный мир зовет Ибн Сина! Да, да, это он, Абу Али аль-Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина!

Великий визирь, смотря прямо в невинно-голубые глаза соглядатая, засмеялся:

— И ты, старый шайтан, поверил, ты — многомудрый Пири Букри? Иль ты не слышал о мошенниках, которые выдают себя за почтенного Ибн Сину, обманывают легковых невежд, сдирают с них деньги? Если б то был настоящий Ибн Сина, зачем ему было появляться в гнезде пьяниц и нечестивцев?

Пири Букри сощурил младенчески-голубые глаза:

— Не знаю, благодетель, не знаю, вначале ваш покорный слуга тоже не поверил, своим глазам не поверил, но когда они увидели рисунок...

— Какой рисунок?

— Тот самый рисунок, где изображен почтенный Ибн Сина. Помнится, по велению султана его изображение сделал Абу Наср Аррак¹; размножив, рисунок разослали в сорок городов и стран. Так вот, тайно пришедший к нам в город путник похож точь-в-точь...

— Точь-в-точь, говоришь? — Али Гариб с быстротой, которая была так несвойственна его располневшему телу, поднялся с курпачи. Он собрался что-то приказать, но снова явился сарайбон.

— Ну, говори, не мешкай!

— Прошу покорно простить. Из Тегинабада явился посыльный!

— Из Тегинабада?

¹ Знаменитый историк и художник, современник Ибн Сины.

— Истинно так, господин. От почтенного визиря Абул Вафо.

Главный визирь велел Пири Букри выйти из комнаты.

— Зови посыльного! А ты — подожди.

«Что за день сегодня! Происшествие за происшествием! И какие!»

Посыльный явился, бледный и запыленный — целую неделю скакал, вконец обессилел, — опустился на колени у самых дверей, достал из-за пазухи наскавак¹, вытащил из него смятую бумагу — в нос визиря ударило едким запахом табака.

О великий аллах! То, что Али Гариб узнал из этой желтой, пропитанной табаком бумаги, было еще — и на много! — поразительней, чем сообщение заслуженного соглядатая — Черного Паука!

Главному визирю государства известно было, что посланный три месяца назад в далекий Хамадан Абул Вафо Рыжий — «дабы, чего бы ни стоило, разыскать, хоть из-под земли выкопать и доставить в Газну почтенного Ибн Сину» — возвращался в столицу ни с чем. Уже целую неделю Али Гариб знал, что почтенный Ибн Сина, заранее кем-то предупрежденный о том, что Абул Вафо Рыжий направлен за ним в Хамадан, тайно покинул город и где-то скрылся. Даже правитель Хамадана Ала-уд-Давля не смог его найти. А наследник Масуд... так тот не только не оказал помощи Абул Вафо из своего Исфахана, а, напротив, скрытно чинил ему препятствия в данном деле. И вот Рыжий возвращается ни с чем; боясь гнева блистательного и могущественного, он не поспешает.

«Непредсказуемы события в этом подлунном мире», — размышлял великий визирь. Три-четыре года Абул Вафо соперничал с ним, Али Гарибом, в борьбе за место главного визиря, проиграл, оттого еще более ожесточился... Разве думал он, что когда-то придется обратиться за помощью к своему главному сопернику? Да вот пришлось.

Великий визирь не без самодовольства усмехнулся.

Так ему и надо, этому большеголовому увальню... Лоб широк, да мозгу мало. Был бы умней, так посоветовался с главным визирем до своей поездки в Хамадан, а не после. А то раздулся от гордости: как же, получил почетное поручение от самого покровителя правоверных! Даже не заглянул к нему, великому визирю. Будто опьянел

¹ Наскавак — табакерка из тыквы для хранения паса — жевательного табака.

от хурджунов с золотой монетой, лучших коней, отборных нукеров да высочайших грамот султана. А теперь вот тупица большеголовый облил письмо слезами страха, просит совета: как ему быть?

Нет, послание, написанное грубым, нескладным, как и сам Абул Вафо, слогом, не смогло растопить старого льда в сердце великого визиря. Но то, что сообщалось во второй части послания!.. О, это заслуживало раздумья!

Абул Вафо писал, что, когда он после неудачной поездки в Хамадан на обратном пути в Газну прибыл в Тегинабад с пустыми руками и разбитой надеждой, на городском базаре появился некий лекарь, который открыто именовал себя Ибн Синой и впрямь лечил народ, и, по слухам, от снадобий и благодаря его уменью вылечилась чуть ли не тысяча недужных, до того считавшихся безнадежными.

Услышав сию новость, посол Абул Вафо немедленно кинулся на поиски. Но выяснилось, что Ибн Сина тоже каким-то образом узнал о прибытии Абул Вафо, срочно собрал пожитки и в ту же ночь исчез, будто сквозь землю провалился.

«Большеголовый тупица! Упустил из-под носа эдакого зайца, а теперь льет слезы да еще и досадует, будто не он виноват». Но между прочим... важно не это, а предположение Рыжего, что сбежавший из Тегинабада целитель направился в сторону Газны! Пусть по слухам, но нет ничего истинней правильно обдуманых слухов.

Вдруг будто молния сверкнула в мозгу главного визиря. О, какая опасная мысль! Невероятно дерзкая! Настолько опасная, невероятно дерзкая, что Али Гариб на сей раз все дела отложил в сторону, не только Пири Букри не дождался вызова к главному визирю, но и важные гонцы из других областей государства, иноземные торговцы, что пожаловали в Газну с дорогими дарами. Возбужденный неожиданно блеснувшей захватывающей мыслью, Али Гариб приказал принести вина и выпил одну за другой несколько чаш, что позволял себе крайне редко.

Вино двадцатилетней выдержки сделало свое дело. Невероятно дерзкая, дикая даже мысль, которая еще с минуту назад вызвала в сердце волну страха, теперь показалась вполне вероятной для осуществления, и не дерзкой, а смелой.

Великий визирь решил, как обычно, выйти в сад, походить, продумать все как следует, но тут дверь отвори-

лась и с низким поклоном вошел доверенный его слуга, кушчи¹.

— Простите великодушно, благодетель! От визиря Абул Хасанака срочный гонец... Просит, чтобы вы отдали ему отелившуюся вчера олениху.

— Олениху?

— Да, и с молодым олененком...

— В полночь? И вообще — зачем?

— Не знаю, господин мой, только гонец говорит, что наш повелитель султан собирается на охоту...

— Повелитель... на охоту?

«Вот и еще загадка! Уже несколько месяцев султан Махмуд не то что на охоту ехать не может, а еле ноги волочит. А тут собрался на охоту!»

Да, приходится признать: у султана Махмуда нехорошая привычка — не с ним, великим визирем государства, советоваться по большим да и небольшим, но доверительности требующим вопросам, а с этим ничтожеством, красавцем похотливым, больше похожим на женщину, чем на мужчину, — с Абул Хасанаком.

Видно, и про охоту они вдвоем решили...

Все это угнетало и злило великого визиря, и ненависть к сопернику (еще одному сопернику) вызывала чуть ли не физический, до кончиков ногтей, зуд во всем теле. Успокаивало, да и то немного, сообщение Пири Букри.

Ладно, пусть, пока они будут охотиться, Али Гариб все свои дела обдумает основательно, подготовит ответный ход, неотразимый, как молния.

В ту же ночь Пири Букри пришлось еще раз посетить дворец главного визиря, уже перед самым рассветом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда вооруженные до зубов нукеры ворвались в дом, где спрятался пожилой путешественник, именовавший себя Ибн Синой, тот спал мертвым сном. Не успел и вскрикнуть, как нукеры засунули ему кляп в рот, связали по рукам и ногам, вынесли, словно куль с мукой, перевалили через седло, погнали лошадей.

Пожилой человек болтался, свесившись по обе стороны коня, раскачиваясь туда и сюда, отбивая себе и

¹ Кушчи — тот, кто ведает ловчими птицами.

почки, и печень, и желудок, и кишки, и все, что дал мужчине аллах. «Дуралей безмозглый! Болтун несчастный! — думал про себя похищенный.— Ибн Синой объявил себя? Ибн Синой?! Ну, так теперь расплачивайся... подыхай раньше времени!»

Звезды на небе желтели, будто рассыпанное по черному бархату пшено; сиял молодой месяц — кусочек чеканного золотого динара. Или нет, он напоминал только что родившегося младенца, был беспомощен и слаб, как младенец. Вчера еще теплый ветерок разносил по миру острый и тонкий запах весенних трав, а сегодня за ночь он превратился в сильный поток холодного воздуха, и от этого ветра деревья, росшие вдоль дороги — громадные чинары, тянувшиеся ввысь светлые тополя, густолистые вязы и карагачи,— шумели и бились, будто огромные черные птицы.

Город крепко спал. Везде было тихо, молчали даже колотушки ночных сторожей. Каменные фонари на перекрестках улиц погасли.

Пожилой путешественник, туго связанный по рукам и ногам, мучился на лошади довольно долго. Успел, во всяком случае, припомнить зловещие тюремные подвалы правителя Бухары Алитегина¹, еще в те годы, когда султан Махмуд был сравнительно молод,— припомнил и покрылся холодным потом.

«О дуралей безмозглый, о бестолковый ученик! Если бы этот глупец вечером того дня, когда мы приехали в Газну, не захмелел бы от одной пиалы вина у Маликула шараба, если б он не сболтнул неосторожно про Ибн Си-ну, не было бы этого несчастья, не было бы... А теперь вот рухнули все умные планы и все надежды, которые я лелеял, собираясь в Газну... Все рухнуло, все!»

Нукеры с шумом промчались по безлюдной темной Газне. С коней сошли у крепостных ворот. Поставили на ноги, предварительно развязав веревки, и пленника. Долго шли потом по казавшемуся безграничным саду, вышли к белой громаде дворца. И здесь ни звука, ни света, ни людей — тьма вокруг, темень за окнами и нижнего, и верхнего ряда; кроме одного — там мерцало слабо, будто оттуда выходил месяц на небо.

У мраморного дворца нукеры развязали пленнику руки, кляп изо рта не вытащили, к тому же поясным плат-

¹ Алитегин был из илек-ханов, династии караханидов, сменившей на бухарском престоле саманидов.

ком крепко завязали глаза, куда-то повели, подталкивая в спину.

Путешественник (будем называть его пока так) был ни жив ни мертв, после тряски на крупе коня соображал совсем плохо. Будто человек, оглушенный по голове ударом палицы. Куда и сколько времени он прошел — неведомо. В голове немного прояснилось от громыханья каких-то замков.

Его затащили в сырой, холодный подвал с застоялым тошнотворным запахом. Не то кислотины какой-то, не то гниения. Когда дверь в подвал захлопнулась и вновь послышался лязг замков, путешественник сорвал с глаз толстую повязку. Но все равно ничего не увидел. Тьма, крошечная тьма. И отвратительный запах. Ноги сами собой подкосились, путешественник где стоял, там и упал на колени, почти произвольно руки его стали царапать землю — от боли, обиды, страха.

Его настоящее имя было Абу Халим, но с юности приятели прозвали его Шилким¹ или Шахвани², и кличка прилепилась.

Абу Халим Шахвани родился в доме Абу Файсала, любимого лекаря правителя Бухары Нух Ибн Мансура, в той самой части достославного города Бухары Джуи Мулиён, где проживал и молодой Ибн Сина.

О этот Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина! Ибн Сина!

Шилким, с тех пор как себя помнит, завидует Хусейну Ибн Сине. Да какой завистью! Бешеной, будто ужадной крысы! Правда, вначале, когда семья Ибн Сины приехала в славную Бухару, никто на всех на них никакого внимания не обратил. Хотя глава семьи, Абдаллах Ибн Сина, стал писарем в государственной канцелярии. Но именитые люди из Джуи Мулиён относились к пришельцам довольно высокомерно, даже посмеивались над ними. Пришельцы, пусть они из близкой Афшаны, — все равно пришельцы. В то время Абу Файсал, отец Абу Халима, считался главным лекарем эмира, имел красивый дом, высокий, в два ряда окон, выходящих во двор, дом-дворец, и большой сад, огромный, не уступавший другим садам самых высоких вельмож. Рядом с их великолепием дом, двор и сад отца Абу Али казался рубищем дервиша рядом с пышным халатом царедворца.

В то время пятнадцатилетний Абу Халим получал образование в «большом медресе» Бухары. Оно находи-

¹ Ш и л к и м — волокита, ухажер.

² Ш а х в а н и — похотливый, сладострастный.

лось в самой почетной части города, там, где жили арабы аристократы. Тогда юный воспитанник «большого медресе», разъезжавший по бухарским улицам на белом скакуне, укрытом парчой, никакого внимания не обращал на «пришельца», сына «пришельцев»-соседей. Даже когда пошли слухи, что сей худощавый, темнокожий, горбоносый «пришелец»-сын обладает невероятным умом — и тогда юный Абу Халим не обратился на Хусейна никакого внимания. «Птица счастья», которая, по преданию, садится на головы счастливцев, свила, благодаря отцу-лекарю эмира, прочное гнездо на голове лекарского отпрыска. Вот Шахвани и якшался с избалованными сынками именитых людей Джуи Мулиён, вовсю пировал, а после пиров вместе с друзьями любил забираться в сады богатеев и вельмож и тайно подглядывать за гаремными красавицами, которые плескались в мраморных бассейнах. Впрочем, не одной подглядкой обходилось; в лунные, светлые ночи они любили, крадучись, охотиться за легкомысленными птичками, благо птичек таких было тоже немало в благонаравной, священной Бухаре. А Абу Али?.. Ну, Хусейн, тогда еще только Хусейн? Иногда он видел Хусейна Ибн Сину на базаре, в торговых лавках, более всего — в лавках, где продавались книги. В лавках мелких розничных торговцев юноша изучал травы, выбирая нужные из множества пучков. Мечтатель, книгочей, нюхальщик трав! Юноша? Да какой он юноша! Смех, да и только. Старичок преждевременный!

Шахвани и его друзья ходили тогда на бухарские базары с иными целями: увидеть солнцеликих красавиц, молодых жен каких-нибудь вельмож и богачей, более всего на свете обожавших посещать ювелирные ряды, — солнцеликие, ну, это для поэтичности, вежливое обращение, после которого, глядишь, и вуаль на лице вдруг откинут ненароком, и словами, оказывается, можно перекинуться, да такими, что и на иное, большее не отнимут надежд у настоящих молодцов с горячей кровью.

В богатых ювелирных рядах базара можно было найти и редкостных форм золотые серьги и браслеты, и незатейливые на вид, во всем подлунном мире одинаковые кольца (но золото какое!), бусы из перламутра, приколотые на парчовые подушечки и выставленные на обозрение так, чтоб каждая бусина переливалась на солнце... а сапфиры и жемчуг, а рубин и яхонт? На эти украшения солнцеликие аристократки Бухары слетались, как мухи на сладкое. Ну нет, не мухи. Стройные

ножки в игриво-пестрых шароварах и в изящных туфельках; на лбу золотые обручи с рубином и жемчугом вместо родинки; платья шелковые и парчовые. Из крытых повозок и паланкинов молодые жены выпархивали будто бабочки и летели, каждая прикрыв лицо прозрачным платком, к лавкам, к редкостным украшениям. Но, проносясь мимо молодых бездельников, иные баловницы еще и до лавок умели подать нужные знаки, подчас довольно нескромные, сулившие тайные встречи в самых укромных садовых уголках Джуи Мулиён.

«Пришелец»-мечтатель, преждевременный старичок, рывшийся в сундуках и развалах жалких книжных лавчонок, казался Шахвани и приятелям его поистине смешным. Иногда они преграждали дорогу, язвительно звали пойти вместе:

— Эй, дружище! Оставь ты свое копанье в травках и книжках... Младшей жене торговца из Балха ты очень приглянулся в своем бязевом халате, она по уши втюрилась в тебя. Приходи ночью на развилку садовых дорожек. Мы ее позовем туда и сведем вас!

Они громко хохотали; Абу Али, то бишь тогда-то еще Хусейн, бледный, не проронив ни звука, проходил мимо.

Однажды, вернувшись на рассвете с очередной гулянки, Шахвани попал в неприятное положение: только-только задремал, как кто-то вдруг пинком разбудил его. Открыл глаза, а над ним достопочтенный отец — да будет земля ему пухом! Выпрямился, ровно столб, белая лекарская тюбетейка сползла набекрень, глаза вылупил, длинная белая борода на груди трясется, будто какое-то живое существо. Гневный, кулаки сжал крепко!

— Балбес неотесанный! Валяешься, как навоз. Вон сын пришлого писаря, твой ровесник, вылечил повелителя Бухары, получил бесценные дары. А ты занят только грехом!

Оказывается — узнал чуть позже Шахвани, — тот мечтательный юноша-старичок, рывшийся в лавках старьевщиков и собирателей трав, так поднаторел во врачевании, что обошел отца, нашел средство вылечить правителя Бухары эмира Нуха Ибн Мансура, за что и удостоен был его милостей.

Вот когда, наверное, появилась впервые та самая крыса зависти, которая всю жизнь грызет Шахвани. И не только его! Чем больше росли известность Ибн Сины в Бухаре, успехи его в благородном деле врачевания и в

разных иных науках, тем сильнее грызла крыса зависти и Шахвани, и достопочтенного отца его.

Вскоре старый эмир Нух Ибн Мансур скончался, наследовавшего престол Мансура Ибн Нуха отправили на тот свет заговорщики (два года всего и процарствовал), следующий неудачник из эмирской семьи Самани, Абдул Малик, не сумел удержать за собой Бухару, которую взял, разграбил и частично сжег тюрок илек-хан Наср. Весь Мавераннахр¹ теперь был под властью тюрков-степняков. Если еще совсем недавно вельможи бухарские насмехались над степняками, то теперь почитали за счастье и честь отдавать замуж своих дочерей в тюркские родовитые семьи и брать в жены своим сыновьям дочерей тюркских беков.

Так и достопочтенный Абу Файсал посадил однажды своего сына на коня и повез в степь.

Стояла ранняя весна. Безграничные степи за Афшаной бухарской кишмя кишели отарами овец, табунами лошадей; радовали глаз белые, красные, желтые, коричневые юрты, вокруг которых скакали всадники-подростки, резвились девушки в круглых красивых шапочках с беркутиным пером и серебряных украшениях в косах.

Старый Абу Файсал остановился возле самой красивой белой юрты, что стояла на самом высоком холме. Отца с сыном встретил высокий пожилой мужчина в белой войлочной шапке, белом длинном чекмене, подпоясанном серебряным пояском. Увел Абу Файсала в юрту. А Шахвани остался снаружи. Рассматривал девушек, которые хлопотали возле юрт, любовался их живыми, открытыми, как принято у степняков, лицами. Отец по пути рассказывал, будто у этого тюркского бека богатства не меньше, чем у правителя Бухары. И есть шестнадцатилетняя дочь, которая, увы, больна, но, даст бог, поправится, потому как отец-то лекарь из всех лекарей первейший.

Ишь они какие, степнячки! Смелые, задорные, смешливые.

Сердце Шахвани и таяло, и разгоралось.

Через несколько недель после поездки в степь повторилась, однако, знакомая история. Как-то ночью Шахвани веселился с друзьями у себя в саду — и неожиданно нагрянул отец. Одного его вида можно было устроить

¹ Мавераннахр — Междуречье (арабск.). Области между Амударьей и Сырдарьей.

ся: лицо бледней снега, серые глаза под седыми бровями кровью налились. Шатается как пьяный. Он взобрался на террасу, пнул ногой развалившегося на курпачах отпрыска своего, закричал яростно на друзей. Поднял трость над головой — и вдруг выпала она из рук его, будто тяжелый куль с мукой, всем большим, тучным своим телом грохнулся он наземь.

Как узнал Шахвани позже, опять дорогу отцу перешел молодой лекарь. Ибн Сина нашел нужное лекарство, спас от, казалось, неизлечимой болезни дочь бека, вознагражден был за это щедро, конечно, а дочь бека, как поговаривали, влюбилась в молодого исцелителя. Правда то было или нет — точно неизвестно, слухи и толки дошли до бека, и тогда бек, забрав дочь, уехал из Афшаны.

Что точно было известно, так это то, что, сгорая в огне зависти, отец Шахвани сильно поколотил своего избалованного балбеса-сына и отдал душу аллаху. А сын его — поистине: «Сулейман умер, дэвы освободились»¹ — начал кутить так, что быстро пустил на ветер все накопленное отцом. И было на что кутить, что промотать! У Абу Файсала, главного лекаря последних эмиров из семейства Самани, собственность была немалая. И вот по прихоти непутевого сына распахнулись в глубоких подвалах тяжелые кованые сундуки, и полетели из них в распродажу редкостные изделия золотые, женские украшения, ширазские ковры, дорогая посуда, канделябры и подсвечники; туда же, в распродажу, пошли знаменитые скакуны, разукрашенные кареты; потом уплыл из рук самый дворец, а за дворцом — огромный сад с прудами и серебристыми фонтанами; и конюшни, и скотные дворы вместе со скотом. И Шахвани все сползал и сползал сверху вниз: из дворца переключался в дом прислуги, оттуда в заброшенный летний домик... а там и в конюшню... В конце концов увидел он однажды, проснувшись поутру с похмельно-больной головой, что лежит в жалкой лачуге в садовом закутке. Ни вина и ни кусочка хлеба перед ним! На плечах халат, которым бы и нищий побрезговал, в сундучке у изголовья — пусто, какие-то заплесневелые травы на дне его да два пузырька, открыл, нюхнул, сморщился.

И возле — уже никого: ни жены, ни братьев, ни при-

¹ Дэвы — сказочные, мифологические существа. Поговорка означает: получить безнадзорную свободу действий.

ятелей. И сына потерял Абу Халим. И остался Шилким, остался Шахвани. Один-одинешенек остался.

Что-то надо было все-таки делать, как-то жить.

И вот, клянча и стеная, выпросил Шахвани у былых собутыльников — не все же и не совсем уж от него отвернулись — старый халат, чалму да тощего ишака. Положив в хурджун оставшиеся от отца травы и пузырьки с пахучей жидкостью, принял имя лекаря — Абу Халим Ибн Файсал, звучит громко! — и пошел рыскать по аулам наивных степняков. Где и прожил — то голодный, то сытый, то имущий хоть нечто, то нищий — несколько долгих лет.

На лице зазмеились морщины, волосы поседели. Шилким смирился со своей судьбой, довольствуясь тем, что аллах пошлет.

Но зависть к Абу Али, слава которого гремела все сильнее в подлунном мире, зависть эта точила и точила сердце Абу Халима, и если он, уже и впрямь понаторев в лечении несложных недугов, попадал на собрания известных врачей или иноземцев, произносивших с почтением имя Абу Али, и слышал толки о сопернике своем как о несравненном теперь ученом, способном будто излечить от всего, кроме смерти, конечно, ибо тут всеильна воля аллаха, — не было тогда чувства в душе Шахвани сильнее, чем эта зависть.

О этот Абу Али Хусейн Ибн Сина! Еще в юношеские годы отравил он ему, Шахвани, спокойную, безмятежную жизнь, а ныне — тем паче. Написал вот «Аль-Канон» — книгу, которую ни за какие деньги не продаст ни один настоящий врачеватель...

...Шахвани понимал, что, сколько ни бейся головой о стенку, сколько ни царапай землю, в темном подвале лишь крысы откликнутся на стенания: вон как они шахранулись от него!

Он перестал дергаться. Задумался. С чего же все началось? Как дерзнул он рядиться в чужие одежды?

Как сейчас, стояла тогда ранняя весна.

Шилким продолжал врачевать в степи и в окрестных кишлаках Бухары, где приобрел некоторую известность; был он к тому времени сыт и обут, сменил старый чапан на синий добротный суконный халат, а тощего ишака — на упитанного мула.

В тот памятный день он ехал на базар Хурмитана — весьма аристократичной окраинной части благословенной Бухары. Тут и воздух чище, и простору поболее, чем

в иных, более скученных районах города, где дворы у домов тесны, словно птичьи клетки. Особенно тюркские беки любили Хурмитан и поля за Хурмитаном; лишь приходила весна, нагружали они на верблюды имущество и один за другим переселялись в раздольную степь. В это-то время расцветали наиболее пышно хурмитанские базары. Текли сюда из Хорасана и Шаша¹, из Толсу и с Алайских гор богатые караваны.

Заполнив оба мешка переметной сумы тем, что дал аллах и степняки, Шахвани в добром расположении духа остановился тогда неподалеку от караван-сарая, на берегу речки. Местность кишела людьми; в харчевнях шашлычники вертели на палочках и железных прутьях душистые шашлыки, пекари-самсапеки лепили вкуснейшую самсу², пекари-лепешечники с пылу с жару творили свежайшие, алые еще от огня лепешки. В нос так и били запахи жареного лука, мяса, перца, горячего теста. На берегу речки под чинарами, на супах³, сплошь застеленных коврами, возлежали, отдуваясь от солнца и яств, богачи-торговцы да вельможи; дальше прямо на земле расположилась всякая голодрань — дервиши да нищие; своими кучками, по родам, не смешиваясь ни с кем, сидели неприветливые степняки. Тут все были равны: каждый ел что имел и что мог купить. Шахвани в сторонке от вельможных стреножил своего мула, занял место на глиняной супе, что была попроще, — ниже высокомерных вельможных, однако же выше нищенствующих, на земле сидящих, попросил касу кумыса и две палочки шашлыка.

Выпил кумыса, хотел приступить к шашлыку. И почувствовал вдруг устремленный на лицо свое пронзающий чей-то взгляд... Одноглазый дервиш, что сидел на земле неподалеку, так и впился единственным оком в него. Что-то дрогнуло в душе, и Шахвани отвел взгляд первым.

Дервиш встал, приблизился к Шахвани, громко приветствовал:

— Здравствуйте много лет, о великий целитель, почтенный Абу Али Ибн Сина!

Шахвани рот раскрыл от удивления. Уставился в единственный, горячим угольком сверкающий глаз дервиша.

¹ Ш а ш — древнее название Ташкента.

² С а м с а — треугольный пирожок, обычно с рубленным мясом,

³ С у п а, с у ф а — возвышение для отдыха.

— Великий целитель Ибн Сина? Ты с ним меня спутал, дервиш?

— Зачем скрывать благословенное имя свое, о шейх? — сказал одноглазый, почему-то понизив голос. — Год назад ваш покорный слуга видел вас и в Джурджане, и в Хамадане, я же странник, шейх. Я своими глазами видел, как целовали люди полы вашего халата! Почему же вы соотечественников-бухарцев лишаете счастья быть исцеленными вами, господин мой?

«Боже милостивый!.. Что говорит этот безумный дервиш? Чего он хочет от меня?»

— Сейчас я оповещу добрых людей Хурмитана, — продолжал одноглазый. — Пусть правоверные получают и здесь возможность припасть к воротам учености вашей, шейх, а обремененные недугами избавятся от них благодаря вашему святому дару!

Сердце екнуло у Шахвани, но не успел он выкрикнуть: «Остановись, дервиш!» — как одноглазый сложил ладони рупором и закричал:

— Эй, люди добрые, эй, правоверные! Слушайте и не говорите потом, что не слышали! Мудрец и великий исцелитель недугов, почтенный Абу Али Ибн Сина пожаловал в свои родные края! Все, кто желает найти исцеление... Ибн Сина здесь, среди нас... Добро пожаловать, шейх, добро пожаловать в родную Бухару!

Ох, какой поднялся шум тогда! Слышались отовсюду возгласы: «Почтенный Ибн Сина? Великий исцелитель здесь?.. Кто-кто? Чудо-лекарь?.. Ты что, не слышал имени Ибн Сины, невежда?»

Раздавались, правда, и насмешливые, издевательские крики со стороны навесов, где в тени под чинарами нежились вельможи и богачи, но топот ног хлынувшей к Шахвани толпы заглушил их.

Вот уже один из подбежавших, стащив с себя истрепанный, ветхий халат, показывает кровоточащую, изъязвленную руку, другой — большущий чирей, третий — гниющую рану; кто-то совал на супу к «Ибн Сине» хилого ребенка, а иной тащил к нему за руку упирающуюся старушку мать, которая стыдливо закрывала лицо старой линялой шалью.

Одноглазый дервиш притащил Шилкиму хурджуна с мула. Врач вошел наконец в роль: стал раздавать целебные травы, завернутые в бумажные кулечки порошки, изготовленные из растительных корней, лекарственные настойки в кувшинчиках (одной рукой давал, другой под-

бирал динары и дирхемы). Особенно на травы налегал — в них главная сила, говорил он больным людям. Оба мешочка переметной сумы полны были пучками бобовидного парнолистника, щавеля, дикого клевера, толченой колючки, базилики, сайгачьей травы, горной мяты, а еще там были веточки миндаля, корешки полыни, отвары, настоянные на кукнаре¹, — словом, все, что Шилким, узнав о том от старых лекарей и знахарей, собрал среди степей и гор. И все в один миг превратилось в серебряные и даже золотые монеты.

Одноглазый дервиш объявил наконец толпе, что великий Абу Али Ибн Сина устал, а если еще кто хочет избавиться от недугов, в том числе неизлечимых, пусть явится на хурмитанский базар завтра.

Назавтра они отправились, однако не на базар Хурмитана, а начали путь в благословенный и благодатный город Самарканд.

Вот так, волей судьбы, Абу Халим Шахвани, он же, оказывается, Абу Али Ибн Сина, вместе с одноглазым мошенником обошел весь Мавераннахр. Они побывали в Самарканде и Шаше, Отраре и Яссе, Гургане и Сигнаке. Постепенно менялись халаты: к парче и дорогому банарасу человек быстро привыкает. Равно как к пышно-удобной повозке тот, кто знал лишь седло. Шахвани взял на службу себе кроме одноглазого еще и шустрых, услужливых молодцов. Теперь, в дороге, они уже не глотали пыль в конце караванном, а ехали рядом с богатыми торговцами. Прибыв в какой-нибудь город, выбирали самый богатый караван-сарай. На следующий по прибытии день одноглазый, надев прежнее дервишское рубище, прихватив висящий на веревках глиняный сосуд, внутри которого тлел исрик² и откуда шел пахучий дымок, отправлялся на базар (поодаль шли и шустрые молодцы). Размахивая кадильницей, одноглазый орал нараспев:

Эй, люди добрые, эй, правоверные,
слушайте и не говорите
потом, что не слышали.
Самого Лукмана³ великий наследник
в вашем городе появился.
Великий Ибн Сина, лекарь великий!
Слава его ведома миру.

¹ Кукнаре — наркотическое средство, делается из сушеного мака,

² Исрик — пахучая трава; дервиши использовали ее во время своих радений, размахивая горшками с тлеющим исриком наподобие кадила.

³ Лукман — легендарный всемогущий лекарь.

Он искусней всех врачевателей.
Нет недуга, им не побежденного,
нет несчастья, им не прогнанного.
Эй, правоверные, люди добрые,
слушайте и не говорите
потом, что не слышали!

Шустрые молодцы быстро научились у одноглазого. Шли туда, где погуще была базарная толпа. Тут они громко рассказывали (сначала будто самим себе) про почтенного Ибн Сину, привлекая постепенно общее внимание.

Действовали они и порознь.

— Милостивый и всемогущий аллах одарил этого благословенного человека такими способностями, что нет знаний, которыми он не овладел бы,— что в медицине, что в фикхе¹, что в греческой древней науке, прозываемой философией. По биениям крови у запястья он распознает восемьсот восемьдесят восемь болезней. Недавно к почтеннейшему Ибн Сине привезли из Нишапура одного безусого юношу. А до того показывали лекарям со всех частей света, но ни один лекарь из Китая, из Индии, из Рума² не смогли вылечить юношу, облегчить его страдания. Тогда великий исцелитель взял руку несчастного и стал слушать ток его крови у запястья,— ах, несчастный доживал последние дни короткой своей жизни, вот-вот должен был уйти в вечный мир. Исцелитель спросил у несчастного про город, где тот родился. Несчастный назвал. Затем почтенный Ибн Сина попросил перечислить все части и улицы этого города. Больной перечислил. Тогда великий исцелитель попросил вспомнить всех людей, проживающих на одной из улиц. Юноша и это сделал. Мудрец попросил назвать имена всех, кто жил в одном из домов. Юноша начал отвечать, и вот когда очередь дошла до имени красавицы дочери в той семье, что проживала в доме, у несчастного участилось биение крови, а закрытые в изнеможении глаза широко открылись. И тогда великий мудрец исцелитель улыбнулся и сказал родителям: «Причина болезни вашего сына — любовь! Возвращайтесь в родной город и сосватайте своему сыну эту красавицу, сыграйте свадьбу, соедините их, увидите — кончится сразу вся болезнь...»

Так и случилось!

¹ Ф и к х — мусульманское право.

² Рум — так называли мусульмане Византию, порою — и всю христианскую Европу.

Второй, шустрый и услужливый, молодец в другом месте шумного базара рассказывал другую захватывающую историю, которая тоже свидетельствовала о том, какими несравненными способностями, проницательностью и умом одарил аллах Ибн Сину, еще в утробе матери одарил.

— Был малым еще ребенком Абу Али, даже не умел говорить, и тогда в их доме служила одна молодая девушка. Эта служанка сильно привязалась к ребенку, а ребенок полюбил служанку. Однажды служанка взяла полюбоваться редкое кольцо с сапфиром, принадлежало оно хозяйке дома, стала играть, забавлять ребенка. И не заметила — так заигралась! — что кольцо-то упало в открытый мешок с пшеном. А тут ее позвали за каким-то делом, так что девушка и забыла про кольцо. Ну, а хозяйка вспомнила, что служанка попросила у нее кольцо — посмотреть. Хвать-похватъ — нет кольца. И служанка забыла, куда положила его... Ну кто в такое поверит? Девушку обвинили в воровстве. Рыдает девушка. И ребенок вдруг заплакал. Два дня беспрестанно плачет и почему-то все рвется к мешку с пшеном. Отец ребенка, досточтимый Абдаллах Ибн Сина, догадался, что в этом мешке — какая-то тайна. Опрокидывает мешок. Высыпает пшено. И видит золотое кольцо... Отец и мать поражены. И девушка, изгнанная ими из дому, незапятнанной возвращается обратно в дом...

В самых людных местах на базарах, в самых посещаемых лавках рассказывают про эти и подобные чудеса слуги чудо-лекаря Ибн Сины, а сам врачеватель, то бишь Шахвани, весь в синем — и халат суконный, и колпак, который носят врачеватели, — с «Аль-Каноном», стоящим дороже золота, в руках, важно восседает в это время в покоях, богато убранных покоях, предоставленных ему очередным богатеем-доброхотом для приема больных. Длинным-длинна очередь у двери. Закрыв глаза, с гордой, недоступной улыбкой на лице сидит он; робея, входят по одному недужные. Врачеватель держит свою благословенную руку на запястье больного, вслушиваясь в биения тока крови, или прикладывает ухо к животу и к груди — что-то хрипит там не так, как у здорового; ну, а затем мудрец обращается к еще одному шустрому прислужнику своему: открывай-ка заветный сундук с травами. Если заходит к врачевателю перс, то врачеватель травы называет по-тюркски; если тюрк, — то по-персидски или, еще лучше, еще непонятней, — по-арабски. Сие сильно дейст-

вует на больных, увеличивая и без того безграничное почтение к великому целителю.

В большинстве случаев травы, предписываемые Шахвани, оказывали неплохое воздействие, и разговоры о том множились и множились. За бедными и небогатыми к Шилкиму потянулись и важные господа: придешь на поклон, коль занедужишь. Ну, а вместе с поклоном...

Увы, как раз динары и халаты, наполнившие сундуки мошенников, в конце концов навлекли беду. Так ведь и бывает. Жадность неуемна и чревата бедами.

Однажды из-за денег между Шахвани и одноглазым вспыхнула серьезная распря.

— Верно говоришь: есть тут и твоя доля, шайтан одноглазый! — кричал Шахвани. — Но свою долю ты ведь получаешь от меня, так и скажи спасибо! А ты еще захотел? Долю увеличить? А почему? Кому вы все обязаны? Не мне ли, исцелителю недужных?

Одноглазый дервиш рассмеялся язвительно:

— Целитель великий! Неужто и сам поверил, что ты Ибн Сина?! Упрямый ишак не слушается хозяина. Забыл, кто тебя сделал великим исцелителем, а?

Не предполагал одноглазый, что нанятый им на базаре Хурмитана ишак превратится в шакала, не предполагал. И вот, возвращаясь как-то с караваном из благословенного Гургана в священную Бухару, Шахвани велел своим шустрым молодцам (а число их росло) схватить «одноглазого шайтана», связать по рукам-ногам и незаметно «оставить» среди сыпучих барханов под палящим солнцем.

Так и поступили, упокой аллах душу хитроумного дервиша в садах своих райских...

Да, Шахвани вернулся тогда в родную Бухару с большим богатством! Ушел из Бухары в нищенском рубище, через пятнадцать лет возвратился — большой караван товаров, больше десятка слуг, готовых на все ради господина, наложницы для удовольствий, многие-многие хурджуны, полные денег и камней высокоценных... Конечно, Шилким вернул свои сады в Джуи Мулиён и, как некогда отец Абу Файсал, удостоился вступления в круг дворцовых врачей! Правда, в Бухаре он не решился называть себя Ибн Синой. Но в том и не было особой надобности.

Довольно скоро стал он приближенным врачом правителя Бухары, эмира Алитегина. Превзошел отца по части и богатств, и почестей.

К несчастью, несколько лет назад нагрянул в Бухару могущественный Махмуд Газнийский, нагрянул с множеством боевых слонов и бесчисленным войском. И надежда и опора, эмир Алитегин сбежал, оставив и священную Бухару, и все свои богатства. Не смог даже прихватить гарем с младшей любимой женой. И любимую дочь бросил на произвол судьбы. И тысячи голов скота. Шахвани побежал вслед, несколько сундуков и несколько юных невольниц из его имущества тоже достались победителям.

Но не беда. Правду говорят: «Была бы цела голова, шапка найдется». Султан Махмуд покинул земли благословенной Бухары, разорив их, как ему хотелось. Алитегин возвратился — данником султана — на трон. Данник-то данник, но он вновь восстановил свое богатство. И Шахвани с ним — новые сундуки с золотом и новые невольницы вместо старых. Единственное, что Алитегин потерял, не смог восстановить, забрав у своих покорных подданных, — так это прежних размеров свой гарем, так и оставшийся добычей султана. Не смог вернуть он и свою любимую младшую жену и любимую дочь. Ну, да что-то ведь теряется в потрясениях сего подлунного мира, хотя надо и правду сказать: эмир не раз отправлял послов в Газну, обещая султану взамен дочери и жены женщин куда красивей, однако Махмуд не захотел отдать обратно двух пленниц. И всякий раз, когда послы возвращались из Газны ни с чем, ревел эмир Алитегин, словно тигр в клетке. Кричал, что соберет войско и пойдет походом против султана Махмуда. Но, придя в себя, вспоминал, как содрогалась земля Бухары под тяжелыми боевыми слонами, как содрогались небеса от их трубного рева, вспоминал блеск копий и сабель, развевающиеся знамена бесчисленного воинства султанского и благоразумно умолкал.

Благоразумно и покойно, ничего не теряя больше, а только приумножая имеющееся, жил и Шахвани.

Правда, тень Ибн Сины и в то время нет-нет да нарушала покой «соперника».

Однажды (да простит читатель, что приходится часто, очень часто прибегать к таким словам, как «однажды» и «вдруг», коли речь заходит о превратностях жизни человека) ... так вот, однажды в полночь к Шахвани, крепко спавшему, кстати говоря, после веселого пира избранных и доверенных, постучался гонец. Когда Шахвани опять явился во дворец, откуда убыл несколько часов

назад, то увидел, что в зале заседаний собрались знаменитые улемы благородной и благословенной Бухары, известные ученые, дворцовые поэты и врачи. Эмир, угрюмый человек, на лице которого редко играла улыбка радости, несколько сдвинулся на троне в правую сторону, а справа от него сидел незнакомый Шахвани человек, горбоносый и надменный, со значком посла на темно-зеленой чалме. Ясно, что прислал его сиятельный и могущественный покровитель правоверных султан Махмуд Газнийский. Но что привело посланца? Оказывается, поиски Ибн Сины. В руках у горбоносого свиток с круглым, величиной с дно большой пиалы, рисунком. Эмир стал показывать рисунок присутствующим — на бумаге было изображение человека! Потом вдруг, наморщив свой маленький, пуговицей, нос, рассмеялся:

— Может быть, среди вас скрывается великий исцелитель Ибн Сина? Нет? А я скажу — да! Посмотрите-ка на Абу Халима Ибн Файсала — разве не удивительно сходство лиц двух врачей?.. Почему прячетесь за спины других, почтенный? Не прячьтесь! Ведь покровитель правоверных намерен одарить человека, тут изображенного, золотом, равным его весу!

И воистину: всякий, кто ни поглядел на Шахвани, обязательно прошептал или подумал: «О аллах, он — вылитый Ибн Сина! Вылитый...»

И посол султана раскрыл во всю ширь желтоватые кошачьи глаза свои, поразился, недоумевая, и не без подозрений, что тут — нечисто. Но в конце концов все же здесь знали Шахвани, и думать, что он есть Ибн Сина, для них было бы все равно, что железо принять за золото. И потому тихие возгласы изумления сменились в зале смехом, а смех — у того или иного вельможи — перешел в колкости, и оттого сердце Абу Халима, полное ревности к великому сопернику, наполнилось теперь уже невыносимой завистью-болью.

Он так тогда разгневался на смеявшихся над ним и даже на эмира, что уже на следующей неделе продал — за большие, надо сказать, деньги — все имущество, и своих невольниц в том числе, дом передал надежным людям, положил в переметную суму рисунок — копию сделал ему дворцовый служитель — и с большим караваном выехал на заре из Бухары в сторону Балха. Две недели спустя он со своим учеником повторил то, что делал когда-то с одноглазым дервишем. Теперь он нанял глашатая: Балх был извещен о прибытии «великого исцелителя Ибн

Сины». А молодой ученик рассказывал истории о чудо-лекаре в более доверительных, узких кружках людей.

О, попытка увенчалась удачей, которая превзошла все ожидания Шахвани. Больных у него было — ровно мух, летящих на мед. Динары сыпались дождем. Из Балха он отправился в Тегинабад, а из Тегинабада в Газну, где так дурно с ним обошлись султанские нукеры...

Ладно, много было прежде удачного и радостного, а что теперь-то будет с ним?

О неостепенившийся глупец! Воистину упрямый, безмозглый ишак, что и на склоне лет мошеннически захотел стать почтенным Ибн Синой!

Нет, если говорить правду, то он, Шилким, пошел на такое скользкое предприятие не ради того, чтобы выдать себя за почтенного Ибн Сину. То есть и ради этого, но главное в замысле было иным: если вдруг повезет, если он «станет» при дворе Газны Ибн Синой, надо найти дорогу к сердцу султана и освободить младшую жену и любимую ему, Шахвани, то бишь Ибн Сине. Ну, а потом? Снискать безграничную любовь эмира Алитегина, правителя Бухары, войти в первый, самый первый ряд его доверенных. Визирем стать!.. Стал, как бы не так... В самом начале дела споткнулся! Теперь из этой холодной могилы не выйти! Только труп его вынесут отсюда... Нет, и труп останется здесь, пищей для крыс будет...

И Абу Халим Шахвани вновь стал биться лбом о стену и царапать земляной пол.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Сердце билось учащенно и тяжело. Бируни проснулся подавленный, будто от дурного сна. Долго не мог понять, где это он. Взгляд его поднялся к верхнему отверстию, похожему на тубетейку, потом перешел на дрожащую лампаду в стенной нише. «О небеса! Я опять в темнице?» Да нет, в темницу он попал тринадцать лет назад, когда впервые приехал, а вернее, когда насильно был привезен в Газну. «Я тогда был вместе с наставником, блаженной памяти Абдусамадом Аввалом. Вместе нас и наказали...»

Вчера на совете мудрецов во дворце Бируни почувствовал резко накативший жар, голова закружилась, он, кажется, упал... или нет? Кто тогда схватил его?

Он все еще не верил глазам, ему все еще казалось: то, что он видит вокруг себя сейчас,— продолжение сна. Но

это был не сон. Бируни и впрямь находился в тюрьме-зіндане, там же, что и тринадцать лет назад. И за прошедшие годы в холодной каменной клетке ничего не изменилось, даже лампада в нише, даже ветхие циновки на полу были те же самые.

Только нет с ним наставника, Абдусамада Аввала.

Чувствуя, как ноет все тело, Бируни со вздохом прикрыл глаза.

И как только прикрыл — предстала перед мысленным взором картина: огромная толпа на площади у ворот главного дворца султана; толпа окружает некое открытое место, где возвышается деревянный настил, на котором установлены четыре виселицы; под петлями стоят четверо седобородых, и один из них — Абдусамад Аввал. На руках наставника тяжелые цепи, он без шапки, в длинной холщовой рубашке, будто в покойницком саване, ноги босые. Голова вскинута гордо, в глазах, устремленных в небо, не страх, нет, а гнев безграничный, а на обросшем щетиной худом лице — спокойствие.

За неделю до того их, ученых, пригнали из далекого Гургана, позвали во дворец, ну точно так же, как и вчера, на совет. И тогда верховодил советом султан, только зал был не вчерашний — другой, но тоже богато украшенный, всех поражали, помнится, диковинные индийские статуэтки — золотые женщины-якшини¹.

Султан тогда был в расцвете сил. Выглядел отменно: в парчовом халате, на голове корона с вкраплениями изумруда и жемчуга, на широком золоченом поясе сабля в золоченых ножнах, на ногах скрипящие легкие сапоги с серебряными подковками. Тогда султан Махмуд стремился подчеркнуть свое уважение и внимание к ученым, привезенным из Хорезма. Благоволил Абу Райхану и Абдусамаду Аввалу. В их честь осушил несколько чаш вина, после совета накинул им на плечи парчовые халаты. В ту минуту особенно заметно стало, как насупленно встретили эти знаки внимания поэты и ученые Газны, а тем паче — толкователи ислама, высокочтимые улемы. И не прошло трех-четырёх дней, как в его худжру ночью ворвались нукеры, не сказав ни слова, схватили, потащили, бросили в каменную клетку. Помнит только услышанное от насильников: «В крепость гнева!» А самое плохое было то, что в клетке, олицетворяющей гнев султана (или улемов, склонивших его ко гневу), на циновке лежал Абдусамад Аввал.

¹ Якшиня — мифическое существо в индуизме.

Улемы и поэты Газны, сидевшие тогда на совете мрачнее тучи, обвинили их в богохульстве, а поводом к тому послужила, оказывается, книга о жизни и деяниях имама Исмаила — руководителя карматов¹. Книгу эту написал, будучи в Хорезме, не кто иной, как он, Бируни, когда служил во дворце Мамуна Ибн Мамуна, тайно написал. Знал о том лишь один человек на свете — наставник Абдусамад Аввал. Да и сподвигнул Бируни написать ее тоже сам наставник. Замечательный был он человек, наставник, оставил в юности богатый дом, почтенных родителей, жил отшельником. Признавал наставления единственно имама Исмаила, все блага мира, и догмы, и службы отрицал, — все, кроме идей духовного совершенствования человека, раба божьего. Молитву то читал, а то и не читал; пост иногда соблюдал, иногда нарушал. Но если был у него кусок хлеба, то и им, последним, делился с неимущими и сиротами. В своей бедной лачуге на краю города жил подвижнически. Лечил бедных людей травами бесплатно. И, никого не боясь, проповедовал свое.

Посетителей вопрошал:

— Кто есть аллах?

И сам же отвечал:

— Справедливость!

— Что такое священный коран?

— Правда и справедливость!

— Что есть самый большой грех?

— Роскошь и наслаждения!

— Что есть самое великое благо?

— Воздержание! И еще: милосердие к себе подобным!

Одни соглашались с его суждениями; другие слушали и не понимали; третьи, не слушая, считали наставника человеком, лишившимся ума. Но сколь много знал этот старик, казавшийся на первый взгляд дервишем! Сколь сведущим был — и в медицине, и в других науках!

«Отказаться от привычки — тяжелей смерти!»

И в Газне наставник не отказался от привычки, никого не боясь, говорить свое. Даже в тот день, когда их возвеличил султан Махмуд, что сделал он, Абдусамад Аввал? Да просто сбросил с плеч парчовый халат, вернувшись домой, и отдал его первому попавшемуся на глаза оборванному бедняку. Кошунственный поступок

¹ Карматы — приверженцы одного из движений против феодального гнета (с IX по XII в.), вначале осуществлявшегося под знаменем очищения и демократизации ислама.

этот, конечно, тоже зачли ему где надо — и вот они в темнице.

В ту злосчастную ночь, когда захлопнулась за ним, Бируни, тяжелая эта дверь темницы, первое, что увидёл он здесь, был наставник, стоящий на коленях, творящий молитву. О чем молил бога человек, иногда соблюдавший порядок молений, иногда совсем о них будто забывавший? Оглянулся наставник на Абу Райхана, застывшего у двери: в суровом взгляде из-под мохнатых бровей — упорство и решимость настоять на своем.

— Запомни, Абу Райхан! Ту книгу... об имаме Махмуде Исмаиле — да пребудет в мире его душа! — трактат о пути духовного совершенствования, написал я, твой наставник Абдусамад Аввал, раб божий. Ты понял меня, Абу Райхан?

Бируни невольно опустил голову:

— Кто этому поверит, наставник, коль на книге стоит имя вашего ученика!

— Грешный раб аллаха, я зачеркнул твое имя... Ложь плоха, но... Тот лицемер, наш подлый земляк, из зависти к тебе и ко мне предал нас. Ты молод, а я, раб аллаха, — стар. Я уже прожил свою жизнь, съел свою еду!

— Наставник!

— Да, да, не спорь... — Старик вдруг схватил закопченный чугунный кувшин (он и сейчас вон стоит у ложа на полу), чуть не бросил его об стену, сдержался. — Если ты не согласишься со мной, буду недоволен, значит, плохо учил тебя...

...Бируни с трудом поднял голову, дотянулся до кувшина с водой, отпил глоток. Пытаясь прогнать видение — те четыре виселицы, так ясно стоявшие перед взором, — снова закрыл глаза. Но страшное видение не уходило, не уходило! Не уходило!

Наставник в белой, как саван, длинной холщовой рубахе, босой, простоволосый, стоит под высокой петлей, гордо держа большую бритую голову, прямо стоит, развернув плечи и грудь. На худом замкнутом лице, в острых глазах, устремленных в небо, — ни страха, ни даже тревоги!

Под грохот барабанов, литавр и труб открылись дворцовые ворота. В сопровождении приближенных вельмож и судьи, имама Саида, показался султан Махмуд. В окружении воинов на гарцующих конях, с обнаженными мечами. Султан поднялся на высокий помост, воздвигнутый напротив настила с виселицами. И на площади все за-

мерло. Толпа, бурлящая, как беспокойное море, мгновенно стихла. Будто всю площадь залило глубокой водой.

Бируни, выпущенный из клетки темницы, стоял в толпе, даже не в самой толпе — среди ученых мужей. Он-то был прощен. Оцепенев, во все глаза смотрел прощенный ученик на непрощенного наставника. Всем существом своим стремился к старику — хоть бы в последний раз обнять его, проститься; он, Бируни, просил небеса свершить чудо и освободить наставника, увести его из-под виселицы!

Но чуда не произошло.

В тишине судья, имам Саид, встал с места и начал речь. Он превознес сиятельного и могущественного, тень аллаха на земле, десницу ислама и покровителя правоверных, султана Махмуда Ибн Сабуктегина. Да, повелитель крепко держит меч справедливости... О, как он тверд в рвении своем истребить всех иноверцев, всех безбожников! Голос имама Саида то стихал почти до шепота, то рокотал горной рекой, завладевая толпой и будоража толпу. Голос лился и лился, как вдруг наставник, стоявший под виселицей, поднял руку и громко сказал:

— Что такое аллах, эй, нечестивец кази?

И сам же ответил:

— Справедливость!

И затем позолоченные порталы главного дворца эхом отразили еще вопросы и еще ответы:

— Что есть священный коран?

— Справедливость и совесть!

— Что есть благодеяние?

— Любовь и жалость к несчастным и сиротам!

— Что есть самый тяжкий грех?

— Это значит: подобно тебе забыть совесть и справедливость, утолять свою похоть и действием, и словом, ибо есть и блудословие...

Голос наставника каждый раз при обращении к имаму гремел воистину громом. Его слышала и слушала площадь и весь город: крытые базары, мечети, караван-сарай и лачуги бедняков там, за речкой. И никакая сила, казалось, не могла остановить наставника!

Первым очнулся султан:

— Где нукеры? Слушать эти нечестивые словеса — грех непростительный! Заглушить голос безбожника!

«Зажлушить! Заглушить!» — отозвалось в позолоченных порталах.

У виселицы началась возня. На шею наставнику накинули петлю, но затянули не сразу (ждали приказа), и над толпой, гудящей, как море, успело прозвучать:

— Эй, раб аллаха! Махмуд! Продал совесть и веру за земные блага! Слушай мое последнее слово! Великодушный творец да не простит твоих грехов! Тех, кто погряз в крови безвинных, как ты...

— Руби веревку!.. Разогнать всех!

От крика султана всадники на нетерпеливых конях ринулись в толпу, опрокидывая и топча попавшихся на пути...

...Вот уже тринадцать лет эта зловещая картина мучает душу. Скорбь ушла в глубины сознания, но когда начинает болеть... то так остро-больно, будто кто-то колет его иглой!

Наставник жаждал справедливости и равенства людского. С юношеских лет и он, Бируни, ищет обитель справедливости и милосердия. Можно сказать, что на пути не было улицы, куда бы ни заходил он, не было дороги, которой бы ни испробовал. Надеялся на благодать всевышнего, который все видит и каждому воздать бы должен по заслугам. Пытался пробудить жажду истины в правителях, — не во всех, понятно, но в таких, как Кабус Ибн Вушмагир, Мамун Ибн Мамун. Даже и в султানে Махмуде на первых порах, но тут, как говаривал наставник, истина и справедливость бежали прочь от человека, будто ветер, будто дикая газель, которую невозможно поймать. Он всю свою жизнь бегаёт и ловит «газель»: ищет ее в книгах, в науках, — ищет, и там иногда находит, но вот в жизни... Зачем ему было отрицать существование злосчастного «божественного плода», о котором болтал Унсури? Ну зачем? Стоило бы подтвердить: «Да, такие плоды, такие деревья существуют», — и не в этой дышащей могильным холодом яме находился бы сейчас, а, как Унсури, нежился на пуховых курпачах в почете и радости. А он и тут решил сказать правду... Как до того поступал...

Несколько лет назад Бируни вернулся из Индии, и султан пригласил его к себе во дворец. Абу Райхан, увлеченный изучением звездного неба, сутками не выходил тогда из обсерватории, которую сам, можно сказать, построил: вечерами и ночами наблюдал за движением планет, а днем был занят тем, что математически обрабатывал наблюдения или же отдыхал — за книгами, привезенными из Индии.

Еще до вызова во дворец султан, который готовился тогда к походу на Бухару, поручил Бируни составить гороскоп, определить счастливые даты для того похода; Бируни же отделялся от поручения объяснениями посланцам султана, что-де не очень он сведущ в науке предсказаний, что он звездочет, но не маг. Видно, такие объяснения султану не понравились, и он призвал Бируни пред свои очи. Холодно встретил, даже не пригласил сесть, тут же приступил к делу:

— Мавляна Абу Райхан, твои приятели-друзья, — султан кивнул на сидевших поодаль ученых и поэтов, — считают тебя непревзойденным ученым, мудрецом, который рождается один раз за целый век. А когда я, ничтожный раб аллаха, дал тебе некое поручение, ты прикидываешься невеждой и отклоняешь просьбу! Как это понять?

Бируни, сложив руки на груди, поклонился:

— Простите великодушно, благодетель! Я усердно служу вам, делаю все, что в моих силах. Но на что не хватает у меня ума и соображения...

Султан прервал ученого, ядовито бросил:

— Мы и пригласили тебя, чтоб проверить твой ум и сообразительность. Подними голову, посмотри вокруг, мавляна! В этой зале сколько дверей?

— Четыре, покровитель правоверных!

— Хвала, хвала тебе... Сейчас я, раб аллаха, выйду отсюда — через одну из этих дверей. Ты же должен угадать, написать на бумаге, из какой я выйду, и положить лист... ну, вот под эту подушку, на курпачу. Если угадаешь — наденешь новый халат, не угадаешь — снимешь свой...

Сказав так, султан обратился к Унсури:

— Дай бумагу и перо мавляне!

Бируни продолжал стоять в середине залы. Ничего не подделаешь, султану захотелось поиграть... Выставить его посмешищем перед своими лизоблюдами, а чего доброго — дать и шах и мат.

Глаза у Бируни вспыхнули. Ах, так... Ну что же, сыграем. Только пусть гнев не затмит тебе разума, Абу Райхан!

Так сказал он самому себе. Окинул взглядом двери и стены. Сверкнула мысль-догадка, и, выхватив из рук Унсури перо и бумагу, он быстро написал свое предположение; сложив вчетверо лист, отдал султану.

Султан сунул лист под подушку, но, так и не встав с места, крикнул:

— Где мастера? Позовите!

На пороге возникло пятеро с кирками и кетменями.

— Откройте-ка проход вон на той стороне стены, где кыбла¹. Быстро!

Мастера с грохотом начали свою работу. Когда отверстие в стене стало достаточным, султан поднялся и, чуть согнувшись, прошел через него из залы и тут же вернулся в залу.

— Читай ответ! — сказал он Унсуре, хитро посмотрев на всех собравших по сему случаю.

Унсуре вытащил лист бумаги и, столь же загадочно улыбаясь, что и повелитель, развернул его. Лицо его внезапно побелело.

— Читай же! — воскликнул нетерпеливо султан.

— От... ответ правильный, повелитель.

— Читай!

— А именно... Здесь сказано, что вы, благодетель наш, выйдете не из... двери, а велите прорубить стену...

— О аллах! — прошептал кто-то из окружения.

— Халат и вина! — приказал султан и, отвернувшись от поэта, добавил, понизив голос: — Гордыня движет тобой, мавляна, — так выходит. Если захочешь... Все способен постичь, мавляна! А если не захочешь... то не захочешь определить счастливое для нашего похода время...

— Повелитель, простите, но...

— Ты свободен, мавляна!

...Да, поэт Унсуре и тогда сделал то, чего не смог сделать Бируни, — составил-таки гороскоп, предсказал счастливые дни, которые принесут походу победу. И вместе с войском султана отправился в поход. И видел, какие страдания причинил Бухаре Махмуд, и воспел его, и получил бесчисленные дары.

Ладно, пусть... Не меняться же ему из-за их игр и прихотей.

Конечно, скажи он им, что «божественные плоды» существуют где-то за дальними морями, и они начали бы искать, то... пока проискали бы, не стало бы, скорее всего, самого султана. А он, Бируни, вместо этого, вместо хитрой игры... Ладно, пусть все дары, все богатства достанутся лизоблюдам. У него же одно-единственное желание — довести до конца начатые труды свои. Другого желания нет. Среди книг, намеченных им, есть и та, что он намерен посвятить наставнику Абдусамату Аввалу!

¹ Кыбла — указывает мусульманам сторону Мекки; во время молитвы надо стоять к этой стороне лицом.

Но неужели из-за поисков истины, из-за верности правде и справедливости он до конца дней останется здесь, в этой могильным холодом дышащей клетке?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Для охоты на оленей визирь Абул Хасанак выбрал ущелье неподалеку от крепости Гардиз. В этих горах, среди лесов, над которыми, высоко вознесенные, белели снежные вершины, обитали шакалы, барсы и даже тигры, повыше бродили дикие козы, архары с ветвистыми рогами, а ниже, у подножия, на открытых травянистых пространствах бегали пугливые, словно молоденькие невольницы, быстроногие газели.

Именно в этих местах, неподалеку от крепости, встретила некогда отмеченная богом пара оленей, что принесла счастье достопочтенному отцу султана Махмуда — эмиру Сабуктегину.

После одного неудачного сражения эмир Сабуктегин — да возрадуется в раю его дух! — в подавленном настроении возвращался на коне в Газну. Не радовали его ни ранняя весна с ее прелестью, ни судьба.

Когда эмир, покинув Гардиз, проезжал по широкому предгорному полю, окруженному оврагами, путь его пересекла олениха, за которой поспешал совсем молоденький олененок. Эмир стремительно натянул тетиву боевого лука, намереваясь спустить с нее смертоносную стрелу, но пожалел олененка, решил поймать его. Пришпорил коня, помчался. Но олениха тоже помчалась и так быстро прыгала с камня на камень вверх, что в мгновение ока исчезла из глаз. Олененок не смог угнаться за ней: тоненькие ножки его прогнулись и он, весь дрожа, вдруг совсем остановился. Эмир слез с коня, спеленал олененка веревкой и, перекинув через седло, отправился своей дорогой. Немного погодя ему послышался сзади какой-то жалобный голос. Будто женщина плачет. Эмир оглянулся и увидел: та самая олениха, что исчезла, как молния, в камнях, спускалась, жалостно причитая по-своему. Опять эмир погнался за ней, и опять мать-олениха, ловко прыгая вверх по камням, скрылась в скалах. И так повторялось несколько раз.

Наконец в сердце Сабуктегина что-то дрогнуло, слезы навернулись на глаза эмира, и он отпустил олененка на волю.

И вот с того дня — дня явленного эмиром милосердия — черные тучи злой судьбы над головой эмира рассеялись, и ему сопутствовала удача во всех начинаниях...

Вчера вечером султан Махмуд рассказал эту историю Абул Хасанак, и сей последний готов поклясться, что видел на глазах сиятельного и могущественного слезы, — впервые, пожалуй, видел.

Они беседовали в любимом покое султана. Большинство свечей в нишах и в люстре под потолком было потушено, круглые окошечки занавешены желтыми шелковыми занавесками, и казалось, что в комнате этой витает некий таинственный дух.

Султан полулежал на толстых, положенных одно на другое, пуховых одеялах. Абул Хасанак расположился у стоп повелителя, растирал исхудалые его икры. Печалью налитые глаза султана устремлены были на темные тени в углу, и султанский любимец внашал себе, что повелитель среди этих теней чувствует дух своего достопочтенного отца, переговаривается с этим духом.

Султан рассказал историю с оленихой и олененком. Абул Хасанак внимал ей, покрываясь мурашками.

Почему-то вспомнил другую олениху и другого олененка, которых он недавно увидел в саду у главного визиря, и на душе вдруг посветлело от неожиданно пришедшей мысли:

— О, повелитель! Да ведь сейчас самое время охоты! А вы давно не дышали свежим воздухом, исстрадались совсем во дворце.

Султан отвел взгляд от темного угла, посмотрел на любимца:

— Мда... выедем на охоту... Но будет ли она удачной?

— Если аллах того пожелает — обязательно, повелитель! — сказал Абул Хасанак горячо. — Сейчас весна, все живое радуется, осторожность теряет... Есть у нас охотники, которые одной стрелой убивают двух птиц... Да и вы покажете себя!

— Ну что ж, прикажи ловцам, пусть подготовят к охоте моего черного сокола, а конюхи — скакуна-карабаира!

В ту же ночь Абул Хасанак послал доверенного человека к главному визирю, чтоб взять у него олениху с олененком.

Правда, ходили слухи, что в горах, неподалеку от крепости Гардиз, объявился какой-то нечестивец, что называл себя имамом Исмаилом Гази, и что будто нечести-

вещ этот невесть откуда собирает вокруг себя всякий сброд, по которому виселица плачет, и даже собирается объявить султану «священную войну».

В серьезные военные намерения какой-то шайки бунтовщиков против могущественного и победоносного плохо верилось, но, конечно, принять кое-какие меры предосторожности следовало. Абул Хасанак так и поступил. Дня за два до охоты послал двести всадников к крепости Гардиз. А число лиц, отправлявшихся с султаном на охоту, не превышало и десяти человек. Из близких султана в этой десятке, кроме Абул Хасанака, был только поэт Унсури...

Ехали по зеленой холмистой степи: султан — в широкой повозке (Хасанак и Унсури — рядом!), другие охотники — верхом.

Равнина за городом постепенно переходила в подъем, все выше и выше, холмы — в горы. На вершине горы, там, где синее небо и беркуты, виднелась смутно крепость Гардиз.

День был теплый. Солнце сияло над травами, и его ласково-теплые, добрые лучи гладили землю; солнце будто восхищалось жизнью, которую само дало всему живому. Поистине прекрасна земля и жизнь на ней, весь этот мир вокруг прекрасен — с благоуханием полыни, сайгачьей травки, дикого клевера, мяты, василька-горчачка, с крохотными темно-фиолетовыми астрагалами, почти незаметными на зеленом ковре, и ярко голубевшими на нем фиалками.

Повозка была устроена так, что справа и слева от султана (он лежал на спине) окружающее закрывали шелковые занавески, натянутые на боковые брусья, а небо открывалось взору свободно. Приятный ветерок оведал грудь Махмуда, сильно уже тронутые сединой редкие усы и бороду его. Султан не чувствовал дыхания ветра. Его печальный взгляд был устремлен на синее-синее, чистое и прозрачное, как протертое стекло, небо; на недостижимой высоте там медленно-медленно парили черные беркуты.

Что за радость в этом небе, в этом солнце, в этих свободно и гордо парящих птицах, если жизни конец уже совсем близок, его собственной жизни, — вот что говорил будто успокоенный, но полный тоски взгляд некогда и сиятельного, и могущественного султана, взгляд человека, теперь осознающего, что вовсе не все на свете покорно его воле, что сам он себе не подвластен (чувство, ко-

торое вызывало несвойственную этому человеку грустную снисходительность ко всему вокруг).

Абул Хасанак взглянул на Унсури, жестом намекнул: «Сделайте что-нибудь, чтобы поднять настроение повелителя!»

Унсури умел искусно рассказать веселую и занимательную историю, пошутить умел остро и «по-мужски», так что и по этой причине он всегда и повсюду сопровождал повелителя, принимал участие в его застольях, — словом, был под рукой. Но что сказать сейчас, когда покровитель правоверных (и его личный благодетель) впал в отчаяние!

Унсури с опаской посмотрел на розовощекое («Ишь ты, прямо кровь с молоком! Красив, как женщина!») лицо господина визиря, перевел взор на султана и, прижав к груди своей холеные, белые («Тоже вроде как у баб из гарема!») руки, вымолвил:

— Пусть простит меня, грешного раба своего, наш благодетель! Вспомнил я одну удивительную историю... не угодно ли выслушать?

Султан оторвал взгляд от голубизны небесной («Какие глаза! Будто у подбитого беркута», — подумал Унсури).

— Подожди-ка, поэт... Говорят, будто поэты возлюблены аллахом и поэтому сам пророк Мухаммад был милостив к вам.

— Истинно так, покровитель правоверных.

— Так... тогда скажи мне, садовник сада поэзии! Для чего всевышний создал это небо, это солнце, этих птиц и зверей? Для кого и для чего... он создал красоту?

Поэт Унсури растерянно глянул на Абул Хасанака, но на красивом лице визиря никакой подсказки не читалось.

— О солнце нашего неба! — чуть заикаясь, начал Унсури. — Всевышний создал это небо, это солнце, этих птиц, всю красоту мира подлунного... для рода человеческого, детей адамовых... то есть чтобы радовать глаза своих рабов покорных и веселить их души.

— Радовать рабов своих? Веселить их души?.. Тогда зачем же смерть? Зачем он придумал смерть для людей?

На желто-восковом лице султана упрямо обозначились скулы, оно чуть покраснело, будто изнутри, под кожей щек и лба, вспыхнул непокорный огонек.

— Но как же иначе, благодетель? Так повелел аллах, а у раба его, человека, нет другого пути, как выполнить его волю, — жить достойно и потом уйти из мира сего...

— Волю аллаха? — горько переспросил султан. — Да простит всевышний раба своего грешного, но... Зачем же тогда... радовать, веселить?.. Нет, поэт! Я ждал от тебя другого ответа, а ты... повторил, что твердит как попугай имам Саид!

Унсур и снова искательно посмотрел на Абул Хасанака. Но любимый султанский визирь и сам впал в замешательство. Жизнь — это удовольствие, наслаждайся, если можешь и пока можешь. Так он всегда полагал и впервые слышал такие, не по его уму, загадочные вопросы из уст султана. До сего времени все слова и поступки повелителя были ему, Хасанаку, ясны как день: даже мысли, еще не высказанные султаном, он угадывал точно. А вот заболел султан — видно, и впрямь неизлечимо, — и многие поступки и слова его стали вызывать у визиря страх непонимания, и в сердце закрадывалось, непонятно почему, какое-то холодное смятение.

Еще эта охота рискованная, которую он выдумал, — не получилось бы что на свою же голову! Сумеют ли охотники исполнить все так, как задумал Абул Хасанак? А вдруг да произойдет что-нибудь непредвиденно неприятное? Да хоть с той же прирученной газелью главного визиря? Смогут ли охотники выпустить газель с детенышем из засады точно в назначенный миг или, чего доброго, ненароком чем-то выдадут себя? Да и побежит ли газель, увидев султана, прочь, или, прирученная человеком, остановится, бестолковая тварь, застынет на месте как пень, ожидая, что человек подойдет к ней? Вот это будет «охота»!

И чем ближе крепость Гардиз, тем больше теснилось беспокойных мыслей в голове Абул Хасанака.

Между тем повозка в сопровождении конных охотников стала подниматься вверх по склонам, густо заросшим арчей. Все выше и выше двигались охотники. Пройдя медленной рысью арчовую рощу, поднялись к мощным вязам, откуда открылся вид необозримо широкого ярко-зеленого пространства, уводившего взгляд к серебристым лентам ручья и речек внизу, к скоплениям шаровидных деревьев — гурджумов, а дальше... дальше опять были холмы, перелески, снежные вершины.

Неожиданно раздался глухой, властный голос султана:

— Остановитесь! Где мой карабаир?

Хватаясь за вертикальные брусья, на которых плескались желтые занавески, султан поднялся в повозке во весь

рост. Его высокая фигура в чекмене из белой верблюжьей шерсти словно вытянулась усохшим, без листвы, тополем. Глаза заблестели, как прежде, когда он был полон сил и величия.

Главный соколятник, с черной птицей, накрытой колпачком, на плече, подвел к повозке иссиня-черного, как ласточкино крыло, коня — тот весь прямо лоснился, каждая жилочка в нем трепетала. С холки свисала шелковая бахрома, широкая грудь карабаира в золоченых тесемках, удила тоже золоченые, и конь нетерпеливо грыз их и бил копытом по земле.

Султан оперся руками на обе луки крепкого седла, покрытого бесценно дорогим мягким ковриком. Закрыв глаза, он постоял так, что-то шепча, а затем, оттолкнув Абул Хасанак, взявшегося было помочь повелителю, резким движением тела перемахнул с повозки прямо в седло.

— О всемогущий аллах! — воскликнул поэт Унсури, воздев свои женственно белые руки, как для молитвы. — О аллах милостивый, никогда не скупился ты проявлять благосклонность к радетелю истинной веры!.. О повелитель! Вы будто юноша. Пусть и ныне исполняются все надежды ваши, пусть будет удачной охота, и да поможет вам дух вашего достопочтенного отца. Аминь!

— Аминь! — прошептал и султан уже с седла, молитвенно сложив руки. Натянул поводья, удерживая коня. Рукавом чекменя вытер неожиданно проступившие слезы, легонько стегнул потом плетью своего карабаира — и благородный туркменец нетерпеливо скакнул, высоко подбросив передние ноги, и с места, как птица, полетел.

Иные из охотников-слуг хотели было пуститься за султаном, но услышали, как крикнул Абул Хасанак: «Не надо! Стойте!» — и сдержали коней.

Султан быстро отдалялся от сопровождения. В белом чекмене, в белом колпаке с черной оторочкой, он был похож на большого белого ворона, который почему-то вцепился намертво в спину карабаира, и чем дальше отдалялся всадник, тем большим становилось сходство...

Абул Хасанак с повозки смотрел вслед, едва дыша.

Вот карабаир миновал один высокий вяз, вот рядом — другой, вот приближается к густому кустарнику. О, появились из кустов две тени, одна побольше, другая поменьше, появились и стали быстро удаляться.

— Газель! — Абул Хасанак чуть не захлебнулся от чувств.

— Слава богу! Газель, и еще с детенышем!

Поэт Унсур и сполз с повозки, опустил на колени, поцеловал землю.

— Это — доброе знамение! Слава всевышнему! Мольба нашего благодетеля дошла до аллаха!

Карабаир настиг одну из двух беглянок. «Белый ворон» на полном скаку наклонился с седла, схватил легконогую (видно, молоденькую, — промелькнуло у Абул Хасанак) газель, завалил ее на седло перед собой, но тут же наклонился на другую сторону и опустил животное, притормозив ход карабаира, потом повернул его и не спеша потрусил к своей свите.

Абул Хасанак соскочил с повозки, пустил коня на встречу султану.

«О судьба! Неужели все сбылось, как я задумал? Кажется, даже лучше, чем задумал, и прошло все легче, чем я предполагал! Неужели благодетель султан и после этого будет ставить меня ниже Али Гариба? Нет, пусть отберет у этого хитрого толстяка должность главного визиря, пусть отберет... Есть более достойные на эту должность, есть...»

Султан спокойно подъехал.

Спокойно? Нет. Он был растроган. Слезы лились по вялым, обтянутым желтой кожей щекам и по редкой седой бороде. Султан Махмуд не чувствовал, что плачет. А если и чувствовал, подумал Хасанак, то — дивное диво! — не скрывает слез. И эти слезы еще больше подхлестнули надежды Хасанак, сердце его билось восторженно-гулко.

А поэт Унсур, увидев повелителя правоверных залитого слезами радости, сам зарыдал:

— Слава аллаху! Это добрый знак небес, повелитель! Знамение удачи!

Султан жестом руки, на которую еще была надета петля плетки, повернулся к Хасанак, остановил его и прочих от восторгов и пожеланий.

— Мой преданный, мой самый близкий... Сейчас же пошлите гонца к Али Гарибу! Надо отметить доброе знамение, которое ниспослал нам милостивый аллах. В ближайшие дни раздайте на «Большом кладбище» милостыню нищим и сиротам. Заколите сорок быков, сорок верблюдов, сорок кобылиц, сорок баранов, наварите плова из сорока батманов¹ риса... А сейчас всем им... — он пока-

¹ Б а т м а н — мера веса, различная у разных народов Востока; здесь: около 16 пудов.

зал на охотников, не осмелившихся подойти поближе, — всем верным моим слугам наденьте новые чапаны. И — давайте-ка попируем на славу!

«Мой преданный, самый близкий...» Так сказал повелитель? Абул Хасанак почувствовал, как стало ему трудно дышать; он еще ниже склонил голову, боясь выдать себя, свою радость, ожидание дальнейших милостей.

Начали пировать в полдень, когда солнце сравнялось со снежными вершинами гор. Всем охотникам надели чапаны, на поэта Унсури накинули парчовый, а на Абул Хасанака златотканый халат.

Султан возлежал на высоком ложе, устроенном под вязом. На плоском, бледном его лице был чуть заметен румянец. Султан не выпил ничего, ел мало, говорил и того меньше, дав волю веселью идти свободно. Время от времени, закрыв глаза, уходил в себя, и тогда перед его мысленным взором снова представляли газель и детеныш, что выскочили из кустов. Он подстегнул коня, пустился на них вскачь; газель-мать, будто и не боясь всадника, завертелась вокруг молоденького своего чада. Серенький, с маленькими ножками и огромными глазами детеныш засеменял довольно быстро и побежал, сначала опередив мать. Взрослая не помчалась от всадника сразу, но когда он приблизился — ее как ветром унесло.

В душе султана, осиянной неведомым чувством милосердия, и в его тощем теле проснулась вдруг необычайная сила. Она гнала его вперед, и он настиг молоденькую газель; будто ловчий сокол, вцепился в легкое животное и поднял его к себе на седло. И в тот же миг мать, что умчалась так далеко вперед, что, конечно, ее бы он не словил, сразу остановилась, немного постояла, будто раздумывая, и робко двинулась к нему... О благословенная судьба! Все получилось и с ним точно так, как с почтенным отцом. Вот оно — доброе знамение.

И султан, волнуясь, опустил на землю дрожмя дрожавшего детеныша. И, как только опустил, тут же в душе вспыхнул этот ясный свет, тут же охватило его какое-то загадочно-светлое, истинно нездешнее настроение. И радость за себя тут была, и благодарность кому-то за что-то хорошее, и уверенность, что с ним будет все хорошо. Боль в правом боку отпустила. Мир открылся в благожелательной красоте своей, а он сам... он словно заново родился. Это широкое зеленое поле, окруженное горами, показалось просторней, воздух — свежее, запах арчи ароматней, чем раньше. Снежные вершины выросли,

выросли до самого неба. И люди султана — один лучше другого, один добрее другого.

Даже мимолетный дождь, коротко прошумевший после полудня, не испортил ни пира, ни настроения. Наоборот, показался тоже добрым знамением. Всевышний создал это небо, это солнце, этих птиц, всю красоту мира подлунного... для рода человеческого, детей адамовых... чтобы радовать взоры рабов своих покорных и веселить их души.

Радовать рабов своих? Веселить их души?.. Тогда зачем же смерть? Зачем он придумал смерть для людей?

Махмуд, не обращая внимания на теплые капли влаги, которые срывались с вяза, стал думать об отце.

Да, на достопочтенном родителе, эмире Сабуктегине, сияла печать святости, ничего не скажешь...

Сабуктегин был сыном тюркского военачальника из Шаша. В одном из сражений попал в плен к приверженцам эмиров Самани и на базаре Бухары был продан в рабство. Погнали его пешком из Бухары в Нишапур: там цена на рабов стояла выше, чем в пресыщенной Бухаре. Его хозяин, торговец, был до того жестоким и скупым человеком, что, когда лошадь отца пала, не выдержав тяжкого пути через пески, он взвалил на плечи раба седло и сбрую. В дороге на одной из ночевок, в час отдыха от мучений, к спящему Сабуктегину пришел Хызр¹. И сказал Хызр отцу: перетерпи все невзгоды, а впереди тебя ожидает счастье, и это напутствие святого Хызра сбылось — на базаре в Нишапуре достопочтенного отца купили для эмира Алитегина. Сей эмир — да отведет ему аллах место в своей обители! — проявил внимание к молодому Сабуктегину, сделал его своим слугой, а потом и военачальником. И развеялись черные тучи над головой отца. Смелость и способности проложили ему путь наверх, и так пришелся отец по душе эмиру, что, когда настали дни прощаться Алитегину бездетному с этим бранным миром, наследником своего престола он объявил не кого-нибудь, а своего верного Сабуктегина...

Султан Махмуд повторил про себя: «Печать святости, печать святости...»

Достопочтенный отец его оправдал хлеб-соль Алитегина. Но ведь он, Махмуд, сумел продолжить дело благословенного отца. Границы государства, которое создал

¹ Хызр — легендарный пророк: он испил «живой воды» из источника жизни и обрел вечную жизнь; распространено поверье: Хызр приносит счастье тому, с кем встретится.

Сабуктегин, были расширены вдесятеро и укреплены надежно. Оставленный в наследство светлый город Газну он, Махмуд, превратил в огромнейший и красивейший во всем подлунном мире... да, да, Газна выдержит сравнение и с Багдадом, и с Дамаском, и уж тем более с Бухарой. Он возрадовал дух достопочтенного отца своими деяниями, а теперь дух сей покровительствует ему. Таков он, закон справедливости. А недуг... это не наказание за грех какой-то, а испытание, ниспосланное свыше. Знамение судьбы, представшее перед его отцом в облике оленя, предстало и перед ним в облике газели. Значит, что же? Кончается, видно, испытание. И пророк Хызр, пришедший во сне к отцу, надо ожидать, придет во сне и к нему — сыну...

Султан задремал; телесные и душевные успокоения, в которые погружен он был наяву, продолжились и во сне.

Ему казалось, что зазвучала вдруг нежная музыка. Приятными голосами напеваемые песни прилетели к нему откуда-то из-под небес. Вечно бы слушать эти песни, эти ласкающие сердце голоса, но неожиданно к ним присоединились грубые звуки, и паланкин, на котором он был принесен сюда кем-то, качнуло сильно, и он с сожалением открыл глаза (во сне, не просыпаясь).

Вон оно что: он покоился не в паланкине, а на ложе в повозке, повозка же стояла не у знакомого вяза, а на высоком холме возле двух сросшихся чинар. Дождь стих. Солнце краем своего диска уже легло на снежную цепь вершин, и в его теплых лучах радужно переливались хрустальные капельки влаги на листьях чинар.

Султан с удивлением осмотрелся. Ни в повозке, ни рядом не было ни Абул Хасанака, ни Унсури. Музыка и песни постепенно стихали, отодвигались куда-то; наконец, раза два сиротливо прозвенел танбур, а там и он смолк.

— Если султан Махмуд Ибн Сабуктегин — повелитель государства, то я тоже повелитель, Маликул шараб — повелитель виноделов и выпивох!

— Ишь какой отыскался султан! — неожиданно раздался голос Абул Хасанака. — Убирайся-ка отсюда, глупец, пока цел. Иначе прикажу слугам связать тебе руки и ноги и повесить на этой чинаре!

— И такого спесивого человека с таким ничтожным умом взял себе в визири всемогущий султан Махмуд? Ай-яй-яй... Ты-то и есть глупец. Если кто и сможет пове-

силь Маликула шараба, то только сам покровитель правоверных!

«Кутлуг-каддам!» — молнией вспыхнуло имя в сознании Махмуда. Самый близкий наперсник детства и юности! Дни и ночи на берегу Афшан-сая проводили они вместе когда-то: боролись, стреляли из луков, устраивали скачки и охоту.

Теплая, как солнечный луч, струя благодарной памяти окатила сердце старика, — да, ничего не поделаешь, нынче старика Махмуда. Он приподнял с подушки голову, вслушиваясь в спор, потом решительно раздернул шелковые занавески.

Неподалеку от повозки, оказывается, препирался с поэтом Унсури и Абул Хасанакон какой-то человек, похож он был на отшельника: старый трех конусом на голове, на плечах заношенный донельзя чекмень, зарос бородой, грива волос давно не чесана. Он стоял так, будто не пускал приближенных султана пройти по тропке вниз, а в стороне от тропки, под двумя чинарами, сидели какие-то люди, видно, музыканты. На скатерти, постеленной в центре образуемого ими круга, царил большой кувшин. Люди эти, держа в руках кто гиджак, кто сетар, кто най, с интересом следили за словесной битвой между оборванцем и Абул Хасанакон; перебранка доставляла всем им большое удовольствие, их чумазные лица расплывались в улыбках.

Странное озорство вдруг пробудилось в султоне от этого зрелища; поднялся в повозке так, что его заметили:

— Эй, кто там осмелился перечить всемогущему повелителю пьяниц? Эй, Кутлуг-каддам! Я-то думал, ты давным-давно наслаждаешься в раю, а ты, вижу, до сих пор суетишься в сем бренном мире!

Все оторопели. Один Маликул шараб не растерялся. Всей пятерней провел по заросшему волосами лицу, лукаво огрызнулся:

— Увы, повелитель, райские сады предназначены не для таких, как мы, не для нищих и голодных. Они — для благословенных султанов! А раз так, чего ж нам торопиться в мир нетленный? Беднякам уж лучше бродить по грешной земле, а сильным мира сего спешить в благословенный рай. Ну да зачем спорить? Сегодня ведь начало навруза¹! Пожалуйте к нашему бедному дастархану, сиятельный!

¹ Н а в р у з — мусульманский Новый год; соответствует 21 марта.

«Начало навруза! Милостивый аллах, а я и забыл про это... Но, значит, тем паче неспроста нынешнее знамение судьбы». Озорное чувство разыгрывалось в душе все сильнее.

— Маликул шараб! А ну-ка, налей чашу своего прославленного вина!

Маликул шараб повернулся к сидящим под чинарой, крикнул: «Эй, Бобо Сетари, налей султану!» И, подмигивая, весело пропел:

Коли в руки взял сетар — пусть звучит струна.
Коли чаша пред тобой — осуши до дна.
Души нищих чисты — вот как это вино.
Очищай султану душу! И ему — вина!

Некто из-под чинары хмельно провозгласил:

— Да благословит аллах Маликула шараба за щедрость!

И тут же один за другим заиграли наи, сетары, гиджаки, и звуки их соединились красиво, ласково и весело.

Маликулу шарабу протянули полную чашу, он с достоинством взял ее и тут же, все еще озорую, приплясывая, понес султану:

Нищий пьян каждый день — от утра до утра,
Все исчезнет, как тень, — эта правда стара.
Веселись не в раю — здесь, на грешной земле.
Веселись сейчас, а завтра... завтра смерти пора!

Унсурй неожиданно быстро подбежал к султану, опустился на колени, пачкая одежду о мокрую траву, поцеловал подол султанского халата:

— О повелитель, не слушайте этого нечестивца! В такой светлый день, когда ангелы благословили вас добрым знамением, не слушайте его!

Тут Абул Хасанак встрепенулся:

— Справедливые слова, солнце нашего неба!.. Опасное время, опасные места. Тут, в горах, свил гнездо нечестивый имам Исмаил Гази.

— Какой еще имам?.. Вот, дервиш, и знатные вельможи могут молоть чепуху! — Султан взмахнул рукой и, всецело отдаваясь озорству, так в нем взыгравшему разом, опустошил чашу, принятую из рук Маликула шараба. — Да простит меня аллах!.. Но полгода душа моя была полна мраком. А сегодня вот зажегся свет!.. Абул Хасанак! — воскликнул султан, и в раскосых глазах его вспыхнули еще ярче веселые искорки. — Все вы свободны!

Оставьте мне повозку с лошадей и двух слуг, с меня на сегодня хватит. Хочу побыть с дервишем!

— Не с дервишем, а с Маликулом шарабом! — полунграя, заметил Кутлуг-каддам. — Вы — повелитель, султан над султанами, ваш покорный слуга — повелитель виноделов и... всех, кто любит вино.

Унсури с надеждой взглянул на султана Махмуда: «Ох, сейчас разгневаается повелитель, ох, сейчас поплатится проходимец этот за свое кощунство!» Но — вопреки надеждам поэта — султан Махмуд покорно склонил голову:

— Простите великодушно, повелитель вин и выпивох! Уделите мне, грешному, немного времени для беседы с вами!

Маликул шараб распростер руки:

— Милости прошу, повелитель государства! У Маликула шараба за дастарханом все равны — и шах, и нищий!..

И вот спящий Махмуд видит, как хмельные музыканты подвигаются и уступают ему место и как он, султан, осторожно располагается на краю старой кошмы.

Что за чудесный день! Небо синее, зелень вокруг радует глаза, запах многочисленных трав нежит, кажется, каждую клеточку тела.

По небу плывут белые облака, одно — похожее на белого верблюда, другое — на верблюжонка; под облаками летают парами огромные белые птицы, напоминающие паруса; над облаками, в самой глубине синих небес, прячутся черные беркуты... Грустная и нежная, под стать вечернему солнцу, игра музыкантов ласкает душу, как вода ласкает жаждущего в пустыне. И чем больше слушаешь, тем дольше хочешь слушать...

О жалость! Почему же до сего дня он ничего не знал о красоте мира, о ласковости жизни в покое, это он-то, сорок лет уже султан! Конечно, его сердце — воина, повелителя, мужчины — радовалось, когда он побеждал обладателей тронов в Индии и Хорасане, Хорезме и Бухаре, когда они после поражений ползали у его ног, но даже тогда не испытывал он такого счастья! Ни от захвата крепостей, ни от пожаров, уничтожавших непокорные города, ни от гор золота и драгоценностей — своей боевой добычи, ни от картин военных парадов — свидетельств могучей силы и неисчислимости храброго своего войска, — гордыня тогда уносила его на крыльях до седьмого неба, радовал рев боевых слонов, грохот

литавр, и самым прекрасным делом на свете была война, самыми красивыми — сабля, щит, победоносное знамя...

Но вот узнает он на склоне лет своих, что есть настоящая, и совсем другая, чем он до того знал, красота, и счастье десятикратно большее, чем он знал. Есть жизнь подлинно человеческая. Хоть и бедная, но беззаботная. Хоть тихая, но благодатная. Оказывается, есть в мире такой прозрачной синевы небо, белые облака, похожие одно на верблюда, другое на крохотного верблюжонка; существуют такие травы, что дыши — не надыхнешься; и такие высокие, голубые, увенчанные чистой белизной горы, на которые сколько ни смотри — не насмотришься.

Вот напротив сидит дервиш, наперсник его детских и юношеских лет. На голове у дервиша старый колпак-треух, костлявые плечи вот-вот прорвут донельзя заносенный чекмень. Но кто из них двоих счастливей?

Чистая, как родник, мелодия... музыканты будто и сами таяли от своей музыки, играли самозабвенно и слитно, ведомые Бобо Сетари, раскачиваясь в такт, склонив голову и закрыв глаза каждый; горбатенький пожилой мастер ная, так тот прямо струями лил слезы.

Музыка вдруг закончилась. Султан почувствовал, что голоден, приподнялся с кошмы. Но на скатерти — никаких изысканных яств. Кувшин вина стоял посредине, возле лежал нарезанный лук, кислый творог — сюзьма, в чашке ячменные лепешки и блюдо самсы. Но эта самса с мятой показалась султану слаще меда, сюзьма таяла во рту, даже простые ячменные лепешки неодолимо тянули к себе.

Султан попросил Маликула шараба дать музыкантам отдых. О, сегодня душу султана распирали добрые намерения, ему хотелось говорить всем людям только хорошие слова, творить лишь благое и приятное. А еще ему хотелось просить у людей прощения за собственные грехи! И потому неожиданно для самого себя он вспомнил о давней ссоре с Кутлуг-каддамом из-за юной танцовщицы. Кто знает, не будь той злой ссоры, человек, сидящий против него, погрузневший, как султану казалось, тоже от воспоминаний, был бы его, султана, правой рукой, визирем или военачальником.

— Дружище Кутлуг-каддам, — голос султана дрогнул. — Да простит аллах меня за глупости, в молодости

свершенные... знаешь, никак не могу забыть, что я нанес тебе тогда обиду!

На морщинистом заросшем лице Маликула шараба отразилось нечто похожее на изумление. Вон как подействовала на его друга-повелителя болезнь: странные в устах султана слова, непонятная тяга к нему, давно уже не придворному даже... ишь, назвал «дервишем», а сидит вот с «дервишем» и пьет вино «дервиша».

— Ладно, повелитель, прошлым делам — прощение. Нет смысла бередить зажившую рану.

— Нет ли, есть ли — мне все равно. Я прошу прощения у тебя, мой друг. Говорят, что один творец безгрешен!

Маликул шараб долгомолчал после этих покаянных слов. Нет, видно, не зажила старая рана. И простил ли он султана на самом деле в душе своей? Вряд ли, наверное... Султан продолжал говорить. Кутлуг-каддам — молчать. Султан зачем-то стал рассказывать про охоту, удивительную, бескровную и бескровностью своей удачную охоту на газель с детенышем.

Маликул шараб не знал, что сказать на это. Оставалось подивиться, как странно бывает устроен человек! Сколько городов растоптал султан Махмуд, сколько тысяч пленников повесил, сжег, заживо закопал в землю — детей, женщин, стариков — и ни слезинки не обронил. А тут вот плачет, разжалоблен горем газели-матери.

Султан между тем продолжал тихо, истово:

— О, неспроста эта газель встретила мне, неспроста, Кутлуг-каддам. Аллах тем самым явил мне свою милость. Ведь и моему достопочтенному отцу в самые тяжкие для него дни однажды встретила мать-олениха с олененком. Он тоже тогда поймал олененка и тоже, сжалившись, отпустил его. Что и принесло родителю удачу. Да, удача за удачей пошла в его жизни тогда...

И вдруг показалось спящему султану, что стали ясны для него мысли дервиша, которые тот не высказал вслух: «Вот оно что! Я-то думал, что сей султан, никогда не знавший милосердия, переродился. А он... он хочет всего лишь новой удачи для себя. Поистине под шапкой тут есть тубетейка!»

И сердце Маликула шараба, слегка оттаявшее от горьких воспоминаний, снова превратилось в кусок льда.

«Нет, если существует справедливость в этом мире, то нет прощения тебе, султан! Из-за одной газели нельзя простить рек людской крови, пролитой тобой, нельзя

забыть слез тысяч и тысяч младенцев, которых ты сделал сиротами, покровитель правоверных!»

— Даст аллах, завтра хочу устроить кормление на кладбище,— продолжал тем временем султан.— Заколют сорок баранов, сорок кобылиц, сварят плов из сорока батманов риса — и раздадут беднякам. Пусть радуются духи усопших! Хочу накормить всех калек и сирот, нищих и бездомных... Да, а безгрешен только всевышний, Кутлуг-каддам! Если я, грешный раб, в юности и обидел кого-то, если, бывало, убивали по приказу моему и невиновных, то отныне предо мной только праведный путь, и даст бог, я смою все грехи, творя благодеяния.

И, произнеся это, султан знал, что почувствовал Маликул шараб, почему у собеседника затряслись руки.

«Эй, что ты дрожишь, как лягушка пред змеей? Что, на старости лет жизнь тебе стала сладка? Не дрожи, не смей дрожать! Наступил миг, когда ты можешь прямо сказать султану то, что грызло тебя сорок лет».

Маликул шараб поднял чашу вина, опустошил ее, и странно подмигивая косящим хмельным оком султану, вдруг разверз уста, до этого мига сомкнутые.

— Чтоб смыть грехи, которые совершил повелитель, не хватит не то что сорока баранов и сорока кобылиц — сорока тысяч баранов и кобылиц не хватит!

— Если нужно, то и сто тысяч отдам! — султан выпил до дна свою чашу и бросил ее на дастархан.

— Нет, великий... И ста тысяч, и дважды, и трижды ста тысяч не хватит... Если вы раздадите все свои богатства, разорите все свои дворцы, такие, как «Невеста неба», опустошите сокровищницы, сейчас наполненные золотом и драгоценностями, если продадите всех своих невольниц и рабов за хорошие деньги — и того не хватит, чтобы смыть все ваши грехи. Погибших от руки султана Махмуда, обездоленных, несчастных в мире подлунном больше, чем листьев на этих чинарах!

Сколько же можно терпеть наглость оборванца?

— Я посчитал тебя другом, Кутлуг-каддам, как в юности... потому излил пред тобой душу, доверил свои мечты, а ты... снова хочешь быть наравне. Снова делаешь мне больно.

Султану показалось, что Маликул шараб на какой-то миг пришел в замешательство. Но оправился «дервиш», заговорил опять о правде и справедливости, а по-

том по-шутовски заявил, что он только заботился, чтоб «благодетель зря не истратил своих сокровищ и богатств».

Раскосые глаза султана вспыхнули от насмешки:

— Довольно! Не сыпь яду, нечестивец!.. Да, я ставил на колени перед собой города и народы — и делал это во имя истинной веры. Если я богат и от войн становлюсь все богаче, — значит, богаче и краше становится моя страна!.. Да, нет совести у людей! Нет и правды, о которой ты печешься. Все только и болтают: резня, погромы, убитые — вот счет султану Махмуду. Но кто сделал Газну лучшей из столиц мира? Кто возвел такие дворцы, как «Невеста неба», такие крепости, как Кушки давлат и Кушки магчмур, такие сады, подобные раю, как сад Феруз?

— Для кого же эти дворцы и сады? — не сдавался Маликул шараб. — Для простолюдинов, для бедняков, благодетель? Может быть, для Бобо Хурмо? Посмотрите-ка вон туда, повелитель.

И султан посмотрел туда, куда указывала рука Маликула шараба: под красивым вязом уселись в кружок музыканты, а посреди них, кривляясь, плясал какой-то бедняк в пестром халате.

— Этого нищего зовут Бобо Хурмо Савдои?

— Да, Бобо Хурмо Савдои! На месте райского сада Феруз некогда была прекрасная роща хурмы. Повелитель отобрал у Савдои его любимую рощу, лишил крова, и несчастный вот уже двадцать лет скитается, словно бездомная собака! И близко к Ферузу его не подпустят нукеры. Вот и спросить хочется еще раз: «Для кого были созданы ваши сады?»

Султан застонал в ярости и бессилии:

— Язык у тебя ядовитый! Жалишь, как змея, Кутлугкадам! За голову свою не боишься?

— Отруби, отруби мне голову, покровитель правоверных! — закричал вдруг Маликул шараб. — Руби нас, обездоленных, ты умеешь это делать! Ты ведь не постеснялся тогда, давно... в юности нашей поднять меч и на четырнадцатилетнюю танцовщицу, чуть от зависти не сгорел, ведь она взяла мою чашу с вином, а не твою, помнишь?.. Так знай, султан, танцовщица эта, Наргизбану, все еще жива!

— Индийская танцовщица?

— Да, та несчастная. С покалеченной рукой она прожила много лет, и каждый миг — проклиная тебя.

Султан хотел кликнуть стражу, но не успел. Острая боль ударила его в правый бок... И привиделось ему тут же, как Маликул шараб, неожиданно захлестнутый чувством сожаления и раскаяния, кинулся на помощь...

Острая боль — уже наяву! — ударила в правый бок, султан закричал и согнулся, будто переломился. Абул Хасанак, Унсури, охотники, слуги кинулись к нему, бестолково потолклись рядом, пока двое дюжих прислужников не взяли султана под мышки, так что он повис на их руках. «Всевышний, всеведущий, прости своего раба грешного! Что значит сей сон?.. Ах, то был сон... Сон? Или все произошло наяву? Но тогда почему не послушал я верного своего визира, Абул Хасанака?..»

Султана Махмуда уложили, задержали желтые шелковые занавески по бокам повозки. Он лежал, совсем обессиленный, на спине, голова откинулась на подушку, глаза смотрели в небо.

Вместо прежней прозрачной, как протертое стекло, синевы видел он бездонную, темную пустоту.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Несколько дней Бируни горел в жару и бреду. Его терзали дурные сны, во сне же он хотел избавиться от них, пробудиться к яви, встряхнуться, — хотел и не мог.

А просыпался на самом деле в полном бессилии, закрывал снова глаза и медленно погружался в воспоминания, которые тоже были подобны сновидениям.

Воспоминания переносили его в годы юности. И в родные края, в благодатный Хорезм, где на берегу бешено мчащейся мутной реки расположился Кят, его город.

Яркими картинками представляли пред ним улочки и проулки его, окраинной, дахи¹, где обитали носильщики и дровосеки; в памяти оживали глинобитные лачуги, похожие на птичьи гнезда. Маленький Абу Райхан с тех пор, как помнил себя, ходил на работу. Таскал в лавки воду из колодца, подметал полы; раздувал огонь у мастеров халвы и других сладостей; у гончаров — помогал вертеть гончарные круги, на которых первоначально обрабатывалась глина; у кузнецов — стучал молотом по нетяжелым и несложным поковкам. Все любили худощего

¹ Д а х á — городской район.

смуглого мальчика за расторопность и сметку; покрутившись в лавках арабов, он быстро научился арабскому, а побегав в торговые ряды индийцев, через некоторое время смог объясняться с ними на их наречиях; даже сладкая речь китайцев, которую никто не мог толком понять, как и манеры их, была внятна Абу Райхану. И вскоре Абу Райхан стал посредником-переводчиком в Кяте, где было, как и везде в Хорезме, множество приезжих из разных стран. Переводил охотно и бесплатно. Мальчику это занятие нравилось.

А вечерами, в сумерках, выходил он на берег Аму, садился там и смотрел в степь... И когда маленькими муравьиными точками возникают вдали люди, босоногий Абу Райхан срывается с места и летит, словно птица, навстречу им. Ноги не чувствуют ни колких колючек, ни острых камней; ноги сами несут его к худой и высокой женщине, которая, как и другие, согнулась под огромной вязанкой хвороста и бредет еле-еле, ощупывая путь перед собой длинной палкой.

— О мама, мамочка! Дайте я понесу саксаул!

Женщина останавливается. Вытирает пот со своего лица, на которое так похоже лицо мальчика. Кладет на голову сына черные свои шершавые руки с искривленными, похожими на ветви саксаула пальцами.

— Дитяtko мое! Благодарю аллаха, что дал мне тебя. Когда слышу, как ты говоришь «эна-джан», «мамочка», и груз для меня легчает.

Абу Райхан целует мать:

— Теперь вы будете дома сидеть, я сам буду рубить хворост, сам. И таскать саксаул... И вас кормить, эна-джан!

Глаза усталой женщины наполняются слезами:

— Нет, жеребенок мой, не надо тебе рубить и таскать на спине саксаул... Вчера в лавке, где продают халву, знаешь, что было? Один ученый человек подозвал меня и сказал: «Аллах наградил твоего сына несравненной сметливостью. Дай мне твоего сына в ученики, буду учить его», — так сказал он... Ты выучишься, мой верблюденок, станешь тоже ученым человеком, будешь служить у богатых торговцев. Вот тогда и я избавлюсь... от этого хвороста. Не буду ходить за ним в степь... Ты слушай меня: крепко держись за подол его халата! Хоть он, говорят, исповедует не нашу веру, но все равно, оказывается, добрый, сердечный человек. Крепко держись за подол его халата, сынок.

— Я знаю, вы говорите про Абу Сахля Масихи. Да, он очень ученый человек...

И новые картины вспыхнули перед старым Бируни, будто освещенные ярким костром, не свечкой.

Разгар весны. Огромный сад на речном берегу пышно расцвел. Сквозь зелень белеет большой дом, настоящий дворец. Среди деревьев видны спокойно бродящие, щиплющие траву газели, в бассейнах, отделанных нежными, под фарфор, плитками, плавают облачно-белые лебеди.

Абу Райхан вместе с учителем поднимается на верх дома по ступенькам, застеленным мягкими шкурами белых медведей. Наверху открывается длинный коридор со множеством дверей и ниш, в которых даже днем горит несметное число свечей. Учитель, дойдя до конца коридора, открывает одну из дверей.

Комната убрана причудливо. На стенах — рога оленей, шкурки белок и соболей, на полу — белая и темно-бурая медвежьих шкуры. Посреди комнаты — ложе, где на перьевых подушках полулежит старец. Глаза его голубые, длинная борода — светло-рыжая. Возле ложа молоденькая женщина, такая же голубоглазая, как старик. Продолговато-овальное светло-белое лицо ее похоже на лица северных невольниц, привозимых на хорезмские базары... Она сидела и считала на «индийских счетах», что-то записывала в тетрадь. При виде вошедших быстро сложила бумаги и счета и легким шагом удалилась.

Старик просит поближе подвинуть к его ложу столик. Он долго беседует на своем языке с Масихи, а потом, подозревая к себе юношу, говорит с ним на тюркском. Он проверяет его познания в торговых делах, ценах, расчетах и пересчетах.

Абу Райхан остается в доме торговца.

Потом пришла страшная ночь.

Абу Райхан допоздна засиделся тогда в отведенной ему маленькой комнате, читал. Только загасил свечу, чтоб лечь спать, вдруг кто-то громко стучит в дверь. Раздается громкий женский плач. Абу Райхан выскакивает и видит голубоглазую Райхану (так звал он ее по-своему) с мерцающей свечой в руке. А из уст ее — стон, смешанный с ужасом: «Отец! Мой дорогой отец!» Она опускается на пол, ставит возле себя свечу; заплаканное, искаженное страхом и горем лицо прячет в ладони. Абу Райхан, прыгая через ступеньки, мчится наверх. Вот она,

та комната. Старец рыжебородый лежит на гряде шелковых одеял, в его открытых голубых глазах потухла жизнь, они застекленели, челюсть отвисла...

После свершения похоронных обрядов — тяжелое зрелище, но Абу Райхану было интересно видеть обряды чужой веры — просторный дом торговца погрузился в мрачную молчаливость... Он, Абу Райхан, снова сидит в своей комнатке за чтением и снова слышит какой-то грохот. Вздрагивает, прислушивается. Шум доносится сверху, и кажется, из покоев дочери (Райхана живет как раз над Абу Райханом). Он опять бежит вверх, перепрыгивая через ступеньки. Видит: у дверей в комнату Райханы стоят двое — приказчик умершего торговца, близкий помощник его при жизни, а с ним рядом похожий на круглый пень горбатый человек.

Этот горбун в собольем тулупе и собольей шапке на голове — о аллах! — не кто иной, как тот самый Пири Букри, который через много лет появится в Газне, мастер игры на нае и тайный богач. Черный Паук!

Абу Райхан и тогда уже, в Кяте, хорошо знал горбуна, тот считался одним из самых крепких торговцев города.

Прижимая к себе какую-то толстую тетрадь, горбун тянул к себе дверь, цепочка уже оторвалась, в проеме была видна заплаканная и возмущенная, старавшаяся выпихнуть торговца обратно в коридор Райхана. Приказчик стоял рядом, понуро безучастный. О юношеские годы! Абу Райхан даже не стал выяснять, что происходит. Мигом очутился и он у двери, увидев залитое слезами лицо Райханы. Оттолкнул приказчика. Схватив за шиворот горбуна, оттащил его к лестнице. Тщетно горбун что-то кричал юноше о долгах умершего. Тогда он не слушал и не слышал. Позже узнал, что отец Райханы задолжал горбуну огромную сумму. Но горбуна не интересовал ни дом, ни другое недвижимое имущество умершего купца. Он хотел одного — чтоб Райхана стала его собственностью!..

Сколько длилось оно, счастье с голубоглазой Райханой? Теперь Бируни кажется — целую вечность оно длилось. А иногда — будто миг пролетел.

Пролетел, сокрылся под зловещей пеленой погрома и разора, учиненных Кяту войском хорезмшаха!

Кят сгорел тогда весь.

Огонь, раздуваемый ураганным ветром из степи, пожирал дворцы, дома, лавки, сады.

Сгорели склады и дома Пири Букри. Сгорел дом и сад его должника-христианина.

...Абу Райхан — с Райханой на руках, она без сознания — выбегает из горящего сада. Поднимается на прибрежный холм, с высокого речного берега видит охваченные пламенем, вспыхивающие, как снопы сухой полыни, лавки, караван-сарай, дома бедняков и богатых, мусульман и иноверцев. Слух потрясен стоном и воплем детей и женщин, блеянием овец и коз, жалобным, почти человеческим плачем кошек и собак, отчаянным ржанием бешеных коней с пылающими гривами и хвостами...

В сознании Бируни гаснет эта картина, вспыхивает другая.

Бескрайняя степь. Ночь. Кругом — костры, множество костров. Кажется, что это звезды, дождем просыпанные в тот вечер с неба на землю. Всюду вокруг костров — люди в лохмотьях. Это — добыча, которую перегоняют из побежденного Кята в победоносный Гурган. Воины хорезмшаха гонят плененных по степному бездорожью. До полудня Райхана идет сама, хотя ноги изодраны колючками, поранены об острые камни. После полудня она уже не может ступить по каменистой растрескавшейся земле, и тогда Абу Райхан тащит ее на своей спине.

И в небе, и на земле мерцают бесчисленные звезды, скопища звезд. Пронзающе холодный ветер гасит костер. Абу Райхан снимает с себя старый ватный халат, накрывает им дрожащую, обессиленную Райхану — любовь свою, жену свою.

Из темноты доносится до них чей-то сдавленный хриплый кашель:

— Ради аллаха, подайте кусочек хлеба!

Какой-то низенький человек в рваном халате возникает перед ними. Лицо с обгоревшими ресницами, бровями, бородой пугает и притягивает одновременно.

Это же он, Пири Букри! Снова он...

Старый Бируни стонет в полусне.

Да, поистине непостижимы игры судьбы!

Вскоре умирает любимая жена Абу Райхана — Райхана-бану. Она не вынесла тяжести скитаний. Ведь после резни в Кяте и тяжелого перехода в Гурган Абу Райхан

переехал в Джурджан, что на берегу Хазарского моря, оттуда отправились они в Рей, из Рея — в Хамадан... Райхана-бану покинула сей бранный подлунный мир. А эта змея Пири Букри жив, до сих пор еще ползает по земле. Да разве только ползает? Хитрец, что при первом взгляде вызывает жалость у человека, на него взглянувшего, недавно хвастался перед Бируни драгоценным камнем, коему вполне приличествовало украшать сокровищницу халифа Гаруна ар-Рашида, — впрочем, не хвастался, нет, отдавал камень ему, Бируни, просил взамен Садаф-биби.

Бируни вмиг стряхнул с себя полудремотное оцепенение.

О судьба! Он тут, а пройдоха горбун, может быть, уже увел его Садаф-биби к себе, заманил, улестил, обманул, рассыпал перед ней свои несметные богатства?

Но это что? Сон или явь? Тихо отворилась дверь, и вошла Садаф-биби, чуть-чуть прикрывая губы и нос кончиком прозрачного, на голову накинутаго платка. В больших печальных глазах девушки невыразимая тревога, милое круглое личико побелело от волнения.

Нет, это не сейчас происходит, это произошло в ту ночь перед советом мудрецов во дворце «Невеста неба». Ну конечно... Вечером приходила Хатли-бегим, потом он остался с Садаф-биби. И сейчас она стоит перед глазами. И снова звучит то, что он говорил ей тогда и что она ему говорила.

«...Если ты моя дочь, то Сабху мой сын».

«Учитель! Не гоните меня от себя, несчастную, не гоните! Не лишайте меня счастья видеть вас!»

Сейчас, в этой клетке, среди холода и мрака, Бируни ощущает на ладони горячее прикосновение губ Садаф-биби. «Э, старик, погоди-ка. Что это случилось с тобой? Что за мысли приходят тебе в голову? Разве о том должен думать человек, когда он лежит, заживо погребенный, в тюремной клетке, когда нет ни силы в его теле, ни огня в его сердце?»

С трудом приподнявшись на локтях, Бируни дотягивается до закопченного кумгана с водой... Нет, не время для мыслей о Садаф-биби, о ее горячих губах, зачем бедить без того ноющую рану души?

И, собрав всю свою волю, мавляна Бируни направил-таки свои воспоминания по другой караванной тропе. Словно другая свеча зажглась, иной свет озарил иные картины.

Прошло много лет с тех пор, как была учинена страшная резня в Кяте. Остались позади годы, которые Бируни проводил в скитаниях, годы обитания в Джурджане и Рее, во дворце правителей, его пригравших, но затем выказавших чванливость свою и недалекость. Он, Бируни, давно вернулся в родные края. И первые годы в Хорезме, надо сказать, были спокойными и полными надежд и радостей. В гурганском дворце Мамуна Ибн Мамуна был учрежден поистине совет мудрецов, где обычаем стал и жаркий спор, и мушоира¹. Но, к несчастью, в этом подлунном мире всему хорошему отпущен короткий век, а вот плохое живет и процветает долго. Из Газны в Гурган вассалу-правителю поступило распоряжение: всех ученых, весь совет мудрецов направить ко двору султана Махмуда, ибо он, Махмуд, длань аллаха, покровитель правоверных, пожелал, чтобы ученые сии украсили его дворец и город, а не какой-то там Гурган. Среди ученых, которых султан хотел видеть у себя непременно, значились Абу Али Ибн Сина, Абу Райхан Бируни и наставник Абу Райхана — Масихи.

Первый и третий напрочь отказались ехать в Газну, решились бежать через пески в Джурджан. Бируни согласился отбыть в Газну.

...И вот ночь разлуки, последняя тихая ночь, небо, усыпанное белыми звездами, безлюдная степь за воротами Гургана. Ветер, дующий от реки, играет пламенем костра, оно бьется тревожно, прыгая то в одну, то в другую сторону.

Бируни грустно. Он-то знает, какой путь ждет друзей, отправляющихся к Хазару. А Ибн Сина витает в облаках, путешествия в неведомую страну увлекает его. Снова и снова зовет он Бируни, одинокого, тогда уже без Райханы-бану, пойти вместе с ними, вместе испытать, что ниспешлет судьба.

— Да, я тоже хочу быть с вами! От всей души хочу! — вздыхает Бируни. — Но как подумаю: опять странствовать по длинным и опасным дорогам, опять служить Кабусу... Нет, ваш покорный слуга сыт всем этим по горло!

— Но султан Махмуд!.. — тревожится молодой (тогда он был молод!) Абу Али и тревожит его, Бируни. — Разве он лучше Кабуса? Или вы забыли о его погромах в Хорасане?

¹ Мушоира — состязание поэтов в восточных странах, поэтический турнир.

— Нет, дорогой друг, я ничего не забыл. Покорный ваш слуга отнюдь не считает правителя Газны лучше правителя Джурджана. Белая ворона, черная ворона — все равно ворона! Но...

— Нет, наставник! — горячо перебивает его Абу Али. — Не все правители одинаковы, вспомните первых из семьи Самани.

— Но разве не эмиры Самани заливали кровью Бухарский край и тот же Хорасан? Разве не сеяли они несчастья в других странах?

— Да, сеяли! Но в этом подлунном мире все ведь относительно...

— Ты еще молод, Абу Али... Относительно все, но не кровь людская, проливать ее во имя своей корысти — грех абсолютный.

— Ладно, пусть так, но... вы же знаете, что говорят в народе об этом Махмуде... — Абу Али подбросил несколько веток саксаула в голодный костер. — Ну, про то, как один сыч пошел к другому сычу, своему приятелю, высватать своему сыну дочь. Приятель обитал в развалинах древнего города. Показал он пришедшему свое обиталище и стал хвастаться развалинами, какие они красивые да знаменитые. Ну, и друг его пришедший тоже расхвастался:

«Вот у меня развалина, так еще живописней да знаменитей, отдай свою дочь за моего сына — тогда и она будет жить в не виданных никем развалинах».

«Ладно, — согласился приятель. — Будь у меня сто дочерей, а у тебя сто сыновей, всех их отдам за твоих отпрысков, уж больно понравился мне твой рассказ... Но у меня есть одно условие!»

«Хорошо, ставь твое условие», — сказал сыч, сватавший дочь.

«Условие у меня такое: за мою дочь подаришь мне сто разрушенных городов — это будет калым! Согласен?»

Тогда первый сыч громко расхохотался:

«Не беспокойся, приятель. Лишь бы на наше счастье дольше жил на свете султан Махмуд Газнийский, тогда я тебе не сто, а тысячи разрушенных городов, если попросишь, найду!..» Неужели вы не слышали эту притчу, достоимый наставник мой?

— Слышал. Но... нет мне никакой возможности не ехать в Газну, дорогой Абу Али.

— Но мы тайно сбежим, тайно!.. Я договорился... будет совсем небольшой караван. Проскочим... Мавляна Масихи тоже собирается бежать.

— Счастливого пути вам, брат мой! А я.. нет, нет ни желания, ни долготерпения, чтобы идти второй раз туда, где я уже раз был, Абу Али... Если будет суждено, может, еще и встретимся. А если не увидимся, то прости, дорогой мой, коль возникли меж нами споры и непонимание. Прости меня за них, брат мой!

— И вы тоже простите меня, наставник...

Годы прошли.

В Газне Бируни построил обсерваторию. По приказу грозного султана на строительство прибыли отовсюду зодчие и каменщики. Из далекого Исфахана они привезли для Бируни первое послание от Ибн Сины и сообщили горькую весть: наставник Бируни Абу Сахля Масихи, бежавший вместе с Ибн Синой, тогда же, не достигнув Джурджана, не выдержав дорожных мук и невзгод, скончался в пустыне!

Пятнадцать лет назад он узнал об этом печальном событии. И до сих пор мучает тягостная мысль: если б он, Бируни, послушался совета Абу Али, если б они убежали вместе, наверное, он смог бы оказать помощь старому наставнику в трудном пути через пустыню. Но такого рода сожаления для человека столь же неутешительны, сколь и бесплодны.

А Ибн Сина?.. Вот уж скоро двадцать лет, как Бируни остается лишь мечтать увидеть его. Особенно с тех пор, как, из Индии возвратясь, прочитал «Аль-Канон» — великую книгу врачей-врачевателей.

Кто знает, может быть, Ибн Сина и приехал бы, как о том недавно говорила Хатли-бегим, если бы к нему послали людей от его имени. Нет, нет, нельзя, недостойно вплетать свое имя в интригу. Султану нужен Ибн Сина любой ценой. Он ведь и впрямь дал бы Ибн Сине золото, равное его весу, приди великий исцелитель сюда, в Газну. Но Ибн Сина не пришел. И не ему, не Бируни звать Ибн Сину сюда. Достаточно он, Бируни, сгибался перед судьбой.

...Бируни снова попытался «потушить» ту свечу, которая оживила мрачные воспоминания, но нет, не «зажигались» иные свечи, не воскрешались радостные воспоминания, не было звезд для Бируни — ни в небе, отсюда не видимом, ни в душе страдающей...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В одну из приемных комнат «Невесты неба» любимец султана Махмуда визирь Абул Хасанак вошел пошатываясь, будто слегка перебрав вина,— увы, на сей раз горького вина...

Опустился в кресло. Огляделся: показалось, будто кто-то кашлянул в комнате.

Ну да, так и есть: имам Саид.

В руках имам держит тяжелые янтарные четки, одет имам в желто-зеленый наряд, весьма идущий к осанистой фигуре, на голове зеленая чалма.

Имам Саид посмотрел на Абул Хасанака, обессиленно поникшего в кресле, непонятым по значению кивком кивнул ему, подходя к двери султановой опочивальни. Принял вновь спокойно-надменный, как у откормленного гуся, вид.

Скрылся за дверью.

Абул Хасанак с трудом встал с кресла, еле волоча ноги, вышел из приемной комнаты. Ни с кем не хотелось встречаться. Одного хотелось: как можно скорей добраться до дому, опрокинуть там чашу вина, закрыться... и забыть неприятные, жесткие слова, что сказал ему султан. Но, будто назло, у выхода из дворца столкнунулся Абул Хасанак с самым ненавистным для себя человеком — Али Гарибом, главным визирем государства.

Али Гариб стоял перед воротами в окружении молодых своих слуг (а неподалеку стояли нукеры Абул Хасанака), словно нарочно дожидался султана наперсника; завидев Абул Хасанака, Али Гариб, как бы презрев почтенный возраст и сан, засеменил навстречу.

— О брат мой, Абул Хасанак! — первым заговорил главный визирь. — Есть поговорка: одна голова — серебро, две головы — золото. Нам с вами надо, очень надо посоветоваться по одному делу... Прошу вас оказать мне любезность и пожаловать в наше... убогое пристанище, где можно спокойно поговорить.

— Какое дело? — холодно-настороженно спросил Абул Хасанак: он всегда опасался главного визиря, а сейчас тем более испугался. Старый лис для доброго какого-нибудь дела к себе не позовет, видно, что-то выведать хочет.

Уловив нерешительность приглашенного, Али Гариб нарочито-грустно вздохнул:

— Аллах свидетель, брат мой... в горести ныне живем, в горести, постигшее повелителя нашего несчастье не есть ли и для нас с вами несчастье? Враги повелителя — и наши враги! — радуются, а друзья плачут горькими слезами, не так ли? И если так, то нам с вами, ближайшим друзьям султана, тем более нужно держать друг с другом постоянный совет во всех делах. Не так ли?.. Садитесь, садитесь-ка на коня, брат мой.

Ночная темнота уже накрыла город своей завесой. Тускло светились редкие каменные фонари на безлюдных улицах. Только в караван-сараях, расположенных на берегу речки, чувствовались приметы жизни: за стенами, во дворах еще слышались голоса.

Обширный дворец главного визиря за высоким, почти крепостным валом («Ничего себе... убогое пристанище», — усмехнулся про себя Абул Хасанак) находился на левом берегу Афшаны и являлся поистине средоточием дворцов наиважнейших столпов государства.

Нежно-голубая мраморная облицовка и верхних и нижних покоев дворца Али Гариба в ночной темноте, конечно, пропадала для глаз. Блики света изнутри отражались лишь в редких окнах, большинство же окон дворца были сгустками тьмы. «Как в запавших глазницах трупа», — подумалось Абул Хасануку.

Али Гариб, словно он и не высший сановник государства, семенил впереди Абул Хасанака, то и дело приговаривая: «Пожалуйста, мой дорогой, сюда вот, пожалуйста». Гостя вывели к дворцу. Перед ним распахнулись двери. Учтивые слуги, сложив руки на груди в знак почтения к хозяину и гостю, выстроились в коридоре и вдоль перил лестницы, которая вела наверх. Двустворчатую резную дверь в коридоре по правой стороне от лестницы распахнул перед Абул Хасанак сам хозяин. Абул Хасанак, войдя внутрь, обманулся в ожиданиях своих: маленькое помещенье с убогим скарбом вдоль стен, бязевыми занавесками в оконцах, на полу, на тонких нитяных паласах, были расстелены домотканые одеяльца и раскиданы простежки ватные подушки.

«Неужто все комнаты таковы в этом... пристанище?» Игра Али Гариба становилась интересной Абул Хасануку, страх уходил из души.

В середине комнаты расположили довольно большой стол на низких ножках и на славу заставили его яствами. В маленьких глиняных тарелках и блюдах — фисташки и миндаль, мед и патока, различные варенья,

в огромных, но тоже из простой глины блюдах — горы жареного мяса и дичи.

Абул Хасанак, не чинясь, пошел на почетное место, сел на одеяльце из грубо выделанной и покрашенной красной ткани. Скрестил ноги, устроился поудобней, еще раз оглядел комнату. Да, против Али Гариба, здесь принимающего важных гостей, не выдвинешь обвинений, вроде тех, что были выдвинуты четыре года назад против Ходжи Ахмада Майманди. Уж на что был могуч предшественник Али Гариба на посту главного визиря, уж на что широко был известен среди правоверных, а вот потерял осторожность, стал кичлив, колол глаза нажитым — праведно и неправедно — богатством, а... где он теперь, бывший главный визирь, всемогущий вельможа, богач, любитель красоты, как он себя называл?.. В уме и ловкости никому не уступал Ходжа Ахмад Майманди, дворец его соперничал в пышности с «Невестой неба», и гаремные красотки в красоте и пылкости тоже не уступали, по верным слухам, невольницам самого султана. Ходжа Ахмад Майманди любил показывать собранные им богатейшие коллекции украшений и оружия, на свадебных и прочих торжествах щедро бросался деньгами. И чем все кончилось? А тем, что убрали Ходжу Ахмада Майманди. Распалили на него гнев султана. Возбудили зависть к дворцам и замкам, сокровищницам и рабыням главного визиря. Раз бахвалится — значит, не боится... вас не боится, повелитель. Вот что нашептывали. Многие, кто завидовал, нашептывали, злословили, намекали. В том числе и он сам, Абул Хасанак. Да, и Абул Хасанак, и хитрый лис Али Гариб, и иные, кто целование подола халата у Майманди считал за честь для себя, — ой, как хитро использовали все они бахвальство «любителя красоты»! Обвинили его в том, что-де запустил он руку в казну султана, не иначе, — откуда же возьмутся такие богатства? Убили, как говорится, стрелой из его же колчана!

Пал Ходжа Ахмад Майманди. Вместо него появился новый главный визирь. Вот этот, Али Гариб. Хитрый лис, змея незаметная. Извлек для себя урок из судьбы Ходжи Ахмада Майманди... не то что он, легкомысленный Абул Хасанак, тоже бахвал, видать, не из последних. «Тоже люблю пыль в глаза пустить», — вежливо внимая извинениям хозяина насчет бедности дастархана, подумал о себе Абул Хасанак. О, сей малорослый пузан, человечек, кажущийся с первого взгляда немощ-

ным, будто муравей, захватил чуть ли не всю власть в государстве, правителей всех областей подчинил себе. А как дрожали и тряслись перед ним торговцы! Ни один иноземный купец не смел вступать в пределы Газны, не поднеся больших даров Али Гарибу.

Как удивительно! Малорослый пузан, муравей, а эдакое могущество! И на что устремлена эта сила, куда направлено могущество? На что и куда? Он, Хасанак, по крайней мере, чувствовал, что богатство старого лиса многократно превосходит богатства Ходжи Ахмада Майманди. Но вот увидел «бедность» Али Гариба и понял, что с Али Гарибом история Ходжи Ахмада Майманди не повторится. В петельку, подобную той, куда попал бахвал, бывший главный визирь, нынешний не попадет.

Занятый этими соображениями, гость, можно сказать, не заметил минутной отлучки хозяина.

Али Гариб появился с подносом, на котором стояли округлые глиняные чашечки. Ало-золотистое, цвета вечернего заката вино радужно вспыхнуло, когда хозяин, улыбаясь, поднес пиалку к свече в настенной нише. Любуясь игрой света, сладко причмокивая, Али Гариб сказал гостю:

— Это вино, друг мой, сорок лет спало в погребках. Сегодня, в честь вашего прихода, я велел открыть кувшин, разбудить напиток.

— Благодарю вас, почтеннейший. Это честь для меня, хотя... хотя... если не ошибаюсь... пить вино грех, так вы сами говорили не раз при повелителе нашем...

— Да простит нас, грешных, аллах... К тому же сегодня я так удручен, друг мой, узрев, как недуг мучает покровителя правоверных. Думаю, мы вправе хоть немного развеять свою печаль. Ну, выпьем за выздоровление нашего правителя. Пусть аллах вернет султану здорovie!

«Куда клонит сладкоречивый лис? Видно, есть у него некий коварный замысел!.. Будь осторожней, Абул Хасанак!» — сказал Хасанак сам себе.

Хотел отпить глоток вина, однако столь тонок и ароматен был напиток, что незаметно осушил всю чашу.

— Прекрасное вино, прекрасное, о достопочтенный... Поистине сорок лет не прошли для него даром: дьявол, толкающий нас ко греху, знает, чем можно столкнуть человека с пути...

Ах, Али Гариб, дьявол в образе пузана... Хитер ты, ох как хитер!.. Когда мы вместе с тобой, сладкоречивый

лис, пихали в бездну Ходжу Ахмада Майманди, думал ли я тогда, что именно ты, Али Гариб, станешь главным визирем султана? Нет. Иначе стал бы я вступать с тобой в сговор?.. Знал ли и ты, лис, что меч аллаха, покровитель правоверных полюбит меня, Абул Хасанака, больше, чем родного сына, приблизит меня так, как случилось?.. Ну да... случилось... Было так... пока Махмуд не впал в свой недуг. Султан ни одной вечеринки не проводил без Абул Хасанака, на всех пирах Абул Хасанак становился главным виночерпием. Своим красноречием, хвалебными словами, любезностями и скабресными мужскими шутками он веселил и повелителя, и столпов государства. Доверенный, приближенный к особе государя — таким его считали все. А теперь?

Абул Хасанак захмелел, но не настолько, чтоб утратить способность мыслить ясно и здраво... Да, он слишком понадеялся на благосклонность султана, уверовал в нее, тем самым слишком много врагов себе нажил. Как нерасчетливо вел он себя, будто не зная, что и султаны, самые могущественные, — смертны. И султан Махмуд не будет занимать престол вечно! Ничто, увы, ничто не вечно в этом брэнном мире! Все проходит, и все пройдет — бедные и нищие, султаны и шахи, и даже горы проходят.

Дьявол, замурованный в кувшине в течение сорока лет, выйдя на свободу, начал умело делать свое дело: сердце у Абул Хасанака запылало, кровь весело и отчаянно помчалась по жилам. Да и у главного визиря глаза заблестели, стали похожими на начищенные динары, а круглое лицо уподобилось налитому яблоку с красными прожилками.

И все же оба визиря никак не решались начать разговор всерьез.

Угощались. Услаждали себя янтарным вином и красноречивыми заверениями во взаимном уважении и даже в любви друг к другу.

Наконец Али Гариб, погладив яблочко-красные свои щеки, отважился подойти к главному, во имя чего он позвал к себе гостя:

— Нет сомнения, друг мой, никто в государстве нашем не дерзнет отказать выполнению волю повелителя. Воля сия священна для нас, не так ли? Вы знаете, брат мой, что держатель трона заявил, что наследником престола должен быть не старший его сын, эмир Масуд, а младший... — Али Гариб чуть было и не сказал того, что,

как говорится, поместилось у него на самом кончике языка — удержался, краешком глаза взглянул на возлежащего напротив Абул Хасанак да тут же и оторвал от лица гостя свой взгляд. Приумолк.

— Так, так, и дальше... что дальше, господин мой?

— Я почти все уже сказал, — состорожничал Али Гариб. — Мирза Мухаммад благочестивый юноша. Но я, грешный, опасаюсь эмира Масуда. Когда держатель трона объявил своим престолонаследником мирзу Мухаммада, мы с вами, взяв в руки Коран, поклялись в верности этому волеизъявлению государя, повелителя нашего, не так ли? Нет сомнения, что до эмира Масуда дошли сведения о нашей клятве!

Абул Хасанак широко раскрыл хмельные глаза, резко выпрямился над столом.

— Ваша цель? — спросил он вдруг прямо. — В чем смысл ваших слов? Скажите, не таясь, господин мой главный визирь!

— Смысл? Он, по-моему, ясен. Как ясно, надеюсь, что у меня нет никаких плохих намерений! — Али Гариб торопливо разлил вино в пиалушки (бокалы в доме давно забыты), и, когда наполнял пиалушки, короткие руки его подрагивали; несколько капель золотистого вина упало на белоснежную скатерть, оставив розовые пятна на ней.

— Вы молоды, дорогой мой, это счастливая пора... я же на своем веку столько бед навидался, да и борода вот посеребрилась, брат мой...

«Ну, и что дальше-то, дальше?.. — мысленно торопил Али Гариба Абул Хасанак. — Открывайся, открывайся, старый лис!»

— Если я, грешный, пригласил вас в свое бедное, убогое пристанище... поделиться решил тяготами, лежащими на душе моей... то лишь потому я это сделал, что почувствовал... меч над нашими головами. Понимаете? Над нашими... этот меч висит. И над моей и над вашей головой! — неожиданно Али Гариб прослезился. — Еще раз, брат мой, повторяю: веление султана, тени аллаха, покровителя правоверных, для нас свято, не так ли? Но... эмир Масуд! Коль речь пойдет о престоле, останвится ли он перед велением отца, сей отпрыск?..

Абул Хасанак со стуком поставил пиалу на стол. Вина не допил. Погладил всей пятерней подкрашенные усы, бороду. На раскрасневшемся от вина красивом лице его, в больших глазах с пушистыми, по-женски длинными рес-

пицами появилось выражение твердости, решительности.

— Какие бы трудности ни пали на нас, покорный ваш слуга не изменит повелителю!

— Хвала, хвала вам, брат мой! — Али Гариб приложил к груди ладони. — А эмир Масуд...

— Воля родителя — воля аллаха! Ежели победоносный наш султан недоволен сыном, то и всевышний недоволен им! Посему... не бояться эмира Масуда, но мечи точить, мечи, господин мой главный визирь!

— Верно сказано, дорогой мой. Точить мечи — не иначе... при том, что все военачальники держат сторону эмира Масуда... не иначе...

— Нет, не все! — Абул Хасанак прервал хозяина. Глаза гостя метали искры гнева. «Напугать, напугать пузана!» — Может, среди военачальников и есть заговоры? Может, есть и такие негодяи, которые роют яму султану, повелителю нашему, когда он еще не ушел из мира сего? — Абул Хасанак, все более загораясь от своих слов, положил правую руку на рукоять сабли. Буйство овладевало красавцем. — А может, во главе заговора стоит сам господин главный визирь? А? Но тогда... знайте тогда... если кто-то роет яму повелителю, я сделаю так, что сам он свалится в ту яму! — и Абул Хасанак стал приподниматься.

Но встать не успел.

Али Гариб, малорослый пузан, оказался куда проворней. Он вскочил на ноги. Отбежал от стола. Закричал яростно:

— Прочь руку от сабли, глупец! Или я зову нукеров! Закую в цепи и сброшу в подвал, где и сгниешь.

Абул Хасанак растерялся. Заморгал часто-часто. Кончики его вздыбленных усов задрожали. Игра могла зайти далеко, слишком далеко. Он знал, что главный визирь неподражаем в интриганстве и мошенничестве, но в глубине души считал Али Гариба трусом. Теперь вот почувствовал по-настоящему силу духа этого человека. Да, оказывается, мужа решительного и храброго, не только хитрого. Хотел поугагать его, а напугался сам.

Между тем Али Гариб, увидев, как рука гостя поневоле опустилась в бессилии, а глаза потупились, снова подошел к столу, уселся на свое место; его голос снова, будто ничего и не произошло, зазвучал вкрадчиво-спокойно:

— Я, раб аллаха, считаю вас братом своим, доверяю, душу раскрываю перед вами.

— О, простите меня... по молодости и глупости я... не подумал...

— Когда над головой висит меч, человек должен руководствоваться не чувствами, но разумными расчетами... Брат мой, чего много у нас с вами — так это врагов. Общих врагов, понимаете?.. Раз так, не разумно ли будет нам быть вместе? Когда у вас в руках победоносный меч, когда вы в силе и славе и крепко держите в руках власть, тогда враги кланяются, улыбаются вам и вас боятся. Мы с вами были мечами в руках покровителя правоверных. Так? Так. А новый власть держащий? Будет ли он носить старые мечи или, напротив, выбросит их, заменит новыми, теми, что расчищали ему путь к власти? Если наш султан оставит сей бранный мир, дабы озарить ликом своим мир извечный, божественный, то мы с вами в тот же день превратимся в старые мечи. Мы сами, наши семьи, дети, род ваш и мой род, не так ли? Опасение это заставило меня излить вам душу, рассказать, о чем болит сердце... а вы, брат, не захотели дослушать. Разумно ли?

— Простите меня, досточтимый.— Абул Хасанак протрезвел полностью.

«О святые пророки! Этот невзрачный, рыхлый пузан, эта, с первого-то взгляда, мямля толстобрюхая, он высказал ведь все то, что вот уже несколько месяцев терзает и мою душу, отняло у меня сон и покой. И как ясно высказал!.. И ведь верно: пропадешь в одиночку, станешь ржавой саблей — бросят тебя в кучу хлама, и все... А ведь недолго протянет султан Махмуд, недолго...» — подумал Абул Хасанак, тут же и уловив новость, которую сообщил хозяин дома.

— Знаете ли вы, что прибыл гонец от Абул Вафо, посланного на поиски того самого... обуянного гордыней лекаря Ибн Сины?

— Гонец? Когда прибыл? И какую же весть он доставил? Добрую, приятную?

— Добрую, приятную? — главный визирь облизнул маленький, с наперсток, рот, улыбнулся двусмысленно.— Братец мой! Да приди сюда добрая весть, стал бы я вас приглашать за этот дастархан дружбы и единения сил? К великому сожалению, нечестивый лекарь, прослышав про Абул Вафо, сбежал! Да, попросту сбежал из Хамадана, как прежде удрал из Гургана, лишь бы не служить повелителю.

— Куда же он сбежал? — спросил Абул Хасанак, сам тотчас почувствовав, сколь неумен вопрос.

— Это уж у него попробуйте спросить, брат мой!

Абул Хасанак проглотил насмешку. Не без искреннего удивления произнес:

— Поистине трудно познать людей... Повелитель обещал дать лекарю столько золота, сколько весит этот лекарь... Не слишком ли высокомерен целитель?

— Хватит вам, брат мой... Давайте-ка подумаем о нашем с вами положении. Вы же знаете, чего требует от нас держатель трона. Если мы не доставим в Газну за одну-две недели гордеца Ибн Сину, то... лишимся своих голов! Так? Так. Любезный мой, именно так.

Абул Хасанак зримо представил себе недавний разговор в опочивальне султана, вновь в ушах прозвучал приглушенный крик повелителя: «Не хитри, Абул Хасанак, не хитри, я не поверю ни единому лживому слову!.. Или за неделю, откуда бы ни было, ты доставишь сюда Ибн Сину, или я тебя... прокляну!»

А он-то, наивный, бахвалился своей близостью к султану, он, после оленьей охоты, ожидал высоких чинов, мечтал стать главным визирем вместо этого старого хитреца Али Гариба!

Абул Хасанак протянул Али Гарибу пиалу. Но хозяин не спешил наполнить чашу вином. Мелкими шажками заспешил к двери, плотно притворил ее.

— Прежде чем нам выпить вина, любезный, вникните в мои замыслы.

Порывшись в боковом кармане халата, Али Гариб достал оттуда бумагу, сложенную четверо:

— Вот послание, которое прислал этот незадачливый посол, Рыжий. Читаю: «День и ночь мы молимся и просим всевышнего о здоровье благословенного нашего повелителя правоверных, славы нашего государства, красоты престола...» Ну, и так далее и так далее.— Главный визирь поднес бумагу к глазам, что-то читая про себя.— Да, вот! — сказал он, найдя нужное место.— Вот... «Да станет известным вам, опоре государства, вам, светлому разуму престола, достопочтенному главному визирю, что ваш покорный слуга, потеряв всякие надежды, отбыл из Исфахана в Тегинабад. Прибыв сюда, ваш покорный слуга стал свидетелем странного происшествия. На городском базаре некое весьма почитаемое окружающими лицо именовало себя великим целителем, шейхом-ур-раисом Ибн Синой. Сей врачеватель вылечил многих боль-

ных и удостоился их благодарностей... я велел доставить этого врачевателя в свой лагерь. Но, к большому огорчению, он в ту же ночь исчез неизвестно куда. Ваш покорный слуга разослал во все стороны дозорных и соглядатаев; через некоторое время выяснилось, что лицо, именуемое себя Абу Али Ибн Сина, направилось в сторону Газны... я сообщаю обо всем этом вам, нашему покровителю и наставнику, с той целью, что, возможно, вы наведете справки в благословенной Газне, не явился ли там врачеватель, именующий себя... Слуга ваш, боясь гнева нашего повелителя, приютился возле крепости Тегинабад, и с надеждой смотрит на дорогу, и ожидает ваших добрых советов. С искренними пожеланиями долгой вам жизни ваш покорный слуга...» Ну и так далее и так далее. Ну, уяснили, мой дорогой?

Едва ворочая языком, Абул Хасанак пролепетал:

— Вы собираетесь искать этого лжелекаря, который выдает себя за Ибн Сину?

— Искать? Зачем? То «лицо» давно найдено. Оно за крепкими запорами, в моей темнице.

Абул Хасанак вытаращил красивые свои глаза:

— И... таким образом... вы хотите представить этого лжеца повелителю?

— Нет! С великим Ибн Синой так поступать нельзя. Из-под замка к султану? Что вы, любезный...

— Так как же намерены вы поступить?

— Отправить врачевателя в Тегинабад, вернуть его этому безмозглому Рыжему, Абул Вафо. А потом...

— Ну, ну!..

— Ему устроят там прием с соответствующими его славе почестями. И — повезут сюда...

— О аллах!.. Ваша цель... превратить фальшивого Ибн Сину в настоящего Ибн Сину! Эта ложь...

Главный визирь, не сдержав гнева, выплеснул вино из чаши, которую держал в руке, на стену.

— Если это ложь, то вы найдете истинного Ибн Сину! А истинного Ибн Сину вам не найти, и придется положить свою... немудрую голову под меч... вашего повелителя, который столь возлюбил вас... брат мой.

Абул Хасанак дрожащими руками схватился за голову. Согнувшись, опустился на колени перед Али Гарибом:

— Простите меня, благодетель... Простите своего... неразумного брата.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Шахвани вконец извелся в заточении. Беспреданно ходил он из угла в угол по своей сырой и мрачной темнице, а когда в изнеможении падал на циновку, закрывал глаза, то вскакивал тут же; крысы так обнаглели, что прыгали прямо на лежащего человека. И день, проведенный рядом с наглыми тварями, казался вечностью, а на четвертый день заточения Шахвани окончательно потерял надежду. Ему оставалось покаянно плакать во время молитв и ругательски ругать себя.

«Как посмел ты именовать себя Абу Али, кто подсказал тебе, о несчастный, встать на этот ложный путь? Никто? Это сам ты решился?.. Ну, так тебе и надо, глупец с ишачьими мозгами!» Доставалось, конечно, и неразумному ученику, болтливому пьянчужке. От проклятий Шахвани переходил к униженным просьбам всевышнему — простить, простить его грехи! — но молиться в чистоте раскаянья мешал одноглазый дервиш, да, часто, очень часто грезилось, что коварный совратитель стоит в лохмотьях в самом темном углу сырого подвала, стоит и смеется над ним. Стоит, уставился на него, Шилкима, Шахвани, единственным своим оком и бормочет: «Эй, лжец, обманщик, запомни: плохое, что ты сотворил мне, вернется к тебе. Стори-цей...»

Четвертый день заключения... Невыносимо... Ум, кажется, помутился.

Шахвани безразлично лежал на каменном, словно лед холодном полу. То ли почудилось ему, то ли и впрямь послышались отдаленные шаги. Мгновение спустя лязгнули дверные засовы. «О всевышний! — прошептал Шахвани, дрожа от озноба и страха. — Защити грешного раба своего, всевышний!»

Тяжелая дверь с долгим скрипом, будто кому-то жалуюсь, отворилась одной своей створкой. На пороге встал высокий нукер, — свет от свечи, которую он держал на уровне плеча, падал на медный шлем и саблю. За рослым воином едва различим полный человек, одетый в парчовый халат. Распахнулась и вторая створка, высокий нукер отступил назад и дал дорогу парчовому халату. Владелец халата, сложив руки на круглом животе, произнес почтительно:

— Ассалам алейкум, великий целитель! И простите нас, ради аллаха... Я — главный визирь Али Гариб.

Толстяк мелкими шажками подошел поближе к Шахвани, отвесил поклон.

«Визирь Али Гариб? Опора повелителя Газны?»

— ...Прошу извинить нас, о шейх-ур-раис,— продолжал визирь, не снимая ладоней своих с живота.— Ох, эти негодники, эти скоты нукеры. Искусные мастера рубить головы, что там говорить, а вот насчет уважения, понимания людей — на то у них не хватает ума. Вместо того чтобы сообразить, кто перед ними, оказать вам почет и уважение... соответственно вашим знаниям, вашей славе, они — о негодники и скоты! — бросили вас в холодную темницу. А мы, погруженные в дела государства, так и оставались в неведении о сей прискорбной ошибке...

Несчастный «целитель», только что готовивший себя к переходу в иной мир, моливший аллаха о снисхождении, о милости,— как он мог ожидать, что его мольбы, так быстро дойдя до всевышнего, обернутся столь неожиданным и, кажется, благотворным поворотом судьбы? «О создатель! Неужто вправду говорит все это старый лис с глазами, похожими на блестящие бусинки? Неужто старый шакал, слыvuший у всех правоверных за непревзойденного мошенника, и впрямь верит, что я действительно Ибн Сина?»

— Хвала вам, великий целитель! Покровитель правоверных, десница ислама, желая видеть вас у себя, посла за послом отправлял в Хамадан и Исфакан. Дабы вы посетили нас... Вы же, мудрейший из мудрых, сами догадались, чего хочет султан, солнце нашего неба, и своими ногами изволили пришагать в благословенную Газну...

По телу Шахвани поползли мурашки: «Знает! Все знает обо мне, шакал!»

— А посол... сиятельного султана... уже вернулся из Хамадана, господин мой?

Заметил плохо скрытую ядовитую усмешку на лице главного визиря, выругался про себя: «Скотина безмозглая, зачем ты спрашиваешь про эдакое, осел?»

— Посол?.. Наш посол сейчас в Тегинабаде. Не нашел он вас, достопочтенный, ни в Хамадане, ни в Исфакане. Отправился в Тегинабад, не зная, как же ему поступить!

Шахвани облегченно вздохнул, уже смелей поглядел на великого визиря. И двусмысленная улыбка на губах Али Гариба исчезла.

— Солнце нашего неба, властитель газнийского трона, десница ислама... Султану желательно видеть вас,

великий учитель. Но... не будет ли угодно вам выслушать совет, мавляна?

— Я к вашим услугам, господин.

— У вашего слуги нет иной цели, кроме как помочь вам, мавляна... Что вы скажете, если мы вас сегодня же отвезем в Тегинабад, да, в тот самый город, где, не зная, как ему быть, сидит наш посол... и вы прибудете туда, а через неделю или две возвратитесь — уже при знаках почета, соответственно вашему имени, — в светлейшую Газну. Чтобы мы, ничтожные слуги, могли вас и тут встретить со всей пышностью и громкостью и лишь после такой встречи представить повелителю... Так будет лучше — и по правилам придворных церемоний, и вообще лучше... поверьте мне...

«Этот замысел разумен... Или тут скрыта ловушка, придуманная старой змеей?» Шахвани украдкой бросил взгляд исподлобья на визиря; тот стоял, учтиво склонив голову, и глаз не показывал. Опустил голову и вновь рожденный «Ибн Сина».

— Желание главного визиря для меня, бедного лекаря, обязательно. Повторяю, я к вашим услугам, господин мой.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В последние дни своего заточения Бируни почувствовал себя немного лучше. Жар спал, тревога и боль будто утикли. Чувствовался только упадок сил, немощь телесная...

Время сейчас, видно, близилось к полудню: из отверстия в потолке свет падал почти перпендикулярно; склеп освещался по всем сторонам почти равномерно, хотя грубые камни стен освещались совсем слабо.

Бируни взял один из кумганов, стоявших у изголовья, наклонил его. Сполоснул лицо и намочил твердую ячменную лепешку, оставленную вчера надзирателем. Съел кусочек. Почувствовал себя чуть бодрей. Привстал с лужа, хотел пройтись по узкой темнице. Тут, наверху, у отверстия в потолке, что-то забилося, затрепетало. Вспорхнула с крыши какая-то птица, мелькнула над отверстием, и какой-то камушек, величиной с орех, сорвался сверху, упал, угодил — надо ж так! — прямо в кумган с водой. Вода всколыхнулась, и из носика кумгана пролилась струйкой вода. Неожиданно у Бируни забилося

сердце. Он всматривался в кумган, в капли воды, пролитые из носика. Потом торопливо встал, быстро, откуда силы взялись, обошел узенькую, будто птичья, клетку, подбирая с полу мелкие камешки.

Сел на колени, стал осторожно бросать их по одному в широкое горло кумгана.

И при каждом броске вытекало из носика кумгана по нескольку капель воды. Если бросал камешек чуть побольше, то и капель выливалось больше.

Немудрено, а вот поди ж ты... Почему простая, но ясная, как солнце, мысль эта раньше не пришла ему в голову?

Бируни несколько раз обошел свою тесную обитель — волновался, дышал тяжело и часто, будто нашел ключ от давно занимавшей его ум загадки!

Так, ясно: при погружении какого-либо тела в сосуд с жидкостью определенное количество жидкости выльется из сосуда... Это явление известно, изучено еще в древности... В Сиракузах некогда жил мудрец, который установил: если тело, погруженное в воду, тяжелей вытесненной воды, оно тонет; если тело равно весу вытесненной воды, тогда оно должно плавать. Это он, Бируни, знает тоже. И не в подтверждение мысли, известной Архимеду, упал из отверстия его тюрьмы столь важный камень. Для решения иной задачи, которая давно крутилась в мозгу, он важен, этот благословенный камешек. Вот уже лет пятнадцать Бируни создает книгу о драгоценных минералах. Он собрал много научных сведений, а также легенд о редкостных самородках. В легендах могли быть зерна истины. Как и в историях о несчастьях, которые постигали людей в связи с драгоценными камнями... Эта книга, задуманная и как научный труд, и как назидание для человеков, должна была получить название «Аль Хазини» — «Сокровище».

Самая трудная, научно трудная, конечно, работа — определить строение редких металлов и минералов, их состав, выявить степень твердости и мягкости. И еще: найти метод определения их удельного веса! А для этого нужно было изобрести что-то оригинальное, какое-то ныне не существующее приспособление. Уже давно Бируни думал над таким прибором, иногда ему казалось, что мысленно он почти изобрел его. Мысленно... а надо сделать его въяве, додумать практическое устройство. И не раз на практике-то и выяснялось, что до создания прибора еще далеко: трудности, которые необходимо бы-

ло разрешить и преодолеть, одними теоретическими соображениями не преодолевались.

Но вот теперь!.. Задача прояснилась до зримости! Он возьмет или сделает сосуд, похожий на этот кумган. Внизу сосуд будет широковыпуклым, а по мере приближения к верху — равномерно утоньшаться. А заканчиваться — точно промеренной, совсем тоненькой шейкой, отведенной чуть в сторону, ну вроде бы кумганного носика. И тогда: если бросить в сосуд, рядом с шейкой, зерно пшена, то и воды из шейки должно вылиться ровно столько, сколько весит зерно... Теперь: к пояску носика-шейки можно припаять блюдце с ладонь величиной, а на блюдце установить весы. Конечно, очень точные и чувствительные, настолько, чтоб даже одну десятую часть мискала¹ они могли определить... А единицей измерения он возьмет султан металлов — золото, одну десятую мискала золота... Да, для такой цели нет металла лучше, чем неподвластное ржавчине золото! По отношению к одной десятой мискала золота и надо будет определять удельный вес других металлов и камней.

Бируни все ходил и ходил по темнице из угла в угол; от слабости не осталось вроде бы и следа; мысли становились все ясней, воображение кипело, бурлило, как вода в разогретом до жара котле!

О, интересная это загадка — жизнь! Вот благодаря случайному камешку, упавшему с крыши в тюремное помещение, разрешил он задачу, многие годы не дававшую покоя! Так бывало с ним, бывало... Несколько лет назад в Индии, вблизи города Нанда, взбирался он как-то на высокую гору, и тогда ему выпал такой же случай: будто что-то озарило, ударило, голова прояснилась разом — и он нашел решение задачи, которая с юных лет не давала покоя.

«Ну, как это произошло, Бируни, припомни-ка...»

Бируни остановился, прислонился к стене, сомкнул глаза — и вдруг сразу предстала гора Нанда, та самая, что одарила его открытием, подтвердила его многолетнюю тайную догадку!.. Гору эту со всех четырех сторон окружала местность ровная-ровная, настолько ровная, что, если бы можно было по равнине этой бросить орех, он катился бы без всякого торможения чуть ли не вечно, с одинаковой скоростью, в любую сторону.

Когда Бируни решил подняться на вершину горы и

¹ М и с к а л — единица меры, равная 4,5 грамма.

пошел к ее подножию, он ни о чем таком и не думал: привлекала вершина и еще одно-единственное дерево в стороне от горы, на самой линии горизонта. Он стал медленно взбираться на гору и, когда поднялся примерно на двести шагов по склону, остановился, чтобы перевести дыхание. Стал искать глазами дерево...

Вот как!.. Дерево, прежде стоявшее на линии горизонта, теперь перебралось на линию, пересекающую подножие горы, а небосклон отступил куда-то далеко от прежнего своего положения. Это явление не было новостью для Бируни, оно легко объяснялось. Поразительно было воочию убедиться: чем выше поднимаешься вверх, тем открываешь взору все новые и новые горизонты. И все отступал и отступал небосклон. Он всматривался в это движение линий, и вдруг что-то вспыхнуло в сознании, и та сложная задача, что мучила с давних юношеских лет, осветилась по-новому. Темнота рассеялась, улетучилась, стало ясно, как становится ясным день: эта земля, охваченная небосводом, не гладкая, будто стол, как думают многие, нет, это не стол!

Бируни, еще сильнее взволнованный тогда, чем сегодня, от неожиданного озарения, засек пару других чинар на горизонте и снова стал взбираться наверх... Нет, он не ошибся: горизонт отодвинулся еще дальше, а пара чинар приблизилась к горе.

И чем выше в тот день взбирался Бируни в гору, тем дальше уходил, тем шире распахивался перед ним горизонт. Словно приподнимался постепенно все больше занавес, и догадка его юношеских лет всколыхнулась с новой силой.

Почему солнце утром всходит, а вечером заходит? Почему лунный диск каждые пятнадцать дней и ночей обновляется? Почему меняется положение звезд в зависимости от времени года — летом звезды находятся на одной стороне неба, а зимой на другой, — почему?

Бируни всю жизнь искал ответы на такие вопросы. Бессонными ночами следил он за звездами в обсерваториях Индии. До боли в глазах вчитывался в рукописи арабских, индийских, греческих ученых. Догадка, горевшая ровно слабенькая свеча в душе, тревожила его много лет и в Индии, но лишь подъем на гору Нанда, одинокое дерево, подобно сегодняшнему камешку, прояснили все.

В тот день Бируни, не откладывая, установил на склоне Нанды шатер и целую неделю занимался изме-

рениями. Он измерил горизонт, каким он виделся у подножия, потом — вновь открывавшиеся, по мере подъема к вершине, линии. Умножая полученные числа на высоту горы, он фиксировал различные углы. Постепенно это дало возможность установить радиус Земли и подтвердить с помощью чисел, что Земля не является плоскостью, ровной и гладкой как стол.

Эти вычисления странным образом соединились в душе Бируни с одной из чудесных легенд индусов о создании Земли. До образования Вселенной, гласила легенда, не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Была только тьма, а потом из нее появилась вода, а вслед за водой появился огонь, а из огня образовалось яйцо, оно плавало на больших волнах. Яйцо, то есть кривые поверхности!.. Ну, а из яйца родился бог Брахма. Бог пробил поверхность яйца и одну половинку сделал небом, другую — твердью земной, и потому индийцы называют Вселенную «яйцом Брахмы».

Да, да, и эта легенда, услышанная им в Индии от старцев-предсказателей, тоже послужила созданию его труда о радиусе Земли. Так вот и сегодняшний камешек из отверстия в потолке!.. Он, Бируни, создаст прибор... хотя, конечно, найденное им сегодня пока что лишь зреет в голове, нужно еще ухаживать за этим ростком мысли, взлелеять этот росток, чтобы получить настоящие всходы.

О горькая его судьба! Неужели труды, начатые им, написанные и еще лишь задуманные, останутся незавершенными? А он так и помрет здесь, в этом холодном узком склепе?

Стой! Что это? Отпирают дверь, или это ему показалось?

Вот загремели запоры, и одна половина тяжелой, обитой железом двери медленно отворилась. На пороге — два воина с пиками в руках, а за ними... какой-то беленький, маленький старец в золототканом халате и в серебрястой чалме.

То был достопочтенный Абу Наср Мишкан — глава дивана. Держа в руках грамоту, скрученную до того сильно, что она стала похожей на флейту-най, глава государственной канцелярии двинулся к Бируни, который без сил откинулся к стене.

— Высокочтимый мавляна Абу Райхан! — не без торжественности заговорил Абу Наср Мишкан и, неожиданно прослезившись, развернул грамоту-най. — Великодушные покровителя правоверных. поистине безгранично.

И вот я... по высочайшему велению предстал перед вами, чтобы... вот, видите вы не что иное, как грамоту об освобождении...— И глава дивана поднес грамоту к глазам Бируни.

Но раньше, чем арабскую вязь указа, глаза Бируни узрели в раскрытую дверь горы; у их подножий на ярко-зеленых холмах пышно цвели заросли миндаля — нежные бледно-розовые облака, и плыли они, казалось, по самой синеве неба, поднимаясь вверх от земли. Неужели это правда? Неужели он сможет бродить по зеленым холмам, вдоволь дышать нежным запахом миндаля, любоваться высотой неба, безоглядностью горизонтов?

Господин Абу Наср Мишкан догадался, какие чувства овладели Бируни; просветлев лицом, радостно воскликнул:

— Дай аллах здоровья почтенной Хатли-бегим! Пока она, великодушная и милосердная, жива и здорова, все встанет на свое место, мавляна, все будет хорошо.

Бируни оторвал взор от далей:

— Хатли-бегим, говорите?

— Она, она, мавляна! Именно она посоветовала нашему повелителю направить вас к великому целителю. Ее добрый совет пришелся по душе.

— Меня хотят послать к Ибн Сине?

— Отгадали, мавляна... Вы же друг почтенного Ибн Сины! На вашу просьбу он не сможет ответить отказом... Поэтому покровитель правоверных одобрил совет Хатли-бегим!

Бируни молчал. Глава дивана, не дожидаясь ответа, крикнул воинам, оцепенело стоявшим у дверей:

— Вы что — вкопанные столбы? Ну-ка, подойдите поближе, поддержите под руки мавляну!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Эмир Масуд проснулся к концу ночи — во рту совсем пересохло. В комнате — он огляделся — большинство свечей сгорело, несколько — чадило, едва освещая следы вечернего пира. Почти на ощупь отыскал эмир на низком столике у изголовья пиалу; пальцы, брезгливо отстраняясь от остатков кушаний, нашли кувшин с шербе-том. Выпил. Почувствовал облегчение. Косо взглянул на постель, на разбросанные шелковые одеяла; аккуратно застеленная на ночь хозяйкой гарема, эта пустая постель

напоминала собой поле битвы. «Проигранной»,— подумал эмир. Жалобно причитая, будто ягненок, которого волокут на смерть, красотка, однако, боролась с ним чуть ли не до рассвета. Так он и остался, можно сказать, без победы...

Эту пугливую молоденькую красавицу со сверкающими черными глазами (недаром имя ей было Карагез — Черноокая) прислал эмиру в подарок правитель Бухары Алитегин. Цель у бухарца была ясная: этим подарком он хотел спасти любимую младшую свою жену и дочь, которых султан Махмуд взял в плен во время похода на Бухару. Задобрить хотел бухарец Махмудова сына — вот, мол, какие есть в Бухаре красотки, зачем отцу обижать Алитегина? Масуд это понял... Но хитрая Карагез, ее слезы и стенания!.. Жеребенок необъезженный!.. Масуд почувствовал и досаду, и приступ накатившего желания — битва должна быть продолжена! И он сунул руку под подушку: где там трещотка, где хозяйка гарема? Но тут за дверью послышался невнятный шум, а потом кто-то довольно нетерпеливо постучал в дверь.

— Кто это смеет?!

— Простите, мой эмир! Это я, Абу Тахир!.. Гонец из благословенной Газны прибыл!

— Абу Тахир? — Эмир Масуд сбросил ноги с постели. Абу Тахир, его близкий человек, военачальник доверенный... «Неужели... неужели свершилось?»

Вот уже больше месяца прошло, как из Газны тайно прибыл сюда Абул Вафо, Рыжий, и уехал обратно, тоже тайно, в тревоге и отчаянии — без Ибн Сины. С тех пор эмир все ждет, ждет, ждет из Газны печальную весть. («О аллах великодушный! Прости грешного раба своего!») Ждет, ночами не спит, не может всецело отдаться утехам гаремным.

Абу Тахир низко поклонился явившемуся из «комнаты радости» эмиру.

— Ну, с какой вестью?.. Благословенный родитель...

— Слава всевышнему, досточтимый родитель ваш жив и здоров!..

«О создатель!.. Зачем же тогда новый гонец?.. Не доверяет мне, проверяет меня».

— Вчера был гонец! Сегодня снова гонец!.. Где высокое послание?

— Гонец не вручил нам его... Если б вручил, беспокоил бы я сон наследника?

— Ладно, ступай, сейчас я выйду.

Ах, как было хорошо в рассветном саду, под звездами, густо рассыпанными по небу, хотя уже тускнеющими!

Эмир вздохнул полной грудью.

Яблони стояли в пышном цвету. Слабо покачивались стройные кипарисы вдоль главной дорожки. В ароматах сада различались горьковатые запахи далеких степных трав.

Эмир спустился на дорогу, которая соединяла гарем и дворец. Пошел неторопливо, жадно дыша, прислушиваясь к боли, непонятно откуда взявшейся в левой половине груди. Вино? Гаремные утехы без меры?

Вспомнилась неприятная история, происшедшая тоже весной в прошлом году в Герате. Он тогда заперся в гареме, развлекался с новой наложницей. Победу за победой одерживал... а в середине ночи тот же Абу Тахир постучался в дверь. Тогда, вот как нынче, прискакал из Газны гонец, не от отца, а от Абу Насра Мишкана, главы государственной канцелярии, продли, аллах, жизнь наставнику. В письме наставника было предупреждение: достопочтенный родитель, султан Махмуд, знает, мол, о тайных «комнатах радости» в гареме эмира Масуда, о том, что стены там расписаны непристойными изображениями любовных утех; разгневанный покровитель ислама, ревнитель благочестия, готов вот-вот отправить к сыну в Герат мушриф — личного гонца с особыми полномочиями.

Абу Наср Мишкан советовал немедленно уничтожить изображения... Пришлось так и сделать.

Молодому, горячему эмиру возвели целый «дом радости» — в глухом уголке сада, — целый дом из красного мрамора, хитроумное сооружение, где всегда царил прохлада. (На крыше устроили водоем, и чистая горная вода наполняла его, а оттуда по узким глиняным трубам, уложенным в стены, текла вниз, отдавая дому прохладе.) Кроме эмира, ну и девушек, конечно, им отобранных, никто не мог сунуть в дом носа. А росписи... какие соблазнительные, возбуждающие были росписи!.. За одну-единственную ночь их стерли, оштукатурили все стены.

И своевременно, потому как уже на следующий день султанский мушриф прибыл в Герат. Грубиян, наделенный особой властью, всем своим видом показывал, что явился судить и карать, что отец не считается с сыном, хочет унижить его!..

Эмиру стало вдруг душно, он распахнул верх халата, подставил грудь свежему утреннему ветру.

...Сам-то благословенный родитель, хоть и переступил рубеж возраста пророка, не прочь позабавиться с красотками. В его «Невесте неба» не одни поэты да ученые — там и молодые певцы, и танцовщицы неотразимой притягательности. В султанском гареме красавицы отовсюду — из Индии, Мавераннахра, Хорасана, Ирака... Все себе, все себе! А ему, своему родному сыну, престолонаследнику, запрещено все. Если он, эмир Масуд, и построил «дом радости», то ведь по примеру благословенного родителя, у которого есть такие уединенные уголки, что и сравнивать с жалким домом наследника не приходится, и бесстыдных росписей там во сто крат больше, и статуэток обнаженных женщин и мужчин. Даже перевалив возраст пророка, султан Махмуд не совсем остудил кровь, он-то развлекается, а вот наследника своего отправляет на восток, подальше от Газны, от трона. Конечно, эмир Масуд и сам мечтает о битвах и победах, он хочет быть и слыть победоносным, как и родитель. И потому сам пошел в поход на Исфахан, который жаждал отпасть от власти могущественной Газны. Пошел — и победил. И стоит теперь в Исфахане. А мысленно видит себя в Багдаде — центре всего мира правоверных, а еще в Византии — Руме — центре мира неверных... Но благословенный родитель то и дело призывает сына к ратным походам. Хорошо это? И для чего это? Почему он скрывает свою тяжелую болезнь от него, своего наследника? Тайно от сына шлет посланника за посланником к врачу-лечителю Ибн Сине — тайно! Что за отгадка у этой загадки?.. По всему видно, что старшего сына, эмира Масуда, султан Махмуд хочет лишиться трона в Газне, предпочтя ему баловня своего, растяпу Мухаммада.

Может быть, новый гонец доставил указ как раз об этом?

Эмир подошел к двухъярусному дворцу. Голубой мрамор не мог скрыть невзрачности строения. Такой дворец не приличествовал ему, нет, он был вроде обиталищ правителей двух соседних городов — Исфахана и Хамадана, — дворцов, где сидели Шамс-уд-Давля да Ала-уд-Давля, вечные склочники, боровшиеся друг против друга. Он, Масуд, не может быть в их ряду!..

Ощущение чуждости и бедности не оставляло эмира и внутри дворца. Коридоры казались слишком узкими и слабоосвещенными. Наверху, в зале заседаний, было

светло, но чадно от свечей; голубоватая мозаика на стенах, цветастые паласы на полу не делали зал ни уютным, ни величественным.

Отдав приказ служителю, чтоб Абу Тахир явился сюда вместе с гонцом, эмир встал у окна, стал глядеть вдаль, на город.

Площадь перед дворцом была пуста. Стражники маячили на площадках башен, словно стягивающих зубчатую крепостную стену. За ней и за речкой Зарринруд смутно рисовался в предрассветной мгле город. На узких улицах лежали пятна густых теней; у караван-сараев на майданах слабо светились костры. Эмир, известный остротой своего зрения, разглядел — в свете костров преувеличенные — фигуры нищих.

Неприятная картина! И зловещая, как ему показалось. Огонь и лохмотья! В городе витает смерть, — Масуд раздраженно отвернулся от окна: да, какая-то страшная болезнь переходит с одной улицы на другую, из дома в дом, почему и ворота дворца, и въездные ворота города, все до единого, наглухо закрыты... Ну зачем, зачем он свершил поход в этот дрянной город? Зачем оставил благословенную Газну, пошел в страну этих упрямых персов? Когда и за какие грехи достопочтенный родитель стал ненавидеть его?

Лет десять назад, во время похода в Индию, султан ни на шаг от себя не отпускал сына. Он доверял сыну отборные войска. Радовался бесстрашию эмира в жестких сечах, и когда сын яростно-неудержимо, как лев, стремительно, как беркут, атаковал врага, отец со слезами гордости и счастья на глазах благословлял его. А после битвы на пышных пиршествах сравнивал сына с дедом — самим эмиром Сабуктегином!

А охота среди густых лесных зарослей? Погонщики барабанным грохотом выгоняли из чащобы на открытую площадку тигров и барсов, султан, окруженный военачальниками, восседал на царственном слоне с боевым луком на изготовку... Однажды... Эмир Масуд припомнил, как во время одной такой охоты на Инде выскочили из запутанных кустов два тигра — не там, где их ждали. Дождь стрел обрушился на них, пока они промчались с диким ревом навстречу людям на лошадях — группе военачальников, окруживших султана. Свирепые, неостановимые! Эмир Масуд впервые в жизни почувствовал ужас, который вызывает у человека раненый тигр!

Слон, на котором восседал султан, поднял хобот, пря-

мой, будто карнай, заревел от страха и, неуклюже подпрыгивая, пустился бежать. Всадники кинулись прочь, как рассыпанное просо, — кто-то из них вылетел из седла, словно шапка, сбитая ветром. Султан Махмуд, едва удерживаясь в кресле на спине слона, отчаянно пытался схватиться за ускользавшую рукоять сабли. Один из тигров, сделав огромный прыжок, достиг слона, повис над его хвостом. Другой раненый тигр промахнулся, упал наземь на все четыре лапы.

Эмир Масуд бездумно кинул в сторону султана знаменитого своего черного скакуна, — тот ржал и вставал на дыбы от страха, но эмир... тогда он утратил чувство страха! Он готов был тогда кинуться на помощь отцу, пусть напали бы не один, а сто тигров! Лишь бы конь не подвел, лишь бы конь не подвел! Но смелость и решительность всадника, его возбуждение, его боевой пыл перешли и к скакуну. Догнав слона с ревущим раненым тигром, повисшим над хвостом, Масуд одним ударом клинка свалил злую кошку...

Да простит всевышний грешного раба своего! Но... когда досточтимый родитель проявляет несправедливость к сыну, в голову эмиру Масуду приходят нехорошие мысли: надо ли было спасать отца от тигра — вот что думает он, пугаясь, страшась этих мыслей! Нет, нет, не родитель его виноват, всему причиной бесовестный Али Гариб и этот... женоподобный красавчик Абул Хасанак. Два шайтана наговаривают плохое на него и на других, это они добились, что султан удалил из дворца всех самых преданных своих друзей, самых способных военачальников, самых верных слуг. Это по их вине Газна — и дворец, и город, и все государство — превратилась в гнездо раздоров. Султан, наверное, и не знает... Но если знает? Прикидывается слепым и глухим?..

— Простите, что нарушил ваши размышления, благодетель... — это Абу Тахир.

— Где гонец?

— Он две недели гнал коня, спит как мертвый!

— А послание?

— Еле нашел... у гонца за пазухой. Прошу взять, благодетель!

Абу Тахир с поклоном протянул эмиру маленький черный треугольник. Эмир сразу увидел на материи три перламутровые пуговички — тайный знак, и сердце его радостно забилося: знак любимой тетушки, Хатли-бегим!

— Достань бумагу и читай! — Эмир взял со столика

расписанный цветами кувшин, наполнил пиалу шербетом, отпил... Тысяча благодарностей судьбе, что в Газне, столице этого кишашщего интригами государства, живет эта женщина!..

Посылая своему любимому племяннику добрые благословения и пожелания, тетушка с печалью сообщала о тайных умыслах недобрых людей во дворце султана. Покровитель правоверных, слава и гордость ислама, общала тетушка, мучается болью в тяжком недуге своем... может быть, милостивый аллах поможет исцелиться, но в сей трудный миг, когда судьба трона висит на волоске, правильно ли, что он, эмир Масуд, единственная опора и надежда государства, находится столь далеко от Газны? Ибо по этой причине некие дьяволы, обманывая султана, влезли в его душу, завладели его доверием. И замышляют коварное. Цель их темных поползновений в том, что... коли вдруг случится, что благословенный султан покинет сей временный мир, перейдет в мир вечный... они на трон посадят неумного Мухаммада. И что тогда станет с государством? Ибо государство есть дерево, Газна — его ствол, все остальное — ветви! Следовательно, эмиру Масуду нужно думать более всего не о ветвях, а о корнях и стволе дерева.

Ах, тетушка, тетушка!

Эмир Масуд, слушая ровное, спокойное чтение Абу Тахира, представил себе лицо любимой тетушки. Небольшого роста, худенькая, смуглая... Необычайно сильной воли человек, и узкие черные глаза ее, тонко оттененные сурьмой, горят необычной внутренней силой. Говорили, что острым языком и волевым, упрямым характером своим Хатли-бегим напоминала деда, эмира Сабуктегина, больше, чем сын Сабуктегина, а ее брат, Махмуд.

Эмир Масуд вырос у тетки и любил ее больше, чем родную мать. Любил в детстве. С детства и до сих пор... Вот стоит ему сейчас закрыть глаза, как оживают в душе воспоминания детства, когда по ночам, лежа в своей постельке или в постели самой тетушки, он слушал ее сказки. По сей день звенит в ушах ее нежный голос, ее ласковые слова: «маленький мой», «стригунок мой», «верблюжонок мой»...

Услышав слова «почтенный Ибн Сина», эмир пришел в себя:

— Ибн Сина? Прочитай-ка снова!

Абу Тахир оторвал взгляд от письма, посмотрел на эмира. Потом снова забубнил:

— «Луч очей моих, опора моего уже совсем хилого тела, любимый племянник мой, хочу известить тебя о том, что здесь очутились мы в водовороте весьма странных событий. Родитель, наша надежда и опора, послал, как тебе известно, Абул Вафо в Хамадан, дабы найти там великого целителя, почтенного Ибн Сину. Ваш чистейший родитель питает такую искреннюю веру в этого мудрого лекаря, будто ниспослал эту веру в его душу сам всевышний! Однако вскоре стало известно, что Абул Вафо возвращается ни с чем, то есть не нашел он почтенного Ибн Сину. Узнав о том, мы все весьма опечалились. Но не прошло и нескольких дней, как во дворце распространились слухи, будто бы сбежавший от посланца чародей, почтенный Ибн Сина, сам появился в светлейшей Газне! Пока мы тайком устанавливали достоверность этих слухов, врачеватель куда-то исчез. Таинственным образом появился, таинственным же образом исчез. Неужели ты, великий эмир, не сможешь найти этого кудесника-исцелителя? Поищи, верблюжонок мой, может, и найдешь! И может быть, этот кудесник сможет излечить тяжкий недуг моего брата, вот тогда и повелитель тоже изменит свое отношение к тебе!»

Вот так история!

Рыжий Абул Вафо месяц назад заявился к эмиру Масуду. Покорно скрестив руки на груди, весь в слезах, он, сидя вот на этой курпаче, рассказал эмиру о своих неудачных поисках. В чистосердечие этого человека Масуд, конечно, не верил. Знал, что этот хитрец, перед тем как прийти со склоненной головой к нему, эмиру Масуду, в Исфахан, сначала тайно побывал у правителя Хамадана: просил и требовал от него найти Ибн Сину. Но досточтимый Ибн Сина куда-то исчез, и вот тогда, оставшись с носом, Абул Вафо заявился сюда. Не зря когда-то покровитель правоверных сказал сыну, что не нравятся ему рост и чалма этого дылды. Вот и ему, эмиру Масуду, тоже не понравился некрасивый, неуклюжий человек в большой зеленой чалме. Ведь и благословенный родитель, и этот неуклюжий дылда скрывали свои замыслы: прежде чем тайно отправляться в Хамадан, мимо Исфахана, пришел бы к нему, и эмир Масуд давно бы нашел врачевателя, видно, тоже обуянного гордыней. Потому как давно опасается эмира Масуда правитель Хамадана Ала-уд-Давля и чуть ли не каждый день посылает ему своих послов с дорогими подарками и низкими поклонами покорности.

Но, зная все это, что же сделал он сам, эмир Масуд? Рассердившись на блоху, сжег одеяло? Ничего он не предпринял после того, как Рыжий покинул Исфахан, омывая слезами козлиную свою бородку. Ничего не предпринял! С юной Каракез провоевал!.. Благодарить надо теушку — вдохновила его на борьбу, на дело...

Эмир приосанился, сверху вниз посмотрел на склоненного Абу Тахира.

— Сейчас же отправь гонцов в Хамадан. Ала-уд-Давлю — к ответу. Немедля узнать, выехал ли тот исцелитель-гордец Ибн Сина в Газну или до сих пор скрывается где-то в окрестностях города... И пусть сейчас же готовят мое строгое послание... сейчас же.

Сказал и протянул руку за кувшином, наполненным шербетом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

«Сегодня — четыреста двадцать первый год хиджры, четвертый день рабиул ахира¹. Ранним утром мы вышли из Хамадана и перед закатом солнца, пройдя пять фарсангов, остановились у одного рабата². Шейху не захотелось ночевать в закрытом помещении, почему разбили мы палатку прямо в степи, у холма, а коней и верблюдов, стреножив, пустили пастись неподалеку.

В полночь к шейху явился некий человек и вручил письмо. Было поведено в нем, что к правителю Хамадана прибыл гонец от эмира Масуда, из Исфахана. Прибыл за шейхом. И два месяца назад тоже являлся гонец, но тогда — из Газны, от самого султана Махмуда. Шейх-ур-раис не отозвался на призыв пойти на службу к султану, почему вынужден был скрыться, хотя из города не выехал. Но на сей раз не было иного выхода, как только покинуть город: султан Махмуд всемогущ, но от нас далеко, а эмир Масуд совсем рядом, рукой подать; правитель Хамадана — Ала-уд-Давля признавался, что боится эмира Масуда пуще всякого дэва, сын султанов — кровожаден и скор на расправу: одним разом захватив Исфахан, он мог, если б захотел, за день захватить и Хамадан.

¹ Соответствует концу апреля.

² Рабат — стоянка на торговой дороге, укрепленный постоянный двор.

Всю ночь мы готовились к дороге. В один сундук сложили книги, в другой — редкие лекарства. На всякий случай наполнили водой бурдюки, чтобы не оказаться без воды в степи под голым небом, взяли палатки. Остальное, что наметил шейх, близкие друзья обещали доставить вскорости, после того как в городе немного успокоится.

Рано утром вышли мы из ворот Хамадана. Помню, я спросил у шейха: «Куда?» Шейх вздохнул и ответил: «Я и сам не знаю, сынок... Вот уже четверть века прошло, как покинул я родные края и скитаюсь, будто дервиш бесприютный. А где навсегда обрету покой, не знаю... тоже... И куда приклонить голову — может, в ту сторону, где далекий-далекий Багдад, сынок?»

Больше до самой остановки нашей у рабата шейх не проронил ни слова.

Тяжко на сердце наставника моего. Оно и понятно. Вот уже давно нет никаких вестей о том, жив или нет его младший — единственный — брат, который обосновался в Исфахане. А еще скажу о книгах и рукописях, оставшихся в библиотеке, — по слухам, ее предали огню. Мрак неведения о судьбе самого дорогого...

Солнце уже ушло за горизонт, пока мы ставили палатки неподалеку от рабата. Свершив вечернюю молитву, шейх пошел пройтись. Вернулся, когда закат совсем догорал.

Шейх был сильно взволнован:

— Удивительно! Эта зеленая степь, эти холмы очень похожи на окрестности Бухары. И кишлаки, которые сейчас я увидел издали, с холма, — ну, просто моя родная Афшана... Так похожи, так похожи...

Шейх прослезился.

— Видно, сильно соскучились вы по родным местам, мавляна, — сказал я. — Так зачем нам далекий Багдад? Отправимся в Бухару! И далекую, но и близкую вам.

— Если бы это было возможно... Но там, в Бухаре, — Алитегин. Если я появлюсь в Бухаре — считай, что меня уже везут в Газну. Алитегин — кусок подола на халате султана Махмуда... Ну да ладно... А что, Абу Убайд, — обратился ко мне шейх, и лицо его посветлело. — Не попробовать ли нам и здесь, в этой палатке, заняться «Книгой справедливости». Наш эмир Ала-уд-Давля получил — с посвящением — «Книгу знания»... А справедливость... никому не посвящается... Давай-ка бери бумагу и перо. Я буду говорить, а ты записывать.

Шейх всегда делал так: коли настигала беда, коли скорбные мысли бередили душу, он окунался в работу.

И сегодня до поздней ночи он — говорил, я — писал. «Книгу справедливости» я начинал читать в городе, но, оказывается, плохо запомнил текст. А шейх все помнил. Восстанавливал то, что было в рукописи, добавлял, обновлял, продолжал... Он ходил по палатке и говорил, говорил — четко, ясно, будто пред ним уже лежала рукопись. Потом мы погасили свечи и легли спать. Я, оказывается, так устал, что уснул сразу же, лишь голову положил на подушку. Вдруг проснулся, вижу — шейх встает, зажигает свечу, надевает старый чекмень. Я приподнялся на ложе, удивленно смотрю на него.

— Вспомнил родные места, сынок, и сон потерял. Ты спи, спи, а я выйду, немного пройдуся.

Я спросил:

— Почему вы, учитель, взяли старый треух, натянули рубище дервиша?

— На всякий случай.

Шейх задул свечу, вышел из палатки, а я снова лег спать».

Из воспоминаний Абу Убайда Джузджани

2

...Ибн Сина приподнял полог палатки, тяжелый, мокрый от ночной росы, и вышел наружу; свежий воздух волной омыл лицо.

Бескрайняя степь дышала предрассветным покоем. Небо наполнилось крупными белыми и чисто блестящими, будто натертые динары, звездами. Казалось, что небо и степь соединились друг с другом, а крупные звезды рассыпались не только по небу, но и по земле, — собирай пригоршнями и можешь снова закинуть их ввысь, можешь рассыпать вокруг... ну, хоть вокруг этой палатки.

Абу Али припомнилась такая же тихая теплая ночь, давняя-давняя; привиделась телега, влекомая волами по пыльной дороге... Тогда небо тоже было чистым и полным звезд.

— Мамочка!

— Что, золотко мое? Из-за чего ты не спишь?

В темноте слышится тихий звон материнских украшений, и почему-то хочется горячей лепешки, но маленький Хусейн (ему всего четыре года) не просит ни хлеба, ни

молока; схватив теплую материнскую ладонь, он целует ее и прижимает к глазам.

— Откуда появились эти звезды, зна-джан?

— Их создал аллах, золотко мое.

— А где он сам, аллах?

— На седьмом небе, на своем престоле... Спи, мой ягненок, спи!

Руки, пахнувшие молоком и горячими лепешками, нежно гладят ребенка по лицу. Ситора-бану хочет укрыть мальчика, но маленький Хусейн нетерпеливо сбрасывает одеяльце.

— Есть названия у этих звезд, мамочка? — продолжает допытываться мальчик.

— Есть, мое золотце, есть, их знают ученые люди. Вырастешь большим, и ты будешь ученым. Тогда все узнаешь.

— А я и сейчас знаю... Вон ту большую яркую звезду в самом центре неба называют Олтин Казык¹. Те семь звезд, пониже, называют Дубби акбар². А вон та, блестящая, — это...

Мальчик не договорил: горячие губы целуют его, и слезы матери обжигают щеки, и шепот прерывает рассказ, заглушает скрип тележных колес.

— О аллах, ты наградил сына таким разумом... сохрани же мальчика, убереги его... Спи, мой ягненок, спи. Скоро доберемся до Афшаны. Там уже урюк, наверное, поспел, и Гульрухсор собрала урюк, ждет тебя. Спи, мое золотце!

Гульрухсор — старшая дочь дяди. Четырехлетний Хусейн любит ее больше, чем свою родную сестру Гульнару. Гульрухсор, как и мама, ласкова с ним. У нее красивые небесно-голубые глаза. А какие руки! Весной Гульрухсор собирает тутовые ягоды, с ладони кормит ими Хусейна, а он подбирает — точь-в-точь, стригунок из кормушки: спрячет нос в ладошки Гульрухсор и по одной ягодке перебирает губами, а как наестся, целует пальцы Гульрухсор, каждый пальчик в отдельности, и при этом вдыхает их запах — запах молодой травы и базилики. Гульрухсор покатывается со смеху. Хусейн, довольный, снова целует ее пальцы.

— Мамочка! — Хусейн захлебывается от нежности и нетерпения. — Я люблю Гульрухсор, очень люблю!

¹ Соответствует Полярной звезде.

² Большая Медведица.

— Она тоже тебя любит! Спи, золотце, спи, а утром ее увидишь.

Увы! Не суждено ему было увидеть Гульрухсор.

Мальчик утром просыпается от плача и криков. Телега стоит у ворот дядиного сада. В дверях дома — тьма народу, знакомого и незнакомого. Мать, обхватив какой-то ящик, покрытый синей тканью, заходится в рыданиях. Хусейн ничего не понимает, но, увидев мать так горько плачущей, прыгивает с телеги, подбегает и тоже вместе с матерью начинает плакать.

Потом, уже у себя дома, в своем саду, четырехлетний Хусейн однажды в середине ночи просыпается и видит мать, ее глаза, полные слез.

— Mamочka! Опять вы плачете?

— Да, плачу... Твою сестричку Гульрухсор... отдали мы, золотце мое. Ее забрали ангелы!

— Куда забрали?

— В рай, золотце мое!

— А когда Гульрухсор вернется из рая, мамочка?

— Если бы она вернулась, если б вернулась... Кто знает, показали бы сестричку твою хорошим лекарям, может быть, сестричку и не забрали бы ангелы... Гульрухсор болела. Могла бы, наверное, и выздороветь, будь в Бухаре хороший лекарь.

— Что такое лекарь, мамочка?

— Вырастешь — узнаешь, стригунок мой... Ученых людей, которые лечат больных, называют лекарями. Кто знает, был бы здесь у нас хороший лекарь...

Ребенок вдруг кидается к матери, обхватывает ее шею:

— Я вырасту и стану лекарем! Вылечу сестричку и привезу из рая! Не плачь, мамочка...

...Вот как бывает, думает Ибн Сина, чувствуя спиной мокрое полотно палатки, перевалило за пятьдесят человеку, а вспоминаются такие давние, безгрешно-детские еще годы, и вспоминаются удивительно живо, во всей непосредственности первых душевных страданий. Радости забываются, страдания детства — нет... А почему все это припомнилось? Только ли в том причина, что эта степь хамаданская напоминала степь Бухары, а вон те, едва видные отсюда кишлаки — любимую Афшану? Не сходство холмов само по себе, а опыт утрат, начатый утратой сестрички Гульрухсор, нескончаемый опыт, знакомый любому врачу — и верящему в науку врачевания, и знающему, сколь бессильна бывает она... Ах, Абу Али,

ежели от одних воспоминаний детских так сильно забилось твое сердце, что же будет с тобой, вернись ты сейчас в родные края? Пройдись-ка по улицам Бухары, которые так часто снились в годы странствий по чужбинам, и что же будет тогда с тобой, ученый ты человек, разумный и спокойный врачеватель недугов? Что будет, доведись тебе ныне, на склоне лет, побывать в садах Афшаны, губами прикоснуться к перламутровым ягодам тута?

Близок, совсем близок рассвет. Вон петухи пропели, прокричали ишаки, из тумана все отчетливей проступают спокойно лежащие верблюды, стреноженные кони, гуртом сбитые овцы; из-за стен рабата послышались громкие голоса стражников, что грелись у ночных притушенных костров...

3

Да, Ибн Сина не ошибся: эта зеленая степь, густо поросшая травой, это небо, усыпанное ярко-белыми звездами, воздух с полынной горчинкой и острым кизячным запахом, — это все было как в Бухаре, напоминало травы Бухары, запахи Бухары, небо благословенной, любимой, трижды любимой — и опасной — Бухары!..

...Первые знания о свойствах трав он, молодой Хусейн Ибн Сина, получил от известного ученого араба Абу Бакра ар-Рази, многое затем узнал из книг великих хакимов Букрата и Джолинуса¹, ну, а еще больше и самое-самое верное приобрел по сему предмету сам в степях вокруг родной Афшаны, когда пешком, раздирая одежду о колючки, бродил по пескам в поисках целебных растений, когда проводил ночи среди пастухов, беседуя с ними при свете костра про то, какую болезнь какими травами они излечивают...

Болезни! Вот его лютый враг! Всю жизнь сражается он с ним. Всю жизнь верит в травы лечебные — лучшее, вернейшее лекарство.

Довольно! Хватит! Всем больным на земле не поможешь. Когда у него будет спокойная жизнь, когда?!

Туман над степью стал понемножку рассеиваться, небо с восточной части — проясняться, звезды — таять. Ибн Сина двинулся по мокрому ковру трав. Уже до щиколоток поднялась полынь; незабудки поблескивали будто свечки; дикий лук тянулся вверх длинными иглами. А еще — первые маки изготовились украсить степь; го-

¹ Гиппократ и Гелен.

лубыми цветочками трогали душу волокнистый астрагал, и василек, и дикий клевер. Все поле вокруг человека улыбалось, словно счастливое дитя, ласкалось у ног. Ибн Сина все вдыхал и выдыхал и никак не мог насытиться неповторимыми запахами молодого весеннего разнотравья. Казалось, травы с любовью обращаются к нему: «Ты узнал меня? Ты помнишь, я вылечил однажды болезнь глаз... А из меня можно сделать бальзам против почечного недуга...»

Верные, преданные друзья человека!

Ибн Сина остановился у высокого карагача, поднял глаза к вершинным его ветвям: вот сильное дерево! Оно не нуждается в лекарствах. Улыбнулся, вспомнив, как однажды Абу Убайд, верный, преданный ученик, спросил учителя:

— Говорят, мавляна, вы знаете язык всех трав. Будто вы разговариваете с травами и они раскрывают свои тайны: «Я исцеляю такой-то недуг... А я такой-то». Это правда?

— А что еще говорят обо мне?

— Говорят, что вы однажды не смогли облегчить положение больного и, отчаявшись, ушли в горы и что там будто бы долго говорили с травами и отыскивали траву, которая могла бы, оказывается, исцелить того больного, а он — без вашей помощи — умер. И тогда вы горько сказали той траве: «Почему ты пораньше не поведала мне, что способна помочь?» И даже будто еще сказали: «Если бедного, только что умершего человека не похоронили, не успели, может, есть смысл попробовать с твоей помощью...» Но трава ответила: «Нет, великий лекарь, я — средство от болезни, а не средство от смерти!» Это правда, учитель?

Жизнь и смерть! Более сорока лет тайна их связи и вражды занимает помыслы Ибн Сины! Разгадки до сих пор он не знает, хоть множество лекарств придумал от множества болезней... Как сказано в одном четверостишии, пришедшем ему на ум давно, однако незабытом:

Велик от Земли до Сатурна предел,
Невежество в нем я осилить хотел.
И тайн разгадал в этом мире немало,
А смерти загадку, увы, — не сумел ^{1*}.

¹ Переводы, здесь и дальше, отмеченные звездочкой, — Якова Козловского.

Ну, хотя бы когда в молодости лечил бухарского эмира Нуха Ибн Мансура и в его библиотеке глотал — видно, не пережевывая, как должно, — книги великих целителей прошлого, был тогда уверен, что не останется для него загадок, которых он со временем не разгадает, ни философских, ни по науке врачевания. Думал, что найдет лекарство от самой смерти! А теперь... О, как теперь ему ясно, что, сколько разгадок его ум ни нашел бы, конца нет загадкам, они уходят одна за другой все вглубь и вглубь и — без конца. Борода вон совсем седая, глаза тускло смотрят на мир, тело теряет силу, а что, что ему известно о мире, о душе, об истине, о совершенстве, о себе самом?

Да, он знает: в природе все, от муравья до человека, от камня до звезды, — все возникает из четырех незыблемых стихий: земли, воды, огня и воздуха. Он сам однажды написал в стихах:

Огонь и прах, вода и воздух —
из их частиц мир создан сплошь.
Единство в этом, совершенство,
все остальное в мире — ложь *

О Абу Али, сказанное тобой не вполне верно! Мир — да, сплошь из частиц четырех стихий состоит, но есть ведь и душа. В мире. И в тебе, в человеке смертном. Четыре стихии связаны друг с другом закономерно. Но есть ведь что-то и вне этих закономерностей самодостаточных. Как врачевателю, ему, кроме них, ничего не нужно. А как философу, думающему над устройством и смыслом жизни?.. Аллах создатель всего? Конечно. Его волей возник мир, свод небес, душа в человеке. Но почему, раз возникнув, все живет уже без поправок со стороны? Разве не так?

О свод небес! Загадочная твердь!
Творцом я заклинаю, мне ответь —
Ты сам себя приводишь во вращенье?
Иль обречен извне на вечное движенье?

Ты безграничный! Смертный не посмел
Твоих вращений отыскать предел.
Гадаю я, наметив путь звезды,
Есть бесконечность, большая, чем ты? *

Но откуда придет ответ на этот вопрос? Загадки тянутся все вглубь, все вглубь, бесконечной цепью, и перед бесконечностью их немеет разум, голова склоняется перед

непостижимой тайной, перед небесами. Но ведь не унизая разум человеческий! Ибо не на что уповать человеку, кроме благодати творца, во-первых, и собственного разума, во-вторых... Да, человек одарен разумом, стало быть, способностью мыслить, познавать мир, в котором живет, устроая свою жизнь опять же не иначе как на основе разума, стало быть, честности и справедливости.

Ибо честность и справедливость — столько же требования аллаха, сколь и законоположения разума; лучше сказать — второе есть воплощение первого. А человек, увы, до сих пор не может выйти из плена неразумных помыслов и недостойных, ничтожных вождедений. Не потому ли он игрушка, кукла в руках шахов-завоевателей, вроде султана Махмуда. Желание властвовать над себе подобными — низко, неразумно. Но слова мудрых отвергаются — почему? И в этом воля аллаха? Или одно неразумие, противоположное этой воле?.. Неразумно, несправедливо люди устраивают свою короткую, столь короткую жизнь... Ну, а зачем жизнь оказывается столь короткой, смерть же — непобедимой?

Смерть... И старость, преддверие ее.

Басмой волосы окрашу, снова буду молодым,
Но не ранее, чем ворон сможет стать, как я седым *.

Горькие шутки шутила с нами жизнь, Абу Али!

4

Опять пробудилось в душе давнее воспоминание. Встала перед глазами бухарская лекарня в самом конце Джуи Мулиён.

Темная ночь. Все спит в лекарне. Но не он, молодой лекарь Абу Али. В самой крайней маленькой комнатшке он сидит и читает книгу Джолинуса, раздел о строении человеческого тела.

Слышится стук в дверь. Он испуганно поднимает голову. На пороге первый его учитель Абу Мансур Камари. Учитель — да предоставит ему аллах место в раю! — в белой накидке поверх халата, завязал рот белым платком, стоит и испытующе глядит на ученика. Абу Али знает: они должны спуститься в темный, донельзя холодный подвал, вскрыть труп человека — нищего, скончавшегося в тот день.

Абу Али весь покрылся холодным потом: учитель в белом на мгновение показался ему привидением, воплощением умершего.

В углу двора в небольшом помещении хранились высушенные лекарственные травы, а внизу, в погребе, где и летом бывало по-зимнему холодно, лежали тела умерших бедняков. Этого мрачного подвала боялись не только больные, но и сторожа. Трупы хранились там, пока родные умерших не забирали их для погребения. Иногда за телом какого-нибудь нищего так никто и не приходил.

Темная ночь... Все спят, и сторожа задремали, во дворе — ни звука, ни огонька. Учитель, неслышно ступая, прошел в угол двора, спустился по крутым ступенькам под навесом в подвал-«холодильник». Зажег свечу, которую принес с собой.

До этого мига Абу Али под руководством Абу Мансура вскрывал мертвых животных — овец, коз, собак, кошек, изучал внутреннее их строение. Мертвого человека он сегодня будет вскрывать впервые, и от страха у него мурашки ползут по телу.

Учитель, не надеясь на дверную цепочку, подпирает дверь еще и толстым поленом. Потом, присев у изголовья усопшего, долго читает молитву. И Абу Али сидит на корточках у порога, повторяет суру из корана, слово в слово за учителем. Его душа успокаивается, будто молитвой этой они попросили у умершего прощения за свое грешное намерение и дух усопшего их молитву принял.

Учитель ставит на пристенную полочку принесенную свечу, а Абу Али, придя в себя после молитвы, начинает готовить ланцеты, таз и кувшин с водой.

Умерший лежит с открытыми глазами, словно наблюдает за ними — неодобрительно.

Пройдут годы. Чтобы в совершенстве познать анатомию человека, Ибн Сина множество раз будет тайно вскрывать трупы, он изучит строение каждой части тела, самые мелкие кровеносные сосуды. На всю жизнь он запомнит сказанное Букратом-хакимом: «Кого не вылечит лекарство, того трава вылечит. Кого трава не вылечит, того вылечит нож. Кого не вылечит нож, того избавит от страданий смерть». Ибн Сина умел и любил делать хирургические операции, но не преувеличивал их благотельности для болящих. В пятитомном «Каноне» деяниям ножа посвящено куда меньше места, чем лечебным травам, например, или приготовлению разных пилюль, отваров и порошков. Он доверял ножу многое, но и гигиене

операций — невиданное дело! — немалое. Во всяком случае, душевное, животворное начало в человеке, его на фс, ножом не сохранишь.

С другой стороны, без знания анатомии — не обойдешься, а без ножа, без вскрытия, — не узнаешь, как устроен человеческий организм.

Поэтому — долой страх перед грехом! Долой страх перед этим мертвым нищим с открытыми глазами, который неодобрительно следит за ними!

Учитель говорит внятнм шепотом:

— Да простит нас аллах, сынок! Я доживаю свой долгий срок, а это дело делаю ради тебя. Узнать то, как создал всевышний своего раба, человека, — это, поверь мне, совсем не грех. Наоборот, создатель одарил человека умом, чтобы тот знал, как помочь ближнему. Не бойся, сынок, бери ланцет и подойди поближе!..

Да, Ибн Сина посвятил себя исцелению недугов. Сколько ни было в мире болезней, он стремился изучить их все. Почтенный Абу Бакр ар-Рази полагал: «Один врач не может лечить все болезни». Абу Али Ибн Сина считал иначе. Он изучил около трех тысяч полезных при врачевании трав. Описание болезней в книге «Аль-Канон» заняло пять огромных томов, описание лечебных трав в книге «Аш-Шифа» — два тома! Все болезни Ибн Сина подразделил на два больших вида — сложные и несложные, и поэтому он создает сложные и несложные лекарства. Иногда приходилось смешивать сотни трав и плодов, чтоб сотворить сложные лекарства. А когда и эти лекарства оказывались бессильными, он обращался к джаррахию — хирургии. Десятки инструментов придумал он, множество новых приспособлений. Тысячи исцеленных благословляли его имя... А смерти — не победил, нет...

Что же такое жизнь? И что такое смерть? Зачем, зачем же существо, именуемое человеком, приходит в этот мир подлунный и почему уходит потом из него?

5

Туман рассеялся, и степь предстала во всей красе своей.

Вон белые редкие облака вспыхнули, воспламенились в небе. Солнце из-за горизонта брызнуло сияющими веселыми лучами, и засверкали, заиграли, заискрились капельки росы на траве, на листьях деревьев, а над зеле-

ными купами садов вдали повисло семицветие радуги...

За садами чуть виднелись плоские крыши глинобитных домов, а в центре кишлака сверкал, разноцветно отражая радугу, купол мечети,— вот и он до боли напоминал Ибн Сине мечеть Афшаны. По пятницам на площадь перед афшанской мечетью собиралось множество людей — не только из окрестных кишлаков, но даже из Бухары. Для молебна, конечно, ведь пятница — праздничный день, день большой службы в мечети, но еще и просто так, себя показать, людей поглядеть. Были тут и горделивые аристократы на красавцах иноходцах, и многоумные улемы, все до единого одетые сплошь в белое, и странствующие дервиши в лохмотьях, и просто попрошайки, нищие, изъязвленные, безрукие и безногие калеки. О, кишлак Афшана, окруженный садами, гудел тогда, будто большущий улей.

Афшана! Опять Афшана!.. Больше тридцати лет прошло, как он покинул родной край, но остаешься наедине с невзгодами своими — и воспоминания одолевают. Перед глазами встают родной кишлак, афшанские сады, зеленые («Ах, какие зеленые, какие милые!» — про себя добавил Ибн Сина) степи вокруг.

Медленным шагом поднялся Ибн Сина на холмик. У подножия, чуть не в полное кольцо свиваясь, текла небольшая речка. А за ней — вон там! — ребятишки в белых бязевых рубахах пасут коров, а еще дальше — дехкане на свежей пашне управляют с сохами, понукают своих волов да мулов.

Опять воспоминания! Опять эта боль!.. На окраине Афшаны протекала точь-в-точь такая же речка, на одном ее берегу обычные люди пахали, а на другом были бахчи, на которых выращивались сладкие как мед дыни. Лучшие — сортов амири и босвалды, да, эти самые сочные; покрытые сетчатым узором дыни кукча по ночам, нарушая тишину, трескались и разлетались кусками. Черные дыньки еще были, величиной с кулак, но сахарные, просто сахарные на вкус. Маленький Хусейн любил проводить ночи на бахчах: лежишь, укутавшись в тулуп учителя, мавляны Натили, и считаешь звезды в небе. Ранним утром его будил треск, и босоногий мальчик, дрожа от холода, бежал на этот треск между грядками. Собирал мокрые от росы куски лопнувших дынь, с удовольствием съедал их натошак.

О детство! Безмятежное, беззаботное, оно кануло, словно падающая звезда,— сверкнуло, и нет его...

Одно воспоминание сменяло другое, и все они приходили к нему теперь грустные; чистый свет этой грусти соединял их воедино — как бусинки четок...

Самый разгар одной — тоже далекой уже — весны вспомнился. На зеленых коврах вокруг Афшаны стоят белые, коричневые, черные с красным юрты, а на холмике над рекой — большая белая, вся разноцветными шелковыми лентами украшенная. Внутри юрты на почетном месте, где в несколько слоев постелены белые кошмы, лежит черноволосяя девушка, и в ее волосах бесчисленные серебряные монетки да бубенчики. Глаза девушки закрыты, а белые руки бессильно свисают с высокого ложа.

Молодого лекаря привела тогда в юрту круглолицая, глаза миндалинами, рабыня. Кивнула на больную, тихо подошла к ее постели, присела. Он подошел не сразу. Девушка услышала шорох, приоткрыла печальные свои глаза, взмахнув густыми ресницами, взглянула на лекаря. Хотела сказать что-то, сглотнула беспомощно, молча, — он увидел, как при этом на ее откинутой назад шее шевельнулась черная родинка, будто что-то живое и ласковое шевельнулось...

Да, эта девушка, эта степнячка Бутакез-бегим... и она... вот и она сверкнула на его небосклоне падающей звездочкой. Жизнь человека коротка и полна печали.

Увы! Кто остался в живых из душевно близких ему людей, из тех, кто озарял его детство яркими лучами? Кто? Отца сам предал бухарской земле — так это еще слава аллаху, что сам, своими руками похоронил, — а мать похоронить не удалось. Сестренка осталась в Гургане, ушла из жизни там. Младший брат Абу Махмуд — неизвестно, жив ли, может, погиб, пытаюсь спасти его библиотеку от огня?..

Родная, любимая земля бухарская!

Говорят, Алитегину, потомку кочевников ханов, Бухара не по душе. Зимой еще обитает в городе, а с наступлением весны, самой ранней, уже выезжает в степь, с бесчисленными юртами кочует, все время проводя в охотах да в набегах на города и кишлаки. Алитегин, в общем-то, — чужак, но близкий. А султан Махмуд... Мало ему было Индии на востоке от Газны, Хорасана на западе. И на Бухару нагрянул, и на Самарканд с десятью тысячами боевых слонов. Бухарская земля, говорят, содрогалась под ними, корчилась от боли, а когда слоны становились по команде в ряд, поднимали хоботы и ре-

вели воинственно, то казалось — небеса вот-вот рухнут наземь.

А теперь он, Ибн Сина, должен ехать лечить султана, истоптавшего Бухару? Вылечить, чтобы он повел своих слонов, свое войско в новые походы, к новым злодеяниям?

Правда, он, Абу Али Ибн Сина, грешный человек, прозванный шейхом ученых, сам не раз ошибался, все искал справедливых властелинов, все надеялся образумить, направить по пути добра кого-либо из них. На таких, как эмир Шамс-уд-Давля и правительница Саида, терял годы своей жизни, был у них визирем. Стекло, что ударяется о камень,— что с ним бывает? Вот то же самое и происходило с его добрыми намерениями перед их каждой богатства, славы, вседозволенности.

Конечно, в подлунном мире все относительно. Шамс-уд-Давля, можно считать, святой и безгрешный, ежели сравнить его с султаном Махмудом, который на одну лишь Индию семнадцать раз ходил в грабительские походы, сровнял с землей множество городов, живьем сжег тысячи и тысячи невинных людей...

Ибн Сина давно себе поклялся, что никогда в жизни не будет на службе у султана Махмуда, мало того, никогда его не увидит. Одно лишь печалит сердце, когда он думает о Газне,— невыполнимость желания встретиться с Бируни!

Сколько же лет прошло с момента их последней встречи!

...Это было темной ночью. Они скрытно вышли из городских ворот Гургана. В густых зарослях саксаула беседовали всю ночь и, томимые горестным чувством совсем скорой разлуки, встретили рассвет... Давно, больше десяти лет назад, это было, и с тех пор, если не считать нескольких писем друг другу, передаваемых с надежными караванщиками,— ничего, никаких вестей от учителя. По некоторым слухам выходило, что Бируни как приехал в Газну, так будто бы построил там большую обсерваторию, а султану столь понравился, что был им взят в Индию. Учитель, мол, выучил язык индусов, сначала был переводчиком у султана, а затем, чтоб написать большую книгу об этой благословенной (и растерзанной!) стране, остался в Индии на долгое время. Что из слухов — правда, что — вымысел, неизвестно. Не верится, однако, что мавляна Бируни мог быть приближен к кровопийце-султану. Мир изменчив, но не все же в нем меняется к худшему.

О, как они спорили тогда, в Гургане, на совете ученых при дворе хорезмшаха! Каким умом и... весельем были исполнены эти вечера, эти споры! И бескорыстным желанием докопаться до истины. Только истина была им нужна!.. И потом, расставшись, он не раз и не два брал и перечитывал письма Бируни — снимал их с полки самых редкостных и дорогих, важнейших для себя рукописей и перечитывал по нескольку раз. И всякий раз вдумываясь в доводы старшего друга, учителя. В этих письмах были, были строки, в которых учитель крепко отчитывал его, Абу Али. Особенное неудовольствие Бируни выражал за то, что он, Абу Али, слепо следует, мол, Араст¹! Тут досточтимый мавляна Абу Райхан был не прав. Вовсе не слепо следовал он, Абу Али, Аристотелю, но метод «Метафизики» этого мудреца не только позволял последовательно философствовать, но помогал правильно мыслить, добывать крупницы истины на путях и врачебной науки. Помогал в сложных ее вопросах!

Ибн Сина на память произнес про себя сказанное им же самим в «Книге исцеления»: «Многих мы видели людей науки, которые тратят все свои силы на отыскание множества разных доводов, рассуждая о делах неважных и вопросах, легко решаемых. А когда они касаются действительно трудного, быстро оставляют это трудное без разбирательства. Мы надеемся двинуться по иному пути...»

Вот чему его учил мавляна Абу Райхан!

Да, ради свидания с Бируни Ибн Сина мог бы поехать и в Газну. Не страшат ни трудности дороги, ни неизвестность. Но султан Махмуд! Но клятва — не видеть его никогда!..

6

У подножия холма показался человек, ведущий за уздечку мула. Он заметил Ибн Сину, стал подниматься к нему. Ибн Сина, не желая ни с кем встречаться, быстро зашагал по тропинке вниз.

— Эй, дервиш, куда заспешил? — крикнул человек.

Видно было: встречи и разговора не избежать.

— Ассалам алейкум!

— Ва-алейкум ассалам!

¹ Аристотель,

Весь обросший седыми волосами, длинноносый, с запавшими не то от голода, не то от болезни глазами, старик был одет в шаровары и рубаху, сшитые из лоскутков, изодранные чарыки на ногах подвязаны шнурками. Из мешков, перекинутых через спину мула, выглядывали глиняный кувшин, а с другой стороны — тыквенный сосуд для воды. Видно, был этот старик водоносом.

Водонос на мгновение застыл, пристально вглядываясь в Ибн Сину ввалившимися своими глазами:

— Чего шатаешься, дервиш? Ежли голоден, иди вон в тот кишлак или к нам, в рабат. Да и поработал бы, чем так попусту ходить и кланчить на пропитание.

Седой, оборванный старик напоминал кого-то... Но кого, кого? Ибн Сину охватило неясное волнение.

— Что же делать, раб аллаха? Так мне, видать, на роду написано, — сказал он первое, что пришло в голову.

Водонос, услышав голос Ибн Сины, как-то странно встрепенулся, немного отступил назад. Прошептал: «О аллах! Может ли это быть?»

— Ежли нищенство надоело, дервиш, иди в наш караван. Будешь погонщиком верблюдов. И на одежду зарабатываешь, и на хлеб насыщенный.

— Какой караван?

— Большой. Из Исфахана в Бухару идет... вон там, в рабате, стоит...

— В Бухару, говоришь?

— В Бухару, Бухару, говорю... А что, есть на свете невежды, не слыхавшие про священную Бухару? Все стороны света — все знают благословенную Бухару!.. Говорю, иди-ка с нами: и сыт будешь, и дело, угодное аллаху, сделаешь.

Да, да! Он где-то видел этого человека! Давно, очень давно видел. Может, в Бухаре?..

— Благодарю за приглашенье, приятель, только стар я уже для погонщика.

Ибн Сина пошел было дальше по тропинке, но, не пройдя и нескольких шагов, остановился, снова услышав возглас водоноса: «О создатель!» Обернулся, увидел тот самый миг, когда из рук водоноса выпал кнут, а сам водонос схватился за голову:

— О аллах всемогущий! Это ты, Абу Али? Ты?

— Шокалон?! — вскрикнул вдруг Ибн Сина.

— Абу Али! — бросился было водонос вперед, но, будто испугавшись чего-то, остановился: — Нет! Глазам своим не верю! Абу Али Ибн Сина стал дервишем? Зна-

менитый, всему миру известный лекарь в одежде нищего клянчит кусок хлеба?!

Ибн Сина, тоже не веря своим глазам, стоял, словно онемев. «Невероятно! Что за игры играет с людьми судьба? Друг детства Шокалон — водонос на чужбине?»

— Что случилось с тобой, Шокалон? Как ты попал на чужбину? Пусть от меня отвернулось счастье, но почему оно от тебя отвернулось?

— Не спрашивай, Абу Али! Дай сначала обнять тебя!

Они обнялись. Сели на траву. Помолчали. И Шокалон, протирая заслезившиеся глаза, снова заголосил:

— Нет, не верю! Не верю глазам своим... Мы слышали, Абу Али, что ты главный визирь в Хамадане, а ты... дервиш, оказывается?

Ибн Сина улыбнулся печально:

— Какая разница? Главный визирь или дервиш — какая разница, Шокалон?

— Нет! Удивителен этот подлунный мир, Абу Али, поистине удивителен и непонятен... Нет человека в твоём родном крае, кто не произносил бы твоё имя с благоговением, а ты в это время здесь...

— Ладно, Шокалон, хватит про меня, расскажи лучше про Афшану! Как там Бухара? Что в Афшане делается?

— Э, Абу Али! — Шокалон закачал головой. — От той Афшаны, что ты знал, осталась лишь гора пепла... Не знаю, слышал ты или нет, — пять лет назад на Бухару напал султан Махмуд...

— Слышал...

— Ну, коль слышал... Афшана, Абу Али, разорена... Все сады Бухары, все посевы — все растоптали боевые слоны султана... Ни о чём лучше не спрашивай, не терзай душу ни мне, ни себе, Абу Али!

Ибн Сина долго сидел, опустив голову. Молчал. Потом с трудом произнес:

— Выходит, ты, как и я, убежал от гонений султана Махмуда, бедный мой друг?

— Нет, Абу Али! Я пришел сюда с одной целью — найти единственного своего сына Шаюсуфа.

— А что случилось с ним?

Шокалон тяжело вздохнул:

— Не понять странностей судьбы, не понять, Абу Али... Вот его постигла та же участь, что и тебя. Он любил дочь Бутакез-бегим! Ну, та степнячка, Бутакез-

бегим, помнишь?.. Ты любил ее когда-то... А он полюбил дочь несчастной Бутакез-бегим. Дочку зовут Каракез... И он, то есть сын мой Шаюсуф, как и ты, разлучился с любимой... сделался скитальцем... Сейчас он тут, где-то в этих краях.

«Бутакез — глаза, как у верблюжонка... Каракез — черноглазая. Этот старый водонос, в своем ли он уме или спятил от горя?.. Сын Шокалона влюбился в дочь?..»

— А сама Бутакез-бегим... жива?

— Померла, пусть аллах сделает пухом ее могилу! От той самой болезни померла, от которой ты ее когда-то лечил и вылечил. Осталась Каракез-бегим. По воле аллаха — вылитая покойница... И глаза, и волосы, даже родинка на шее, помнишь? Похожи как две капли воды. И вот... судьба ее тоже несчастной оказалась... Прошлой весной, ночью, на крепость нашего местного бека напали разбойники и украли Каракез-бегим. А мой сын... о, Шаюсуф словно сокол, Абу Али! Он был сарбазом у бека, отца девушки...

Шокалон, то и дело тяжело вздыхая, долго рассказывал о горестных превратностях, выпавших на долю их всех. По его рассказу выходило, что похитителей девушки никто не знает. Одни говорят, что Каракез-бегим схватили драчливые степняки, другие — что ее выкрали по велению правителя Бухары Алитегина. Ведь когда султан Махмуд напал на Бухару... взял он в плен любимую младшую жену и дочь Алитегина. И Алитегин, для того чтоб вернуть жену и дочь, приказал похитить дочь бека и Бутакез-бегим и отправить ее в Исфакан в подарок эмиру Масуду, в гарем сыну султана Махмуда. А сын Шокалона, прослышав о том, отправился по следам любимой в Исфакан. И сердце Шокалона-отца тоже не выдержало: нанялся водоносом каравана, и вот он здесь...

Ибн Сина слушал Шокалона не очень внимательно, мысли его были уже в Афшане, как птицы в родном гнезде. В большой белой юрте он видел Бутакез-бегим. Но он видел ее не такой, какой была она тогда, при первой их встрече: больной, беспомощной, с глазами, полными слез,— нет, он видел ее такой, какой она стала через месяц, когда выздоровела,— будто заново рожденной на свет, видел быстрой, шаловливой, с блестящими черными глазами, полными нежности и ласки,— своей любимой видел.

Какое лечение он тогда ей назначил? Около тридцати лет прошло, а до сих пор помнит: назначил пить вер-

блюжье молоко, добавляя в него сок цветов верблюжьей колючки; предписал еще настойку из корней дикого лука, смешанную с соком столетника; понемногу — мясо молодого барашка, поджаренное не сильно, на соусе из ягод горького миндаля и персика. Он тогда во второй раз испытал на Бутакез этот сложный набор настоек из трав и корней... Первый раз он так лечил правителя Бухары Нуха Ибн Мансура и был вознагражден за выздоровление тем, что получил доступ в знаменитую библиотеку. А когда вылечил Бутакез-бегим... наградой была любовь этой удивительной девушки с чарующе нежными и задорными глазами верблюжонка.

Помнится, всякий раз, когда молодой лекарь входил в юрту, Бутакез-бегим порывисто приподнималась на постели, и тогда бубенчики, монетки, колечки в ее длинных густых волосах звенели завлекательно и чарующе. Абу Али всегда останавливался у порога, сначала растерянный и не уверенный в себе при виде ее смущенной улыбки. А она, увидев его покрасневшим и понимая, отчего это, смеялась еще пуще, протягивала к нему белые руки — и звенели ее браслеты, и ее слова звенели!

— Заходите же, садитесь сюда, поближе, досточтимый исцелитель!.. Почему вы меня избегаете? — продолжала она. — Приходите, но тут же, не посидев со мной, опять покидаете меня? Целыми днями жду, гляжу на входную занавеску, а вы...

Бутакез не шутила, слезы стояли в глазах ее, и опять он видел беспомощно дрожащую родинку на ее шее.

— Я, бедняжка, можно сказать, выжила благодаря вашему умению и... доброму сердцу, его я не забуду никогда, господин мой!

Обращенные к нему, семнадцатилетнему лекарю, слова «господин мой» звучали очень странно в устах дочери знатного бека, он хотел сказать: «Больше не говорите так, бегим», — но не говорил ничего, от волнения язык его заплетался.

— Ну, и позвольте же мне встать с постели, — говорила Бутакез-бегим. — Позвольте выйти из этой клетки, побежать по траве, досыта надышаться свежим воздухом.

— Нет, нет, бегим, гулять вам еще рановато.

Но бегим нетерпеливо отбрасывает назад свои мягкие волнистые волосы, поднимает к юноше пылающее лицо, — сквозь переливчатый звон девичьих украшений он слышит:

— Сегодня не разрешите — завтра будет поздно.

Как понять эти пугающие слова?

— Хорошо, пусть будет по-вашему, но отец...

— Веление врачевателя — закон и для моего отца.

Ну, раз так...

Беспредельная степь напоминала тогда яркий ковер, вытканый умелой мастерицей-степнячкой. Среди пышных благоухающих трав горели огнем маки, и каждый алый цвет был величиной с пиалу. Шелком переливались цветы астрагала с жужжащими над ними пчелами. И словно цветы, красовались белые, красные, коричневые юрты, и украшали собою зеленую степь отары овец, табуны лошадей, могучие, спокойные верблюды, — все живое радовалось солнцу, весне, приволью.

А вокруг юрт бегали девушки, одетые в красную бязь и красный бархат, в округлых, сдвинутых к бровям шапочках с перьями; от веселого озорства и нежного смеха юных девушек сердце твое волновалось еще сильнее, — помнишь, Абу Али?

Помнишь, как поздними вечерами, когда лошадей уже стреножили на ночь, коров подоили и потух в очагах огонь, юноши собирались в удаленных, укромных местах и поджидали девушек. И вот старики погружались в глубокий сон, а девушки выскальзывали из юрт и бежали к аульским парням. Позванивали своими украшениями, перешептывались, посмеивались, а потом группки девчат и парней распадались на пары. Начинались игры. Самая интересная — в прятки, эта игра заканчивалась поцелуями. И еще одна игра нравилась больше других — состязанье в песнях, незатейливо-шутливых и сердечных.

Молодому лекарю-бухарцу, привыкшему не видеть женских лиц, эти озорные игры, песни, эта свобода неутаиваемой красоты казались чем-то невероятным. Он чувствовал себя здесь как бы в другом, непривычно-прекрасном мире.

Право выбрать принадлежало девушке. И Бутакез-бегим из всех молодых парней выбирала его, молодого бухарца. Когда начинали играть в прятки, она шепотом, на ухо предупреждала заранее Абу Али, где будет скрываться, и горячие губы ее обжигали при этом щеку лекаря.

Абу Али раньше всех иных находил ее, и тогда нестыдливые поцелуи Бутакез доставались ему, повергали в трепет. Абу Али не знал песен девушек и парней из степи. Но он любил и эти состязания; полусидя-полулежа рядом с Бутакез, он все слушал и слушал, до рассветного

солнца слушал то озорные, то печальные песни, и хотелось ему, чтоб ночи эти, полусон-полуявь, все длились и длились...

7

...Ибн Сина, закрыв глаза под лучами весеннего солнца, погрузился в молчание. Шокалон тоже молчал: земляк, знаменитый, хотя и в рубище дервиша, попал в плен воспоминаний,— зачем же разрушать этот грустный, но, видно, приятный ему плен?

А воспоминания, словно бабочки с цветка на цветок, перепархивали с одного события на другое.

Вот снова степь, расцветшая, нарядная, как невеста. Вот скажут десяток парней и девушек. Впереди — на буланом — Бутакез-бегим. Грива буланого украшена шелковой бахромой, за девушкой поспешают подружки-служанки, отцовы слуги и они оба, Шокалон и Абу Али.

Бутакез-бегим скачет лихо. Абу Али хочется пустить во всю прыть скакуна, догнать девушку, посмотреть на ее открытое лицо, но он стесняется нукеров: следят, следят они за дочерью знатного бека.

Достигнув поляны, усеянной маками, Бутакез-бегим обернулась, нашла взглядом его, Абу Али, и, заговорщицки подмигнув, ударила своего буланого камчой. Догоняй, мол, джигит, не зевай. И, почувствовав, как быстро, сильно, бешено забилось сердце, он пустил своего коня вскачь. Бородатый нукер гневно вытаращил глаза: куда ты, лекарь, опомнись! Но Абу Али забыл о нем. Он мчится за Бутакез-бегим, а она, словно ветер, меняет направление скачки, сворачивает в песчаные барханы, в густой саксаульник. И конь Абу Али, как птица, летящая за другой птицей, сам мчится туда же. Сзади кричат: кто — предостерегающе, а кто — весело, поощряя. Алые маки взмываются из-под копыт.

Бегим, оглаживая своего нетерпеливо храпящего коня, смотрит на Абу Али, смеется радостно:

— Вы молодец, мой исцелитель! Научились скакать, как настоящий джигит!

— Нет, моя бегим, нет, моя бегим...

— Вы сказали «моя бегим»? Да? Скажите еще раз! — В ее глазах стоят слезы, голос дрожит, но во всем облике чувствуется сила, решимость сделать что-то такое, что совсем не вяжется с недавней болезненностью.— Знайте, мой исцелитель, что отец завтра-послезавтра поднимает

кочевку. Мы уезжаем, а я не хочу уезжать. Скажите же ему, что лечение еще не закончено. Скажите, что надо лечить меня еще месяц!

Абу Али понял все:

— Месяц? Вам нужен год для исцеленья, целый год, моя бегим.

Абу Али слышит топот приближающихся коней свиты, но пока их еще не видно, и он, отчаянно рванув поводья, в мгновение ока оказывается рядом с девушкой; их кони замирают; Абу Али обнимает Бутакез, и она, закрыв глаза, приближает пылающее свое лицо к его лицу... Но — топот и крики уже совсем рядом!..

— Запомните, мой исцелитель... вы спасли меня от смерти. Но теперь мне лучше умереть, чем расстаться!

Абу Али, спеша, задыхаясь, целует девушку в соленые от слез губы, в глаза, в черную родинку на шее...

— Ты не лекарь, а дьявол! Ты посмел развратить дочь моего бека!

Бородатый нукер! Злой коршун! Его глаза горят ненавистью, крепко сжатый кулак поднят над головой.

— Ни слова больше! Не оскорблять почтенного исцелителя! — голос бегим дрожит, но он властный и сильный, этот голос.

— Почтенный исцелитель?! — злорадно повторяет нукер. — Развратник — скажу еще раз! И те развратны, кто желает подышать степным воздухом, а на самом деле спешат на греховное свидание! А ну, назад, все — назад!

Нукер, продолжая сквернословить, хватая коня Бутакез-бегим за уздечку, тянет назад. И последнее, что всплывает в воспоминаниях Абу Али Ибн Сины, — все в слезах лицо бегим, спина и лицо, спина и лицо... все оглядываясь и оглядываясь, уезжает от него девушка...

Впрочем, не это грустное воспоминание — последнее. Память, как непоседливая бабочка, перелетает на другое.

Ранний час, предрассветный час... Абу Али почти всю ночь провел без сна, думая о бегим. Пробудил его на рассвете топот лошадей. Прискакали служанка бегим и вот он, Шокалон, тот самый, кто сейчас лежит рядом, подставив, как и Абу Али, лицо солнцу.

— На стоянку бека напал враг! — кричит, рыдая, служанка.

— Быстрее, Абу Али, быстрее! — кричит Шокалон. — Садись сзади на моего коня, держись за меня...

Издали, из глубины степи, где находилось кочевье бека, доносились невнятный грохот и ржанье коней. Ино-

гда слышались членораздельные яростные выкрики: «Руби их всех! Бей, не щади! Бей!»

Когда они прискакали на место стоянки, к холму, налетчики-враги уже умчались; остались после них перевернутые казаны, дотлевающие кошмы юрт, иногда раздавались откуда-то, из обломков и лохмотьев, стоны. Были зарублены не только стражники-нукеры степного бека, но и он сам. А Бутакез-бегим... ее и других женщин разбойники увезли с собой.

...Ибн Сина долго ощущал гнетущую боль в сердце, будто все, что он припомнил, случилось не много-много лет назад, а сейчас и здесь. Что было бы с ним, если б тогда улыбнулась судьба и соединила его с любимой, Бутакез-бегим? Ну, согласишься на это ее отец... Были бы они с Бутакез счастливы? И стал бы он тем, кем стал? Смог бы написать те книги, которые прославили его? Стал бы он тем целителем, перед чьим искусством преклоняются ныне и простой люд, и великие мира сего?

Ибн Сина усмехнулся про себя: «Эх, Абу Али, Абу Али! Считаешься мудрецом, а мыслишь, как глупец! Достиг уже пятидесяти, а все рвешься к славе? Да разве счастливые мгновения, проведенные с той степнячкой, не прекрасней, чем мишура славы? В уменье, в искусстве врачевания ты еще можешь преуспеть, а вот поди-ка преуспей в любви, поди-ка верни молодость... Ну, а дай тебе возможность выбрать,— что бы ты выбрал?»

Ибн Сина долго еще молчал. Сердце продолжало болеть, будто девушка по имени Каракез, о которой рассказывал ему Шокалон, не чужая ему, будто она его крови, дочь его собственная.

Лет пятнадцать назад в Хамадане из-за козней придворных, от которых Шамс-уд-Давля, недалекий, не смог его защитить, скрывался он, помнится, в доме у одной вдовы. Миловидная эта вдова после смерти мужа осталась с дочкой лет трех-четырех. Ибн Сина жил в пристройке во дворе, а вдова с дочкой во внутренних комнатах дома. Сначала вдова стеснялась, избегала ученого, но постепенно, присматривая за его бытом и скарбом, привыкла к нему. Абу Али испытывал к ней чувство приязни — и к ней, и особенно к маленькой дочке вдовы, голубоглазой, с милой картавинкой, девочке.

Было самое жаркое время лета. Ибн Сина поехал по каким-то срочным делам в Исфахан и остался там на не-

сколько недель. А когда вернулся, узнал, что девочке очень плохо. Она отравилась чем-то, а вдова потеряла голову, не знала, что делать. Ибн Сина тут же начал лечение. Сделал промывание, дал нужные лекарства. Девочка пришла в себя, открыла глаза, узнала его. И прошептала посинелыми губами: «Отец!»

Как ни боролся Ибн Сина, он не смог спасти девочку.

В ночь ее смерти, под непрестанные рыдания матери, Ибн Сина просидел с мертвой девочкой на руках до утра. Его терзали сомнения — в своем уме лечить и спасать, в благодати небес, в том, что жизнь самый ценный дар.

Несколько долгих месяцев мучился он, будто лишился родного ребенка, а не чужого.

Сейчас было то же...

Ибн Сина посмотрел на Шокалона:

— Эта несчастная дочь Бутакез-бегим...

— Каракез-бегим, — подсказал Шокалон.

— Каракез-бегим... в Исфахане, у эмира Масуда в гареме? Это верно?

— Я сказал то, что мне сказал сын.

— А сын где?

— Неподалеку от Исфахана, в какой-то горной пещере... Отчаялся. Решил отшельником стать... А Исфахан... Ворота города заперты, в городе — мор!

Ибн Сина вздрогнул. Побледнев, переспросил:

— Черный мор?

— Да, так говорят. Люди мрут, будто с тутовника спелые ягоды осыпаются. Ни в Исфахан зайти нельзя, ни из Исфахана выйти. Все двенадцать городских ворот заперты... Что ж делать? — я подумал. Месяц побыл у сына, в горах, а потом вот нанялся водоносом в караван, который идет в Бухару. Хочу возвращаться домой, Абу Али.

Хмурый Ибн Сина поднялся:

— Я отправляюсь в Исфахан. Если хочешь, и тебя с собой заберу. Может, что-нибудь придумаем. Решай, Шокалон!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Рыжий Абул Вафо — посланец могущественного султана, его доверенное лицо, визирь по чину, — долго смотрел вслед сарбазам, уходившим на конях к Тегинабаду, смотрел со страхом, скрывая, однако, страх свой. Сарбазы окружали крытую повозку; там, за желтой занавес-

кой, был великий Ибн Сина, знаменитый врачеватель, столь ожидаемый в Газне, но прибывший сюда из Газны!.. Правда, визирь, посланец султана и пр. и пр., почтенного Ибн Сину не увидел в лицо, потому что великий исцелитель из крытой повозки так и не вышел, а когда на миг заглянул Абул Вафо внутрь, то... Что мог заметить? Человека, на лицо которого натянута была черная кожаная маска, а через прорезы маски смотрели глаза, горящие, как уголья раскаленные.

Абул Вафо передернуло: да, такие глаза, такой взгляд... он обжегся уже тогда, когда повозка тронулась и шелковая занавеска чуть-чуть приподнялась,— обжегся он об этот взгляд, а потом сразу похолодел до кончиков ногтей.

Рябой мушриф-гонiec привез из Газны, от главного визиря Али Гариба, тайное письмо. Рыжему Абул Вафо сообщалось о том, что великого исцелителя, сопровождаемого мушрифом, тем самым рябым, никто не должен видеть до тех пор, пока глашатай не сообщит о нем людям на большом базаре Тегинабада. А после того как станет людям известно через глашатая, что к ним в город пожаловал великий исцелитель, мушриф представит Ибн Сину ему, Абул Вафо. А Рыжий Абул Вафо его, великого исцелителя, должен встретить с большим почетом, любезно и щедро, а затем Рыжему предписывалось: известив вскользь правителя Тегинабада, везти великого Ибн Сину в Газну!

Абул Вафо первый придумал план заменить истинного Ибн Сину фальшивым, но, прочитав тайное письмо главного визиря, сильно испугался: в замысле Али Гариба содержалось нечто куда более опасное и зловещее, чем предлагал он, Абул Вафо. Дело шло уже не о том, чтоб потянуть время с исполнением султановой воли. Сегодня, когда увидел незнакомца в черной маске, Абул Вафо почувствовал, как говорится, кожей всю опасность задуманного главным визирем: не на время подменить истинного Ибн Сину, а и впрямь заменить его невеждой-самозванцем, дабы тот... Не хотелось даже думать об этом...

Какой густой туман... Вокруг туман. И то, что свершится,— туманом покрыто.

Абул Вафо медленно спустился с холма и направился к синей шелковой палатке у его подножия. Месяц назад возвратился он из Хамадана и не вошел в город, а нарочно выбрал для пристанища пригородный рабат. Чтобы особый караван, подготовленный по велению повелителя

для его доверенного посланца, ни в чем не нуждался, тут, под рукой, было все: и сытная еда, и отборные кони, и разные вьючные животные, и оружия вдоволь, и одежды, и мешки с золотом — все-все, что душе угодно, было в его распоряжении.

Из синей шелковой палатки, украшенной золототканой бахромой, вышел навстречу Рыжему совсем молодой, лет пятнадцати-шестнадцати, юноша с большими ласковыми глазами. Учтиво поклонился хозяину. Молодой слуга был одет в красную шелковую рубаху и широкие шаровары, тонкая его талия перехвачена узеньким серебряным пояском. Застенчив, словно девушка, что в нем и нравилось Рыжему больше всего. Поклонился хозяину, спросил:

— Можно, господин мой, я принесу воду для омовения?..

В другое время Абул Вафо Рыжий обязательно приласкал бы любимца, но сейчас было не до этого. Он нетерпеливо махнул рукой, перебил юношу:

— Где там лазутчики?

— Неподалеку. Готовы служить моему господину.

— Зови!

Из-за палатки словно из-под земли выросли четыре дервиша в обычных для этого рода людей лохмотьях, при всех дервишских причиндалах: треухи конусом, в руках палки, переметные сумки на плечах.

Абул Вафо нахмурил рыжие кустистые брови, внимательно посмотрел на каждого лазутчика в отдельности:

— Помните, что я вам говорил ночью?

Четыре конусообразные шапки одновременно склонились:

— Помним, помним, благодетель!

— Ну, так вот... — Визирь протянул руку туда, где за туманом скрылась крепость Тегинабад.— Туда только что поскакали сарбазы... Ваш путь — за ними! Помните, что сказал: ежели потеряете след этого знаменитого лекаря, не сносить вам головы! Никому не сносить! Поняли меня?

Четыре шапки покорно склонились, как одна, перед Рыжим:

— Ясно, как день, благодетель наш.

Рыжий Абул Вафо долго смотрел вслед новым всадникам, лихо («Ну и дервиши немощные!») помчавшимся к Тегинабаду на свежих конях, им переданных. Потом не спеша Абул Вафо свершил омовение и первую сегодня молитву. Обычно на рассвете, перед тем как приняться за

нее, он неизменно обходил всю стоянку, проверял стражу, пересчитывал лошадей и верблюдов, осматривал палатки. Но сегодня у него не было настроения и сил.

Вот уже более трех месяцев он, доверенный визирь могущественного султана, скитается из-за этого великого исцелителя, неуловимого Ибн Сины. Три месяца назад глубокой ночью ворвались в его дворец два гонца от султана, подняли с теплой постели, притащили в цитадель. Небо тогда было черным, ночь была черной и холодной. В каменной цитадели, в этом мешке из высоких стен, стояла мертвая тишина, и было там тоже темно и холодно. Кое-где в узких проходах, в нишах над дверями, в старых причудливых напольных стояках-подсвечниках потрескивали, догорая, свечи; хилый их свет едва-едва вырывал из тьмы золотые статуэтки и канделябры, цветастые индийские ковры. Все вокруг казалось покинутым и печальным.

Султан лежал на пуховых одеялах и подушках в глубине просторной, с четырех углов, комнаты. Расположена она была в самом глухом уголке дворца. Абул Вафо не раз видел голубую мозаичную облицовку этой комнаты, знал восьмигранный резной столик, стоявший перед постелью султана, и, казалось, помнил даже большую хрустальную вазу и фарфоровую пиалу на крышке столика.

Но никогда еще Абул Вафо не видел такого султана!

Всегда был он худ и долговяз, но сейчас, казалось, вытянулся донельзя. А широкое и костлявое его лицо — лицо степняка — стало похоже на старую и страшную маску, будто натянули на череп желтую ветхую кожу — вот-вот лопнет; жалкая редкая бороденка с проседью взлохмачена; только глаза, запрятанные под брови, как и прежде, колючи и пытливы.

— Мой визирь! Я позвал тебя для одного дела. Но прежде чем изложить его, хочу сказать... — Султан вдруг уронил бритую свою голову-дыню на грудь, замолчал, будто думал, продолжать ли. Голос был и знаком и не знаком Абул Вафо: слабо и глухо говорил султан, всегда столь зычно говоривший. — Вот что, визирь... Я прошу простить меня, грешного. Я знаю, что обидел тебя, зря обидел. Позабыл вроде бы твою сорокалетнюю верную службу... Лишь аллах безгрешен, а человек, будь он шах или нищий... в конце концов, все мы смертные — рабы аллаха...

Ну и ну! Абул Вафо сорок лет служил этому человеку, воителю, перед которым весь мир содрогался, а тут вдруг такие жалкие слова? Впервые из его уст... На всякий случай Абул Вафо произнес:

— Солнце мира! Если что-то и было несправедливого, то... не вы виноваты, я виноват, неблагодарный ваш раб.

Слабо махнув рукой — садись, мол, — султан опять закрыл глаза. Лицо покрылось крупными бусинками пота, сморщилось, будто сплющилось.

— Враги государства распускают дурные слухи... Будто я, грешный раб аллаха, поражен тяжким недугом, впал в бессилие... — Длинные смуглые пальцы Махмуда медленно сжались в огромный кулак. — Ложь! Тысячу раз говорю: благодарение аллаху, я жив и здоров! У меня хватит сил бороться в открытую с моими врагами... кто желает мне смерти, понимаешь? Но... грудь мою грызет одно желание... не исполненное пока... — И, словно желанье это вновь схватило его за сердце, султан осторожно погладил волосатую грудь. — Видеть хочу в своем дворце этого... знаменитого врачевателя Ибн Сину, понимаешь?! Обуянный гордыней, этот лекарь вот уж двадцать лет, как отказывается служить моему трону, скрывается от меня. По сей день не обращал я на него внимания. Если б захотел... этого ничтожного... этого великого целителя видеть в своем цветнике — давно нашел бы, хоть изпод земли достал. Коли он улетел в небеса, за ноги бы стянул оттуда, а скройся он под землей — за ухо вытащил бы!.. Отныне, отныне хочу видеть его во дворце у себя!..

Голос султана Махмуда загрохотал, как бывало. Внезапный гром ударил, и показалось, что все задвигалось в большой мрачной комнате. И все же обласканный, названный ныне «мой визирь», Абул Вафо понял, что темные слухи о том, что султан сражен тяжким недугом — недугом и тела и души, — правда.

Эти слухи пугали друзей и сторонников султана в Газне и несказанно радовали его недругов. Друзья просили у аллаха исцелить могущественного, враги день и ночь молились, желая некогда могущественному скорейшей смерти. Он и сам, Абул Вафо, несколько лет назад отстраненный от участия в военных советах, жил в злорадном ожидании зловещего известия. И все же он боялся Махмуда, ах, как он его боялся!..

И потому первой мыслью, пришедшей на ум после того, как султан поручил именно ему, Абул Вафо, «до-

быть» Ибн Сину, была мысль о побеге. Бежать! Куда угодно, только бежать! Скрыться с глаз, пока не минет опасность, пока султан окончательно не проиграет единственное (и последнее!) свое сражение — со смертью. Но он, визирь Абул Вафо, отказался от побега, нашел — пусть не сразу, — что мысль о побеге и не умна и не верна. Это понял он сам, и родственники, собравшиеся у него на тайный совет, были такого же мнения. Э, убежать от этого черного ворона, от султана, чья длань достанет тебя на всем пространстве от восточных границ до западных? Да и зачем, разберемся, бежать? Все зависит от воли аллаха. Если по милости аллаха повелитель покинет сей бранный мир, то успеешь ли ты вовремя прибежать? А если он получит исцеление, что же тогда будет с отказавшимся? Со всеми отпрысками его и родней?

Так Абул Вафо стал особым тайным посланцем султана. И вот уже больше трех месяцев Рыжий в дороге.

Нет, не в дороге, а среди двух огней!

Слово «огонь» почему-то напомнило об эмире Масуде. О его узких, колючих, как у отца, и по-отцовски холодных глазах.

Вот уж верно: направо пойдешь — дракона встретишь, налево — в ад попадешь!

Рыжий Абул Вафо, устав от тяжелых мыслей, склонил голову на подушку и заснул.

Он проснулся, услышав шум. Полдень на дворе: зеленые поля и холмы вокруг рабата купались в лучах теплого весеннего солнца.

На том берегу сая¹ показались всадники.

Они! Из Тегинабада. Вон и крытая повозка с желтыми шелковыми занавесками, а за повозкой еще один отряд нукеров. От тех, кто ехал впереди, отделился кто-то со знаком посла на чалме.

«Рябой мушриф, что привез вчера тайное письмо главного визиря!» — и Абул Вафо двинулся навстречу.

Рябой мушриф, радостно возбужденный — рот до ушей, — остановил коня у самой палатки и спрыгнул с седла:

— Господин визирь! Великий исцелитель, почтенный Абу Али Ибн Сина, которого вы искали, нашелся! С помощью аллаха он лечил бедных на базаре в Тегинабаде. А теперь мудрейший из мудрых пожаловал к вам.

¹ С а й — здесь: речка у подножия холма.

«Ты и не знаешь, дуралей, что за это темное дело лишишься бестолковой своей головы», — сказал про себя Абул Вафо. Увидев бегущих со всех сторон слуг и сарбазов, крикнул во всеуслышание:

— Добро пожаловать в наш скромный стан, о великий исцелитель, достопочтенный шейх-ур-раис! Поистине велик и милостив творец мира, благодаря которому нам выпало счастье лицезреть мудрейшего из мудрых.

Подъехала крытая повозка. Рябой мушриф со знаком посла, приколотым к чалме, подбежал к повозке, распахнул натянутые на каркас занавески.

— Добро пожаловать к доверенному визирю нашего повелителя, о великий исцелитель Ибн Сина! Добро пожаловать!..

Со ступеньки повозки сначала соскочил молодой (недавно пробились усики), но весьма важный видом слуга. Он не спеша рассмотрел собравшихся перед палаткой, затем вторично распахнул занавески и, почтительно склонившись, произнес:

— Сойдите, о шейх, вас ждут.

Шахвани был одет в синий суконный халат, поверх которого струилась белоснежная мантия; серебристая чалма накручена поверх синей остроконечной тубетейки. Целитель, держа в одной руке большую книгу в желтом сафьяновом переплете, в другой трость красного дерева с набалдашником из слоновой кости, величественно спустился на землю, спокойно оглядел застывших в поклоне людей.

Нет, это был не тот Абу Халим Шахвани, который несколько недель назад ютился в лачуге Маликула шараба, о нет! Перед людьми стоял совсем иной человек — представительный и величаво-мудрый. И борода, присыпанная сединой, которая так шла ему, и дорогой суконный халат с белой мантией, и серебристая чалма на голове, и толстая, величиной с подушку, книга в дорогом переплете, и тяжелая дорогая трость — на всем, на всем в его облике лежала печать царственного ума и спокойствия. Шейх-ур-раис, да и только!

Все замерли, покоренные, растерянные. Лишь рябой мушриф, внимательно наблюдавший за всеми и за всем, отважился с почтительным поклоном обратиться к «ученому»:

— О мудрейший! Пока вам поставят отдельную юрту, соблаговолите пожаловать к господину визирю!

— Добро пожаловать! — снова сказал Абул Вафо, согбенностью своей выражая полное почтение.

Шилким, положив руку на плечо молодого красивого ученика, все так же величественно прошествовал к шелками украшенной палатке визиря. Все, даже сам Абул Вафо, с неловкой поспешностью попятнулись, уступая дороге. И опять лишь рябой мушриф со значком на чалме осмелился ввести ученого под руку внутрь шатра. Правду сказать, так этот рябой мушриф, знавший чудо-лекаря и до, и после тегинабадского базара, не очень-то благоговел перед ним. И хотя был вынужден терпеть внезапно явленную людям спесивость его, про себя посмеивался над Ибн Синой: еще бы, он сам, этот гонец, собрал глашатаев и все, как надо, объяснил им — что кричать, про кого кричать.

Расположились вокруг столика о шести углах, сотворили молитву. Рябой мушриф открыл было рот, хотел обговорить предстоящие дела, но тут «великий исцелитель» величаво поднял белую, холеную руку, показав всем золотые кольца, нанизанные на каждый палец.

— О делах мы еще успеем потолковать, почтенный мушриф! Мы, целители, обычно говорим: сначала угощение, потом — совет! Немало мудрого, скажу я вам, заключает в себе это присловье!..

Сказав это, Шахвани обратился к Абул Вафо:

— Простите меня, господин визирь, но целители, перед тем как приступить к трапезе, должны знать, что будет подано!

— Шурван-шер, — ответил Рыжий, — пища шахская, благодетель наш.

— Это особый отвар из петушиного мяса, — пояснил рябой мушриф. — Кто его съест — становится петухом, а кто не съест — курицей.

— Хвала вам, хвала... Лучше один петух, чем тысяча кур! — воскликнул «чудо-лекарь». — Ибо мясо петуха, согласно нашим ученым изысканиям и предписаниям, является лекарством от тысячи болезней... Еще что?

— Кебаб, приготовленный из печени самого молодого ягненка и жаренный на углях от веток горной арчи!

— Тоже неплохо, особенно если учесть, что ваш покорный слуга целую главу в своей книге «Аль-Канон» посвятил целебным свойствам горной арчи!.. А теперь скажите, какие будут вина к яствам?

— Вина?

— Да, вина! — Шахвани все поглаживал свою краси-

вую бороду; внезапно он расхохотался: — Ах, да... Вина не приняты... Но, господин визирь, неужто в жизни вы ничего не пили, кроме... петушиного отвара?

Рябой мушриф подхихикнул тут же:

— О великий исцелитель, вы еще не знаете господина визиря! В молодости у господина визиря во дворце устраивались такие пиры и украшали их такие музыканты и певцы, что на них... вино лилось рекой...

— Неужели?.. А красавицы? Иль господину визирю после петушиных бульонов не приходилось иметь дел с курами?

— О благодетель, вы еще не видали тех, кто прислуживает господину визирю и за столом, и...— Увидев поваров с подносами, рябой закричал: — Вина! Вина! Целый хум вина!

Через мгновение стол был накрыт. И отменно.

В серебряных блюдах подали миндаль в мягкой, тонкой скорлупе, хурму, финики, фисташки, золотистый изюм и черный изюм; громоздились на столе тонкие лепешки из теста, приправленного соком сливы, пирожки-самса, жаркое из перепелки; принесли и знаменитый шахский бульон,— словом, в изысканных яствах недостатка не было.

«Великий исцелитель» умеренности в питье и в еде не проявил. В разгар пира он, взглянув уже несколько осоловело на Абул Вафо, положил руку в кольца на тяжелую свою книгу:

— Сожалею, что вы, господин визирь, не прочитали мой труд! И жаль, что люди по своему невежеству не ведают о жемчужинах мудрости, собранных в нем вашим покорным слугою, а если б прочли, то узнали, что хорошее вино, как и луноликая красавица, есть благоденствие аллаха! Женщина — это лакомство, так сотворил аллах, стало быть, не отдавать ему должного внимания есть грех!.. Тем более после шурван-шера... Или господин визирь,— ученый склонился к Абул Вафо,— лишен счастливой способности... лакомиться? Но мы тогда в два счета вылечим от такого недуга.

Абул Вафо сидел невеселый, уставившись в одну точку. Желтоватые глаза его не ответили на шутку.

— Ну-с, раз так... — сказал «чудо-лекарь», оглянувшись, где ученик.— Запиши-ка. Иначе господин визирь не поймет наших пожеланий. Возьми бумагу и перо. Взял? Пиши... Ежедневно утром и вечером нам следует подавать сливки, сбитые из молока горной газели.

Абул Вафо Рыжий поднял глаза на рябого мушрифа.

— Горная газель?

— Не газель, а молоко газелье. Еще точнее — сливки из этого молока, или вы не лакомились... гм... сливками, господин визирь?

— Ел их, конечно... но... горная газель?

— Почему вы удивляетесь, господин визирь? Иль в великом султанате нет гор?

— Есть, благодетель, есть!

— Иль в этих горах перевелись газели, господин визирь?

На этот раз вместо Абул Вафо ответил рябой мушриф:

— Хватит, хватит спорить... Такому целителю, как вы, мы найдем не только молоко горной газели, но, если захотите, яйца птицы Анко¹.

— Благодарю покорно!.. Далее. Шербет из тутовника, балхского тутовника.

Абул Вафо, моргая глазами, спросил:

— А если шербет будет сделан из гератского? То есть тутовник из Балха будет, но привит в Герате!

— Нет, нет! Я употребляю только балхский, чистый балхский.

— Сделаем! — снова воскликнул рябой мушриф, сверкая глазами.

— В полдень... мясо молодой газели, жаренное на миндальном масле с измельченной сайгачьей травой, базиликом и мятой! Запомните: если хоть одна из этих трав будет отсутствовать, я это узнаю по запаху за сотню шагов.

— Сделаем, почтеннейший!

— Ужин должен быть легким... Так советует мой «Канон». Кебаб из перепелки и то, что вы предложили сегодня, — бульон петушиный. Ну, а если к нему будет доставлена какая-нибудь нежная птичка... не целованная еще и матерью красавица, то на вас так и посыплются благодарности аллаха!

— Хвала, мой благодетель, хвала вам! — выкрикнул рябой мушриф.

А Абул Вафо все глядел и глядел в одну точку. Он знал, знал, кто перед ним, но когда Шахвани прибыл сюда, степенность «ученого» посеяла в душе визиря некие сомненья; теперь, после похотливых намеков и требований, все эти сомненья рассеялись. Но тем лучше он понимал, сколь будет опасно не выполнить требований.

¹ Анко — сказочная райская птица.

Нецелованную невольницу — где ее возьмешь?

— Простите меня, о великий шейх,— боязливо заговорил Абул Вафо.— Те райские птицы... о которых вы говорили... они должны каждый вечер меняться или... вам нужна одна?

— О господин визирь! Что может быть прекрасней, чем ежедневно прилетающие новые птички? — со смехом воскликнул «великий исцелитель». И вдруг, что-то вспомнив, перестал смеяться.— Да, вот оно что! Я слышал, что... младшая любимая жена правителя Бухары Алитегина находится в плену в крепости Тегинабад!

Визирь испуганно посмотрел на рябого мушрифа:

— Любимая жена эмира Алитегина?

— Да, я это слышал. Когда покровитель правоверных, великий султан Махмуд свершил победоносный поход в священную Бухару; он забрал в плен любимую жену и дочь эмира Алитегина. И говорят, что эти знатные узницы находятся в крепости Тегинабад. Может быть, вы их найдете и привезете сюда, господин визирь?

— Нет, нет, это невозможно! Эти пленницы не в Тегинабаде, их содержат в другом месте! А потом... это же собственность повелителя.

— Хвала, хвала вам, господин визирь! — «великий исцелитель» опрокинул очередную пиалу вина и погладил свои красивые усы.

«Покровитель правоверных надзирает за ними, но сам завтра-послезавтра попадет под наш надзор! И его трепещущая, как птичка, жизнь будет в моих руках!» — так хотел было молвить охмелевший Шахвани, но — не успел, слава аллаху. Ибо у порога, держа в руках угощения на серебряном подносе, возник черноглазый молодой слуга Абул Вафо. Его густые, как у девушки, ресницы были застенчиво опущены долу.

— О!.. Иди же сюда, звезда души моей, не стесняйся, заходи, мой хороший! О, какое счастье быть жертвой твоих глаз! — заговорил Шахвани, чуть не захлебываясь словами.— Вы свободны, господин визирь и господин мушриф. Ваш покорный слуга должен отдохнуть! Пусть мне прислужит этот солнцеликий юноша. Вы же все свободны, свободны...

Рыжий Абул Вафо вышел из палатки, будто облитый нечистотами. Он шел, проклиная гостя, и оборачивался, как старая верблюдица, которую разлучили с верблюжонком.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Глава государственной канцелярии, досточтимый господин Абу Наср Мишкан лично проводил Бируни до самого его дома, — их обоих почтительно сопровождали нукеры. Прощаясь с освобожденным из узилища ученым, вельможа вновь подчеркнул, что сегодня, скорее всего сегодня, за мавляной будет послано из дворца и нужно быть полностью готовым встретиться с султаном...

Калитку мавляне открыл Сабху. Увидев учителя живым, он сразу, не произнеся приветствия, пал на колени, стал творить благодарственную молитву, то целуя землю, то вскидывая лицо к небу. И всегда-то худощавый, юноша еще сильнее похудел, стал тонким, будто пруттик. Бируни покачал головой, поднял Сабху с земли, вошел во двор. Там было чисто полито, цветы и трава базилик выглядели ухоженными.

— Где Садаф-биби?

— Садаф-биби!.. — Сабху снова рухнул на колени и стал биться лбом о землю. — Мы лишились ее, учитель, лишились!

— Как и когда?

— В ту же ночь... в ту же ночь, когда вас увели. Четыре сарбаза ворвались к нам тогда, схватили ее, бросили в повозку...

Бируни долго стоял, прислонившись к стене дома. Почему-то вспомнился ему Пири Букри. Темный сырой погреб торговца, круглая, похожая на черепаху коробочка с драгоценным камнем.

Это он, горбун! Это его рук дело, грязное дело его грязных рук! Но тогда откуда сарбазы, о которых говорил Сабху? Нет, ночью в чужой дом могут ворваться сарбазы только из дворца! Неужели султану Махмуду понадобилась бедная девушка-рабыня, ему-то, у кого такой громадный гарем?!

«Может, эту тайну разгадает Маликул шараб?» — подумал Бируни. Но по рассказам Сабху, который все еще не поднялся с колен, тут же выяснилось, что, когда был схвачен Бируни, в ту же ночь и Маликул шараб был схвачен и тоже брошен в темницу. Почему? Этому никто толком не знал: одни говорили, что будто бы за богохульство, другие — что, мол, предерзостно отзывался о великом султানে, третьи шептались, что в зиндан его бросили вовсе не по велению султана, заговорщики-визири свершили это дело.

Дом без Садаф-биби — словно мрачная каморка без свечи. Бируни вдруг с особой силой ощутил, что и жизнь, и жилье его освещало и обогревало присутствие Садаф-биби, ее милое личико, ее застенчивая улыбка, ее тихие песни, порой грустные, а порой веселые, и приятный слуху хорезмский говор с картавинкой.

Что же делать? Где искать девушку? Кто поможет ему в поисках?

Вдруг пришла мысль — Хатли-бегим, только она!

Бируни и желал, и не желал встреч с этой властной женщиной. Нетерпеливо ожидал он теперь султанских гонцов, о которых говорил ему Абу Наср Мишкан. Но почему-то гонцов не было. Прошла ночь, прошел день — из дворца ни слуху ни духу. Бируни и не выходя из дома чувствовал, что тревога, нависшая над городом, растет.

В бессонные ночи и дни, полные тоскливого напряжения, он строил разные планы спасения Садаф-биби и Маликула шараба, но сам же и разрушал их, легко доказывая себе, что они фантастичны. Чтобы отвлечься от водоворота томительных предположений, он хватался было за свою «Индию», а иногда мысленно отправлялся в обсерваторию — чтоб проверить идеи, родившиеся в темноте.

Прошло несколько «пустых» дней, и он на самом деле отправился в свое «убежище звездочета».

Обсерваторию построили перед походом султана в Индию, на вершине горы Кухишер, над городом, выше крепости. Двухъярусная, кругом, постройка возведена была быстро, под его собственным руководством. На верхнем ярусе размещались различные приборы для наблюдения за движением небесных тел, на стенах висели таблицы звезд, вычисления, календари. А нижний ярус здания составляли многочисленные комнаты: побольше — для собраний ученых, состязаний поэтов, и поменьше — уютные комнаты переписчиков. Особенно много работы у них бывало, когда приходилось переписывать хвалебные оды, посвященные султану.

Раньше султан приходил сюда довольно часто. Любил сидеть ночами у инструментов, беседуя с астрономами и астрологами, любил слушать оды и поэмы, написанные «садовниками сада поэзии» — его сада. Каллиграфы старательно переписывали — десятками и сотнями свитков — самые пышные стихи: они больше всего нравились Махмуду, он потом отправлял эти свитки в подарок иноземным правителям. В последние же годы султан Махмуд

впал в слишком явное благочестие; особенно после того, как заболел. Не по душе стали ему ни пиры, ни стихи, ни ученые беседы. «Убежище султана», обсерватория потеряла прежнюю привлекательность и для многих ученых, и совсем перестали ее посещать поэты и музыканты. Остались верны «убежищу звездочета» — верны Бируни! — мавляна Абу Талиб Фаррухи, поэт Зийнати да молодой способный историк (и прекрасный художник-каллиграф) Абу Фазл Байхаки.

Бируни и раньше проводил большую часть своего времени в тихих комнатах этого убежища знаний: занимался чтением, наблюдал вечно изменчивое небо, а когда уставал, любил беседовать с друзьями об астрологии, геометрии, философии; ну, а теперь, когда он не находил себе места дома, обсерватория тем паче стала для него желанным прибежищем.

Бируни принялся за прибор, идея которого озарила его в тюремном подземелье.

Идея... замысел... Казалось, основательно созрели они в голове Бируни. Выяснить тяжесть минералов относительно тяжести воды, вытесняемой ими. Вес одной десятой мискалы золота взять за единицу измерения... Идея верная. Замысел прибора обоснован. Но как превратить идею в нечто материальное, сделать не только открытие, но — изобретение? Долго оно мучило его. Особенно весы, которые должны быть припаяны под носиком кувшина, весы необычайно чувствительные!

Может быть, они уже были — они или их прообраз — у какого-нибудь ювелира?

Бируни обошел всех знакомых ювелиров. Кроме Пирри Букри. Но весов, которые ему были нужны, ни у кого не нашел. Даже у дворцовых менял.

Заботы изобретательские несколько отвлекали ученого от горьких мыслей о Садаф-биби; он, можно сказать, запирался — на день и на ночь — в обсерватории. Или ночью дома пытался забыть за чтением.

Шли дни. И вот однажды, когда Бируни остался ночевать дома, его разбудил незадолго до утра Сабху. Ученого поджидали на улице конные стражники. А с ними был и Абу Наср Мишкан — в знакомом синем суконном халате, в синей чалме.

Близился рассвет, вокруг горланили петухи, взлаивали, пробуждаясь, собаки, иногда слышался рев ослов, но небо все еще было полно звезд, и каменные плоскифоны, установленные кое-где перед богатыми домами,

еще светили. Всадники галопом понеслись по берегу Афшан-сая, на мгновение остановились у султанского сада, но от его ворот повернули не влево, в сторону главного дворца, а направо, по дороге, ведущей за город. Вскоре лавки, торговые ряды, караван-сарай и мечети остались позади; открылись скачущим невысокие холмы, зелеными грядами тянувшиеся друг за другом, а за ними засверкал позолоченный купол мечети кладбища, большого загородного кладбища.

Бируни удивленно посмотрел на всадника рядом с собой. Глава дивана, досточтимый Абу Наср Мишкан со значением кивнул головой, приставил палец к губам: «Потерпите, мавляна, потерпите — сейчас все узнаете».

Вскоре и кладбище осталось позади справа; всадники двигались к густой арчовой роще, откуда ветер доносил горьковатые острые запахи молодой травы и ветвей. Среди деревьев обнаружилась почти круглая поляна. И точно посередине ее ярко светилась большая желтая юрта — «золотой купол», как тут же назвал ее про себя Бируни.

В стороне от этой юрты расположилась еще одна, поменьше, там бродили нечетко различимые глазом людские тени.

Глава дивана слез при помощи нукеров с коня, чуть согнулся, потер занемевшие в скачке икры ног. Бируни спрыгнул на землю сам.

— Мавляна, состояние повелителя правоверных тяжелое, — сказал вдруг Абу Наср. — Умоляю, не отказывайте ему ни в чем, дорогой!

Шелковый вход юрты распахнулся: вышла женщина, закутанная вся, до щиколоток, в черное. Приблизилась к ним. Чуть приподняв черную кисею на лице, тихо произнесла:

— Здравствуйте, мавляна!

Хатли-бегим?

Хатли-бегим. Снова полностью закрыв лицо, Хатли-бегим сквозь кисею сказала сановнику:

— Надеюсь, вы не забыли недавних моих слов. Эта встреча должна остаться в глубокой тайне. В глубочайшей... Времени мало, быстрее заходите вовнутрь. Я уезжаю и буду ждать в «Невесте неба», в своих покоях.

Бируни вслед за главой дивана вошел в юрту. Пространство большое, человек на сто, но — безлюдно, полутемно и пусто. Еле теплилась одна-единственная свечка. Слева от входа, в глубине, рядом со стенкой, затянутой

простой черной материей, на высоко застеленной постели из белых кошм лежал человек в черной шапке на голове и в черном шерстяном чекмене.

О аллах! Это султан Махмуд? Этот длинный скелет, затянутый в черное?!

В юрте, кроме шелковых занавесей входа, не было ничего дорогого. Простые кошмы по стенкам, и на полу медный таз, кумган,— все было старое, ничем не украшенное, изношенное.

Султан Махмуд, почувствовав, что кто-то зашел в юрту, хотел приподняться, но Абу Наср Мишкан проворно подбежал к ложу, присел на корточки, поправил подушки под головой и под боком лежащего. Султан словно и не видел сановника — смотрел на Бируни, только на Бируни, поблескивающими, как ртуть на дне наперстка, глазами. Взглядом молча подозвал ученого подойти поближе. Закрыв глаза, заговорил медленно и трудно:

— Мавляна Абу Райхан... делать нечего, все мы, грешные,— рабы аллаха, жизнь наша в руках создателя, короткая, с воробьиный клюв... в моей душе одно желание... увидеть хоть раз Ибн Сину! — Султан, издав глухой стон, сглотнул слезу, что просочилась у него сквозь ресницы.— Всевышний свидетель,— продолжал он,— желание это вызвал во мне он сам, создатель. Я позвал вас... чтоб последнее желание не унести с собой в гроб!

Глава дивана поспешно достал из кармана платок, приложил к глазам.

— Покровитель правоверных! Да исполнит создатель ваше желание! От визиря Абул Вафо пришло к нам известие: с неделю назад он выехал из Тегинабада вместе с великим исцелителем, а мавляна Бируни сегодня же отправится им навстречу, дабы поторопить их, быстрее привезти Ибн Сину в Газну.

Неужели все это правда? Неужели тот, кто двадцать лет отказывался служить султану Махмуду и потому скитался на чужбине, решил ехать в Газну? Неужели удастся увидеться с ним?

Волнение на лице Бируни султан заметил. Но истолковал по-своему.

— Простите меня, грешного, мавляна,— промолвил он.— Да, я виновен... сгоряча вас обидел. Как теперь быть? И как иначе поступать? Дела в государстве таковы, что обладатель трона вынужден то увещевать своих

подданных, то быть жестоким с ними, третьего пути — нет!..

Ярко вспыхнул на миг в душе Бируни мстительный огонь, костер, питаемый давними бунтовскими мыслями, которые приходили к нему бессонными ночами, которые мечтал бросить в лицо когда-нибудь этому грозному, жестокому самодержцу. Да, болела, давно болела и горела душа, негодующая из-за несправедливых дел султана, душа, воспитанная непреклонным Абдусамадом Аввалом. Ну так что, наступил этот миг мщения? Ударить теперь словами горькой правды... Кого? Деспота? Или вот этого распластанного на старой кошке, бессильного, жалкого старика с печальными, предсмертно-ртутным блеском сверкающими глазами?

— Поверьте моим словам, мавляна, я, ничтожный раб аллаха... я знаю свои грехи... Пришел на кладбище... поклониться могилам святых. Если кому-то из правоверных нанес обиду, поступил несправедливо, то хочу испросить у духов святых прощенья... если нанес ущерб чьему-то имуществу, то вернуть... хочу... десятикратно. Решил сделать так, чтоб каждый пострадавший правоверный простил меня, грешного. Вот глава дивана... он знает, он свидетель. Три дня назад снарядил в Тус еще одного верблюда, нагруженного золотом... Хочу установить мраморное надгробие на могиле того самого... шаха поэтов... что написал «Шахнаме»... Абулкасима Фирдоуси... хочу построить еще одну соборную мечеть в городе, где он родился!

«О всевышний! Почему же совесть и раскаяние ты не вложил в душу этого спесивого раба своего лет эдак тридцать назад? Почему не пробудил в нем раньше справедливости и сочувствия — раньше, еще до того, как он причинил стольким людям столько несчастий?! Нет, только посол смерти Азраил, а не совесть — причина раскаяния этого жесткосердого».

Султан между тем все так же униженно продолжал:

— Не верите мне? Но аллаху видна истина, мавляна! Уже десять лет я сожалел о том, что обидел... Абулкасима Фирдоуси. О, почему, почему шаха поэтов под свое крыло я не взял, почему послушался коварных визирей и прогнал его из Газны? Почему, получив его книгу, с головы до ног не осыпал золотом написавшего... такую книгу?!

Абу Наср Мишкан снова схватился за платок. Чуть ли не рыдая в голос, осмелился возразить:

— Солнце нашего мира, не надо терзаться... Вас ввели в заблуждение жалкие завистники. Вы же... вы истинно покровитель наук и искусства... И если бы он сам, шах поэтов, не поддавался тогда гордыне, а склонил бы голову перед вами, султаном султанов, десницей всевышнего, покровителем правоверных, то тогда бы он, Абулкасим Фирдоуси — пусть аллах предоставит ему место в своем цветнике! — был бы счастливейшим из поэтов!

— Благодарю тебя за доброе слово...

Бируни стоял перед ложем султана Махмуда, молча, склонив голову. Ему живо представилась старая баня в нищем квартале Афшаны. Помещение было заполнено неудачливыми стихотворцами, опустившимися до нищеты, старыми музыкантами и певцами, и там-то, среди бесприютных этих нищих, выпрямившись гордо, стоял гневный бородач старик. В одной руке держал он глиняную касу, наполненную мелкими серебряными монетами, в другой — чашу вина. Он выпивал, потом ее наполнял, и снова он пил и пил, одновременно успевая пригоршнями брать из касы монеты и бросать их вверх, — монеты сыпались на землю, но никто даже не смотрел на них, потому что все были заворожены величественной осанкой и бунтарскими словами старика:

— Меня называют шахом поэзии, но я такой же нищий, как и вы. И до того как написал «Шахнаме», и когда закончил «Шахнаме»! Вот, берите деньги, которые я получил за «Шахнаме»! Половину вам, половину отдам обратно султану Махмуду. А то ведь этот победоносный султан после похода в благословенную Индию опустошил казну и сам, видно, стал нищим, как и мы!

Монеты падали и падали на пол, с веселым звоном катились во все стороны. Этот звон слышали, но не ему внимали восторженно кричавшие нищие, бесприютные, калеки:

— Да благословит вас аллах, учитель!

— Вы не нищий, вы старейшина всех нищих, учитель!

— Не старейшина, а шах обездоленных и бедняков!..

Бируни с трудом прогнал наваждение. Почему-то вспомнил Маликула шараба. Хотел было попросить за него. Но султан опередил:

— Передайте великому исцелителю, мавляна, что в священной Газне его ждет самое высокое уважение. В тот день, как пожалует он во дворец, я дам ему столь-

ко золота, сколько весит он сам, мудрую голову его украшу жемчугом... Там, где у нас воздух особенно чист, построю ему дворец, из своего гарема... подарю луноликих рабынь, самых, самых... прекрасных.

«О, этот странный, изменчивый мир подлунный! Вот какие бывают метаморфозы: султан Махмуд, грозный деспот Махмуд сегодня согласен упасть в ноги Ибн Сине! Выходит, что свершается возмездие? Что оно возможно здесь, в этом мире! Но... пусть тогда сделавший добро и найдет добро, а сделавший зло будет наказан злом».

— Будьте спокойны и вы, мавляна! Если достопочтенный Ибн Сина достигнет у нас зенита уважения... вы тоже... такое же уважение мы окажем и вам.

Вот когда подошло время сказать о Маликуле шарабел!

— Вашу доброту никогда не забуду, повелитель! Только... простите меня... есть одна нижайшая просьба, повелитель!

— Говорите, мавляна!

— В тени чинары вашего великого государства прозябает один... дервиш... бедняк... имя его — Маликул шараб...

— Дервиш? Он — богохульник и пьяница!.. Ну, так что дальше?

— Еще раз нижайше склоняюсь перед вами, покровитель правоверных. Этого раба аллаха кто-то зачем-то бросил в зиндан, престарелого, больного, немощного.

Султан с трудом воздел костлявую свою руку:

— В другой раз на такую вашу просьбу, мавляна, я не обращаю внимания. Знайте это... Ибо нечестивый тот пьяница... Ну да ладно! Уважим просьбу мавляны о помиловании того... непутевого. Пиши указ, Абу Наср!

Бируни, прижав ладони к груди, попятился из юрты. «Э, надо было бы и про Садаф-биби сказать. Нет, у сильных мира сего дважды просить нельзя. Лучше об этом поговорить с Хатли-бегим!»

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Лишь только Бируни и глава государственной канцелярии покинули юрту, султан обессилел. Долго лежал он, не шевелясь. Думал. Вспоминал.

Вчера перед заходом солнца прибыл он сюда, на эту

поляну среди холмов. Кладбище было рядом, но такое соседство не помешало почувствовать облегчение, боли в боку, кажется, смягчились, ноющая ломота с беспрестанным ознобом во всем теле вроде бы отпустила. Зажглась в душе свеча надежды, и хоть мигала она, но теплилась. И когда со стороны кладбища послышался голос муэдзина, призывающего к молитве, султан прослезился умиленно: голос звучал так чисто, так сильно и четко, что думалось — этот голос и эхо его в горах ниспосланы именно ему, снисходят с небес, позволяют надеяться. И потому в памяти ожило воспоминание об отце.

Тогда Махмуд был еще молод. Отец, эмир Сабуктегин, — дай ему аллах благополучие в загробной жизни! — начал поход в Нишапур. Как и сейчас, стояли теплые весенние дни. Путь в Нишапур тянулся среди невысоких холмов и зеленых лугов. Войско шло в радостно-приподнятом настроении. Во время вечерних остановок в шатрах знати устраивались пиры с участием самых прославленных музыкантов, певцов, поэтов.

Однажды, когда дошли до Хоксора — Нишапур был уже недалеко, — случилось нечто поразительное. Сабуктегин вдруг всех обогнал, ускакал вперед, пропадая из глаз меж холмами. Удивленные военачальники не знали — то ли догнать эмира, то ли оставить его в покое. А эмир все скакал и скакал. Поднимался на один холм, осматривался с его вершины, потом скакал к следующему. Наконец на одном из холмов остановился, будто нашел то, что искал, спрыгнул с коня и, пав на колени, принялся целовать землю. Молодой Махмуд, догнав отца, увидел у него в руках большой железный кол. На глазах сына отец, весь в слезах, поцеловал этот кол, а потом обратился лицом на запад и стал свершать намаз. Все были удивлены. Отец же читал одну молитву за другой. Наконец провел ладонями по лицу, поднялся с колен. Отдал громкий приказ поставить на верхушке этого холма, где он нашел железный кол, палатку, зарезать баранов, дабы угостить войско.

Когда вечером после захода солнца собрались у него военачальники, рассказал он о случае, что произошел с ним в давнее время, когда его купили как раба на бухарском рынке. Перекупщик был очень скуп; по дороге в Нишапур пала под ним от жары кляча, так седло и сбрую он тогда навьючил на Сабуктегина и погнал раба по бескрайней палящей степи.

— Согнувшись под ношей, босой,— рассказывал отец,— наступая на колючки, шел я неделю, теряя силы. Таких мук пусть никому никогда не пошлет всевышний. Дух покидал уже мое тело, когда однажды вечером мы сделали привал вот на этом самом холме, где вы сидите. От меня осталась лишь тень. Не мог проглотить глотка воды; дошел сюда и упал, гладил истерзанные свои подошвы, не спал до самого утра, плакал и просил аллаха, чтоб прервались мои страдания, быстрее исполнилось то, что выпало мне на роду... К утру усталость победила: я задремал. И приснился мне сон... Ко мне подошел белый-белый старик, в руках палка, на голове пышная чалма.

«Эй, раб аллаха! — воскликнул он.— Почему ты обращаешься к небесам с такими стенаниями? Почему хочешь умереть?»

«О святой отец! Если не мне, то кому же стенать? И не лучше ли смерть, чем такие страдания?»

«Аллах с теми, кто терпелив,— сказал седой старик.— Я слуга аллаха, пророк Хызр! Будьешь терпелив, и освободит тебя всевышний от всех несчастий, и станешь ты удачлив, и будущее твое будет светлым! Тебя ожидает корона великого государства — будь терпелив, сын мой, терпелив!»

Проснулся я. Прослезился. Хотя рассвет близился, люди в караване еще спали. Встал, совершил омовение, принялся за молитвы. После каждой боль в теле утихала, пятьдесят молитв сотворил,— такую силу в себе почувствовал, что оставшуюся до Нишапура дорогу бегом, словно конь, пробежал. Через два дня мы пришли в Нишапур. Перекупил меня там эмир из войска семьи Самани. Эмир Алитегин — пусть аллах обережет его дух! — был способным и храбрым военачальником, а еще великодушным человеком. Он полюбил меня и приблизил к себе. Я служил ему честно, в битвах не скрывался за чужими спинами, оправдал хозяйскую хлеб-соль. Ну, и, согласно пророчеству Хызра, стал вот сам хозяином...

Со вчерашнего вечера султан Махмуд жил в ожидании чего-то необычного. Рассказ отца не шел из памяти. Казалось, что пророк Хызр придет во сне и к нему, сыну Сабуктегина, напорочит исцеление.

Султан лежал тихо, закрыв глаза, беззвучно в мыслях обращался к небу, просил избавить от болезни. Несколько раз мерещился ему в темном углу юрты, куда не до-

бирался луч света, белый старец. Он ловил его взгляд, вроде бы даже слышал тихий, ласковый голос. Но стоило приоткрыть веки — благообразный старик исчезал.

А сейчас вот шелковая занавеска у входа качнулась... показался белый старец с посохом в руках... весь белый, от пят до чалмы, благообразный... нет, это не старец, а сам Хызр, и лицо его светится, и лучи этого света достигают султановой постели. Хызр остановился у порога, что-то произнес шепотом. Не слышать было... О милосердный создатель! Неужели и это сновидение, только сновидение? Открыть глаза? Но добрый святоликий старец опять исчезнет... Нет, султан не откроет глаз... Говорите же, благодетель, говорите! Раскройте ладони для молитвы! Пусть грешный раб аллаха выздоровеет! Возьмите меня под покровительство свое, исцелите... И я день и ночь буду звать к аллаху об отпущении грехов, и всю жизнь, всю оставшуюся жизнь посвящу служению всевышнему!

— Покровитель правоверных, пробудитесь!

Голос святого Хызра тих, волшебю ласков, а этот возглас гремит в ушах. Но, может быть, Хызр умеет говорить и так, хрипло и властно? Не открывая глаз, Махмуд зашептал: «О всемогущий! Благодарен тебе тысячу раз, ты внял моление грешного своего раба!»

— Покровитель правоверных! Пробудитесь. Уже рассвет. Люди собрались, не упустить бы нам время первой утренней молитвы.

«А-а, это не Хызр, снова это не Хызр! Это — мой духовный наставник имам Саид».

Все же на душе Махмуда посветлело.

— О наставник! Вы явились сейчас мне, грешному, в образе Хызра. Погладили мой лоб, пожелали счастья, благословили! Это знак свыше, правда? Даст аллах, теперь я вылечусь, наставник, вылечусь!

Имам Саид поднял глаза, воздел белые холеные руки ладонями вверх:

— Да сбудется ваше желание! Ежедневно и еженощно будем молиться за вас, покровитель правоверных! Да будут приняты аллахом наши пожелания! Болезнь — незваный дурной гость — да покинет ваш дом, ваше тело. Аминь!

Имам провел ладонями по лицу. Наклонился к султану:

— Ну-ка, встанем во имя аллаха, милостивого и милосердного!

Глаза султана блеснули из-под надбровий, будто свечки из глубины темной лачуги. Иссохшее тело его обрело вдруг силу — осторожно встал с постели, постоял минутую, двинулся к выходу.

Возле юрты сгрудились улемы, все в одинаковых зеленых суконных халатах, поверх которых накинута снежно-белые мантии; выстроились в ряд военачальники, визири, сановники, столпы веры и столпы державы...

Солнце еще не выкатилось из-за горизонта, но верхушки гор вдаль начинали окрашиваться в бело-розовый цвет. Ах, как все вокруг жило, цвело, благоухало! Под ногами в высокой траве стрекотали кузнечики, от Афшан-сая доносилось кваканье лягушек, запахи арчи, степной полыни, полевого осота, дикого лука, мяты кружили голову.

Султан сделал несколько шагов вперед, — ему хотелось с края холма поглядеть на Газну, дымившуюся неясной громадой там, за Афшан-саем.

Его любимый город! Да, великий эмир Сабуктегин основал Газну, но это его, его, победоносного султана Махмуда, город!.. Священную Газну, украшение мира правоверных, воздвиг он — трудом своим, любовью, могуществом!

За грядами холмов, а далее за густыми садами угадывал глаз высокие порталы дворца «Невеста неба», лазурные купола здания государственных учреждений.

Из всех построенных им в Газне дворцов, палат и мечетей султан особо любил «Невесту неба». Сад Феруз и этот лебедино-белый дворец, чистый, как невинная невеста. Тихие дорожки сада, цветники, омытые серебряной водой из фонтанов, редкостные финиковые пальмы, прозрачные водоемы, отделанные китайской мозаикой, лебеди, павлины, переливающиеся на солнце всеми цветами радуги, и рядом беломраморные колонны, успокоительно-прекрасные пропорции дворца! «О создатель! Дав мне эту красоту, дворец и райские сады, теперь, когда только бы и жить в покое и счастье, ты хочешь лишить меня всего этого? Но тогда что же... судьба султана Махмуда Газнийского, того, кого называют покровителем правоверных и десницей аллаха, такая же, как вон у тех нищих и калек, которые бредут на кладбище Мазори калон? И конец одинаков — холодная могила? Но тогда почему в Коране, в святой книге твоей, сказано: «Ас салотин

зуллуллохуфил арз»¹. Поднял меня выше всех своих рабов, о творец всего сущего, но зачем... зачем?»

— Принесите паланкин!

Это приказал Али Гариб. Радостно присоединился Абул Хасанак:

— Не спешите, не спешите... я сам... я сам... Повелитель, просим вас...

Султан не без труда влез в паланкин, откинулся на подушки.

Рапят² двинулся в сторону кладбища. Впереди шествовал имам Саид, увенчанный зеленой чалмой, шествовал медленно, как сытый гусь, мерным постукиванием посоха задавая нужную скорость общему движению. В желтоватых глазах имама сияло довольство. Даже серебристая борода, что доходила до середины живота, казалось, излучала важность. Еще бы! Ведь не кто иной, как он, имам, сумел подчинить себе могущественного султана; весь мир дрожал при имени «Махмуд», а он, наставник Махмуда, теперь его сделал таким, что скажет: «Ложись!» — тот ляжет, скажет: «Встань!» — вскочит. Правда, султан и никогда прежде не шел против имама Саида. В какой бы край ни ступило победоносное войско, всюду по совету имама строились новые мечети, султан радовал улемов щедрыми дарами. Но никогда прежде не был Махмуд столь покорным имаму, как сейчас! Да, он и раньше не отвергал советов и наставлений имама, но, если надо было, тайно делал свое. Кстати, и недавно тоже... За этим нечестивцем Ибн Синой послал гонца, имам не спросясь. Вот и теперь ждет его день и ночь! Иمامу донесли и о том, что султан освободил другого нечестивца, Абу Райхана Бируни, решил послать одного гордеца, Абу Райхана, за другим... Этот Абу Али возмнил себя выше аллаха!

Правда, нынче, когда султан завел разговор о Хызре и сказал: «Вы сегодня показались мне в образе Хызра, наставник», — видно, прояснилось у султана в голове. Да будет так! Теперь слово имама станет законом для всех! И ни один человек, а уж тем паче нечестивый лекарь, не сможет прибрать к рукам султана! Он — его мюрид, он послушник имама Саида, и только имама Саида!

...Как волнуется под ним паланкин, качается, потряхивает. Хочется закрыть глаза. Но нет сил закрыть их...

Небо совсем синее, и на синем белые-белые облака.

¹ «Властители — тень моя на земле».

² Рапят — процессия религиозного характера.

Словно лебеди. Нет, не лебеди. И не облака. Человек, на нем белый халат, на голове остроконечная белая шапка.

О святой пророк Хызр! Или нет, это видно, Ибн Сина — великий исцелитель. Да, да, это он, досточтимый Ибн Сина! Видно, не зря привиделся недавно пророк Хызр! Это ведь Хызр является ему сейчас в образе Ибн Сины! Знак, знамение свыше.

Слезы стали душить султана, и он опять закрыл глаза.

И тут послышался гул толпы, шумевшей, как море, или — как большая река.

Нечестивец Маликул шараб говорил ему: «Хоть всю казну в милостыню преврати, а грехов совершенных с себя не смоешь!» Ан нет! Он, султан Махмуд, оказывается, сделал немало доброго! Вон вся Газна пришла! Все, кто может ходить, все правоверные пришли помолиться за него! Только... где Бобо Хурмо, ну, тот, о ком говорил Кутлуг-кадам, где он? Его нужно найти! Всех, кого он обидел, всех нужно найти, дарами выпросить у них себе прощенье.

О создатель! Вот когда пришли к нему мысли о справедливости и совести — когда поразил тяжкий недуг.

Могучая река грохочет все сильнее и сильнее. В гуле ее различимо пение дервишей, крик слуг: «Берегись, берегись!» Что это они несут на плечах?

— Это чей гроб?

— Не гроб, пустоголовый! Паланкин. Там наш повелитель.

— А, повелитель. Да благословит аллах... его душу. Совестьливый, справедливый был султан Махмуд!

— Совестьливый, справедливый, говоришь? Ха-ха-ха! Чтоб и надгробный камень сгорел на могиле такого «совестьливого»!

«О творец! Выходит, это его хоронят? Коварные придворные! Говорили: надо посетить могилы святых, а понесли его, его самого хоронить! Но я ведь жив... Хотят живым зарыть в могилу?!»

Султан пробудился, будто вынырнул из кошмара. Отдернул занавески, приподнялся на локтях, выглянул наружу... Слуги. Высокомерные столпы веры и столпы державы, укутанные в зеленые и златотканые халаты. Дервиши, гремящие сосудами для сбора подаяний, нищие, протягивающие руки, черные и страшные, словно прокаженные в лохмотьях... Море бушует. Река пенится, переполненная, выходит из берегов своих.

И впереди — высокий купол там, на кладбище.

Оглохший и ослепший, султан закричал: «Назад! Вернитесь назад!» — закричал беззвучно и потерял сознание.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Бируни и глава государственной канцелярии Абу Наср Мишкан в окружении сарбазов столкнулись на берегу Афшан-сая с большой и пестрой толпой, направлявшейся к «Мазори калон». Шли дервиши небольшими ватагами, переругиваясь, а то и поколачивая друг друга; восседали на конях вельможи, и слуги их кричали пешим богомольцам: «Берегись, берегись, сторонись, пропусти!» Двигались еле-еле калеки, стуча костылями и громко обращаясь с жалобами к небу.

Будто река вспучилась, вышла из берегов после сильного ливня. Да и в городе, все еще окутанном предрасветной дымкой, тоже, видно, было беспокойно: оттуда доносился некий жужжащий гул, словно из разворошенного осинового гнезда.

Проезжая потом по улицам, Абу Наср Мишкан и Бируни закрывали уши от невыносимого грохота сторожевых трещоток; костры на перекрестках пылали, стражники горланили, какие-то гонцы скакали взад и вперед. Но когда миновали «Невесту неба» и приблизились к дворцу Хатли-бегим (встречу с мавляной сестра султана перенесла в свой дворец), поразились тишине, которая тут царила. Площадь перед дворцом была пуста, ни души и на дорожках сада, по которым они шли к входу во дворец. Молоденькая служанка, посланная им навстречу госпожой, чуть в сторонку отозвала сановника, что-то шепнула ему, прикрыв рот концом прозрачного головного платка. Затем поклонилась Абу Райхану, шедшему вслед за Абу Насром:

— Добро пожаловать, мавляна. Госпожа вас ждет.

Глаза служанки улыбались. Загадочно улыбалась она и когда открывала ему двери комнаты в центре длинного, богато украшенного коридора; сюда они — уже без сановника — поднялись из вестибюля по мраморным ступеням.

— Пожалуйте, мавляна!

У Бируни сильнее застучало сердце.

Хатли-бегим сидела, облокотясь на огненно-красные шелковые подушки. Круглый стол перед нею ломился от кушаний. Просторную комнату, будто солнце, озаряли

бесчисленные свечи, расставленные по кругу на специальных подставках. Все сверкало — дорогие ширазские ковры на полу, свисающие со стен шелковые сюзаны, расширенные цветами персика и миндаля, пиалы, янтарем и рубином полыхающие на полках, серебряные подносы, причудливые шкатулочки слоновой кости. И сама Хатли-бегим, укутанная в золотые ткани, излучала такой яркий свет, что казалось, не живая это женщина сидит, а еще одна литая из золота богиня, — таких скульптур здесь было несколько, и они придавали особо роскошный вид и без того роскошно убранной комнате.

Бируни поклонился. «Золотая богиня» ожила. Протянув смуглые руки — в кольцах, браслетах, сапфирах, — изысканно любезно пригласила ученого занять место рядом с собой.

Бируни сразу почувствовал: бегим сегодня совсем иная, чем в тот раз, когда приходила к нему домой. И наряд, и белила, и румяна на лице, и кружащий ему голову смешанный запах мускуса, амбры и пудры, шелковое платье, золотисто-синие тона которого радовали глаз вместе с красным цветом бархатного халата-безрукавки, накинутого на плечи, и блеск жемчугов на диадеме, надетой на голову поверх нежного платка-кисеи, — о, все это было неспроста, все было продумано тщательно, все имело некую цель!

Смуглое лицо Хатли-бегим было напудрено густо, и сурьмы положила она к узким глазам лишку, как и блестящей темной краски на зубы. Бируни опустил глаза. Вспомнил не только недавнюю встречу с Хатли-бегим у себя в лачуге, но и ту, давнюю, тайную, у озера в Синде. Тогда голову его кружили такие же запахи, и Хатли-бегим тогда тоже была разодета и раззолочена. Но... тогда молодой смуглой бегим все шло, все подходило — золоченое платье, белила и румяна, узкие глаза, резко подведенные сурьмой, даже зубы, отполированные темной краской. А теперь... Маска, вроде тех, что надевали индийские жрецы, застылая маска, на которой, правда, живо блестящие глаза — блестящие, просили, требовали, завлекали — все вместе.

«Если весьма смуглая женщина напудрится без меры... то получается... котел, обсыпанный мукой». От этого сравнения Бируни вдруг успокоился.

— Вина или шербета, мавляна?

— Шербета, госпожа, только шербета, — Бируни тотчас заметил ироническую искорку в глазах Хатли-бе-

гим.— Что ж делать, река жизни так быстро течет... и так далеки уже времена молодости, когда мы пили вино, бегим...

Перламутровая улыбка была ответом. Кокетливо прищуренные глаза женщины засияли озорством:

— Наоборот, теперь-то вы как раз в полной славе и... силе...

— Благодарю, бегим.

— ...Видно, говорю, что вы — и в силе: жалуетесь, что прошли молодые годы, а дома у вас живет молодая роза, еще не раскрывшийся бутон!

Бируни быстро взглянул на бегим.

«Злая ведьма! Это она погубила Садаф-биби!»

— Извините за женское любопытство, мавляна... Та красавица, которую я видела у вас, она вам... родственница, служанка или...

— Я понял ваш вопрос, госпожа. Бедная эта девушка была рабыней. Я купил ее, потому что она происхождения из родного края вашего покорного слуги. С этой девушкой меня сближали воспоминания о родине и мой родной язык!.. Но произошло... случилась несправедливость, госпожа...— Бируни с трудом подбирал слова.— Когда ваш покорный слуга сам находился в темнице... ко мне в дом ворвались сарбазы, они украли, куда-то увезли бедную девушку, бегим!

Стало тихо и тягостно.

Хатли-бегим не без злорадства переспросила:

— Ворвались сарбазы? И украли вашу любимую служанку?.. А зачем вы рассказываете это мне, мавляна?

— Простите меня, госпожа, но те сарбазы были, оказывается, из дворца...

— Моего?

— Нет, вашего брата.

— А жалуетесь мне? Вот странно. Состояние здоровья султана, благодетеля нашего, вам известно. Да принесет аллах исцеление моему брату!.. Так подумайте, нужна ли нам ваша служанка, мавляна? Гарем султана полон такими красавицами, что ваша... любимица там выглядела бы невзрачным камешком среди жемчужин.

Колкости Хатли-бегим не погасили сомнений в душе Бируни, напротив, сильнее разожгли их. «Она виновата, она!»

Хатли-бегим изменила предмет разговора:

— Повелитель правверных, надеюсь, высказал вам свое желание, мавляна?

— Высказал, госпожа... Но я понял, что почтенный Ибн Сина уже в пути.

Хатли-бегим нетерпеливо покачала головой:

— А вы хорошо знаете этого знаменитого исцелителя? В лицо знаете?

— Как же не знать, бегим? Еще в Хорезме, во дворце Мамуна Ибн Мамуна, мы пять лет вместе занимались науками.

— Слава аллаху! — голос женщины зазвучал менее резко. — У меня к вам просьба, мавляна... — Хатли-бегим подвинулась поближе к собеседнику, положила свою руку на руку Бируни. — От вас у меня нет никаких тайн, мавляна... Вчера я получила письмо от эмира Масуда. Кстати, вашего ученика, вы его когда-то обучали... Вам известно, что наследник сейчас с войском в Исфахане... — Хатли-бегим на мгновение замолчала. Почему-то проследила. Коротко всхлипнув, продолжала: — Так вот, этот ученик написал нечто удивительное. Что, мол, почтенный Ибн Сина до сих пор скрывается в Хамадане! Не хочет ехать в Газну!

Бируни исподлобья взглянул на Хатли-бегим. Словно подтверждая сказанное, женщина вытащила из-под скатерти письмо, сложенное вдвое, тут же спрятала обратно.

— Да, эмир Масуд, представьте, это и написал... Я теряюсь в догадках, что происходит на самом деле. Я боюсь коварства Али Гариба и этого непотребного Абул Хасанака, красавчика с бабьим задом, о... У этих двух воронов — я чувствую — зловещие намерения. Они хотят... Если султан, мой брат, наш повелитель, оставит этот бранный мир и, осиротив его, отойдет в мир вечный, эти два злодея лишат трона Масуда — законного наследника, посадят Мухаммада. А он всецело в их руках. Вам понятно, что я говорю, мавляна?

— Да, госпожа. О визирях — да. Но при чем тут почтенный Ибн Сина?

— Я тем поражена, мавляна, что теперь на свете, кажется, не один Ибн Сина. Один отказался приехать в Газну и скрывается в Хамадане... Но тогда откуда взялся тот Ибн Сина, о котором говорят султану, что он в пути? Подумайте: где отыскался этот великий исцелитель? В Тегинабаде, мавляна!

Бируни схватился за воротник¹.

— Вот так загадка с разгадкой!.. Вы хотите сказать,

¹ Знак полного недоумения, удивления.

бегим, что вышедший из Тегинабада Ибн Сина — не Ибн Сина, а подложный Ибн Сина, так?

Хатли-бегим глубоко вздохнула:

— Не знаю, мавляна! Ничего я не знаю... Если бы я его видела в лицо... настоящего Ибн Сину! Но вы-то знаете его в лицо, и потому вы единственный можете разгадать эту загадку.

— Хорошо! Допустим, что так. Но подумаем, какова цель данного маневра двух визирей: вместо настоящего Ибн Сины подставить султану ложного. Что может сделать им полезного ложный Ибн Сина? — спросил Бируни, уже захваченный анализом этой тайны, этой логической задачи.

— Ох, мавляна! Человек с таким умом... Их цель, визирей, — погубить повелителя, так? А ложный Ибн Сина будет «лечить» султана, так? То есть его рукой они и уберут султана! — Хатли-бегим настороженно посмотрела на дверь, потом на онемевшего от неожиданности ученого.

В самом деле: какой бы там ни был Ибн Сина, он нужен султану как врачеватель. А как он будет «лечить» — в том султан несведущ.

Что же теперь делать ему, Бируни?

Этого он не знал. Он понимал, чего хочет от него Хатли-бегим. Но зачем ему попадать в это скрещение чужих страстей, чего хотеть ему? Вот чего он не знал. И потому сидел не в силах проронить ни слова.

Как он был рад услышать весть о приезде Ибн Сины в Газну, — теперь эта радость угасла, как костерок от ливня, и место ее заняли старые горькие думы: «Зачем мне все это — борьба, интриги, чужие интересы?»

Его, мирного человека, ученого, чьи помыслы заняты лишь наукой, хотят вмешать в грязные дела, а он... он втягивается, помимо воли, но втягиваясь в них, он подчиняется людям низменным и страшным, тем, кто из-за жажды власти, во имя того, чтобы господствовать над себе подобными, не останавливается ни перед чем, ни перед какой бы то ни было низостью и подлостью.

«Быть подальше от этих людей, от их склок, оставшуюся жизнь посвятить знаниям и науке, но как, как это сделать, как уйти в сторону?»

Хатли-бегим, будто угадав ход его мыслей, с поспешностью поднялась:

— Итак, договорились, мавляна... Обо всем остальном вам скажет глава дивана. Для вас все приготовлено:

и лошади, и слуги, и сарбазы... Может ведь случиться, что лекарь, найденный в Тегинабаде, и есть... настоящий Ибн Сина, тот, кого вы знали еще в Хорезме.

— Может быть.— Бируни поднялся тоже, учтиво поклонился сестре султана.

— Подождите еще немножко, мавляна! — Хатли-бегим, бесшумно ступая по коврам, подошла к одной из настенных полок.— Вчера ко мне во дворец заявили иноземные торговцы, подарили небольшую вещичку. Посмотрите, пожалуйста. Как вы думаете, сколько это стоит?

И Хатли-бегим, улыбаясь одними кончиками губ, раскрыла коробочку слоновой кости.

А на дне коробочки лежал крупный камень, лежал, излучая снопы искр — голубых, красных, темно-синих, фиолетовых и еще, и еще... многих еще цветов!.. Боже мой!

Тот самый камень, который показал ему Пири Букри! Сколько шахов и нищих держало его в руках, этот зло принесший им всем зловещий камень, в конце концов обещанный ему, Бируни, в обмен на Садаф-биби!

Туман рассеялся! Ясно, теперь как день ясно: этот камень принес в подарок Хатли-бегим Пири Букри. Принес в обмен на Садаф-биби!

Бируни побледнел. Прямо посмотрел в глаза сестры султана:

— Этот драгоценный камень — свидетель многих злых дел, он приносит несчастья. И сильным мира сего — тоже.

Злорадно заблестели прищуренные глаза Хатли-бегим.

— Удивительная история! Расскажите, мавляна!

— История этого камня слишком длинная. Цена его... он бесценен! Но, как бы ни был он бесценен, счастья бедной девушки он не стоит. И ценить человека драгоценностями — несправедливо.

— При чем тут бедная девушка?

— Прошу, бегим, не надо обманывать меня. Этот камень вам преподнесли за мою служанку, за бедную Садаф-биби!

Густо напудренное лицо Хатли-бегим словно почернело от гнева:

— Служанка? Любовница ваша — вот кто та бесстыжая женщина!

— Госпожа!

— Довольно! Оставим камень в покое... Повеление

шаха — закон для подданных, верно? Так выполняйте повеление султана, мавляна.

Бируни отвел глаза, опустил голову, но не сумел заставить себя замолчать:

— Я выполню, госпожа, это повеление. Но хотел бы, чтоб и вы учли мою просьбу! Если бедная служанка моя во дворце — освободите ее. А если она у этого торгаша... тоже помогите вырвать ее из сетей Паука.

Хатли-бегим отвернулась лицом к стене, к занавесям-сюзанае, на которых невинно красовались цветы персика. «О создатель! За какие мои грехи это унижение? Рабыню он ставит выше меня, рабыню, не стоящую моего ногтя».

Бируни направился к двери.

«О святые! Кругом столько эмиров, беков, правителей, а эта женщина, сестра султана, привязана до сих пор ко мне, старику! Но зачем, зачем мне ее любовь, своенравная, опасная, злая?»

Бируни осторожно прикрыл за собой двери. Из комнаты в коридор донесся надрывный плач.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В темнице — как в перевернутом вверх дном казане. Тьма-тьмушая!

Стражники, он помнит, сняли наручники, стащили с глаз толстый полотняный кушак, столкнули вниз, в подвал. Маликул шараб помнит: он стукнулся коленями обо что-то, похожее на пень, всей тяжестью тела рухнул наземь лицом. Головой ударился еще обо что-то твердое, приступок у стенки, что ли, долго лежал без сознания.

Очнувшись, перевернулся на спину. В отверстие потолка, с тубетейку величиной, падал узкий луч света, на полу от него высветлялось местечко, которое можно было накрыть ладонью. А самое скверное — воняло в темнице, будто падаль какая-то тут завалилась и ее запах смешался с запахом клещей и крыс.

Да нечего делать, терпи, Маликул шараб: бейся о стенку головой, криком кричи — никто тебя не услышит. Никого тут нету... Или есть?

В одном углу подвала кто-то заерзал тяжело, просто-на-на тихо.

— Эй, кто здесь есть, в этом аду?

Слабый хриплый голосок вдруг спросил:

— Маликул шараб?

— Бобо Хурмо?!

Задыхаясь, Маликул шараб пополз в тот угол, откуда донесся голос, по пути зацепив и перевернув таз и деревянную чашку.

Бобо Хурмо голый до пояса, заросший больше прежнего, тяжело, с хрипом дыша, лежал на голой циновке.

— Воды! Глоток воды!

Маликул шараб пошарил вокруг себя в темноте,— его глаза только начали привыкать к мраку темницы, еле различали узника. Отыскался черный кумган — слава аллаху! — с водой. Бобо Хурмо, стуча зубами о носик кумгана, сделал глоток. Словно лихорадка его била.

— Эх, теперь бы пиалу твоего вина, Маликул шараб! Хотя бы одну пиалу! Горю, дорогой, весь в огне!

Теперь Маликул шараб увидел, что на теле узника не осталось живого места: грудь, шея, живот да и лицо — все было исполосовано красно-синими следами кнута.

Сняв с себя чекмень, Маликул шараб подложил его старику под голову. Снял и развернул белый полотняный свой кушак — накрыл Бобо Хурмо:

— Бедный! За какие грехи тебя истязают эти изверги?

— Мои грехи? Единственный мой грех, дорогой,— это сказка, которую я рассказал в твоём почтенном заведении...

— Сказка?

— Ну да! Помнишь, пожаловали к нам два путешественника из благословенного Туса? Я рассказал тогда про глупых людей, что посадили жестокого человека на трон... Ну, вот за ту сказку меня — сюда... Будто унизил я честь султана, обвинил тем самым покровителя правоверных в невежестве и жестокости, а народ Газны — в глупости!..

Маликул шараб, задыхаясь, рванул ворот рубахи, обессиленный, прислонился к стене.

Поистине нет предела гнусностям в этом султанате! Сколько раз и ему самому приписывали нелепицы какие-то, то в неверии, то в злоязычии укоряли, а один раз обвинили, что своими рассказами нанес он-де ущерб могуществу государства и чести повелителя. Нелепо, а бросили в зиндан! Истязали, заставляя признать клевету, самими же сочиненную! Хорошо, что султан Махмуд ус-

пел в молодые свои годы, когда в душе его справедливость и совесть не совсем еще угасли... приказал — единственный в жизни раз — после драки из-за Наргиз-бану... не трогать бывшего верного слугу. Маликул шараб потом неоднократно, когда приходилось трудно, когда поднимался над головой меч карающий, прибежал к тому приказу и тем спасал свою жизнь.

Ныне — не помогло. С султаном и впрямь что-то стряслось. Совсем озверел... Сначала схватили Бируни, потом этого горе-лекаря, пьяницу и, видно, жулика, назвавшегося Ибн Синой! После лже-Ибн Сины — его «ученика»; после «ученика» — вот его, бедного Бобо Хурмо, а там уж и «повелителя вина».

И Садаф-биби куда-то исчезла. Похитили сарбазы-разбойники, а кто приказал?

Чуть ли не все, кто был близок Маликулу шарабу, — в темницах! Выйдет ли кто-нибудь отсюда — из подвала, где дышать приходится зловонием, дохлятиной какой-то, — сие известно только аллаху!

Ладно! Ему все равно. Не осталось у него, у Маликула шараба несчастного, ни одного желания, которое связывало бы его с этим бранным подлунным миром. И надежды на лучшее — не осталось.

Наргиз-бану — вот что еще осталось, вот что мучает душу.

Седая старушка, рыдая и причитая, бросилась к ногам сарбазов, когда они схватили его в собственной питейной. Сарбазы ее отпихнули грубо, свалили на пол. Маликул шараб, в наручниках уже, рванулся было к ней, но... потянули его к выходу, а Наргиз-бану, цепляясь изувеченной рукой за подола халатов стражников, доползла до порога и затихла там. То ли чувств лишилась, то ли, может, вообще кончила счеты с жизнью?

Нет, эти зловещие насилия над безвинными — неспроста, не по дурости делаются. По умыслу какому-то... Вот и того пьяницу-путешественника взять... Как его? Шахвани, да, Шахвани... И явился он, и исчез — неспроста! Сначала, когда тот впервые появился в питейной и когда Маликул шараб увидел рисунок-изображение Ибн Сины в руках молодого спутника, и впрямь он, Маликул-то, поверил, что пред ним Ибн Сина! А лекарь-путешественник повел себя очень странно! Целыми днями скрывался в погребке Маликула шараба, день и ночь пил, да так, что себя не помнил, собственную блевотину смыть сил не было. А когда изредка приходил в себя, осторож-

но осведомлялся, какие слухи о султани и его дворе ходят по городу, принохивался-прислушивался, про что посетители питейной толкуют, ну, а потом опять спускался в погребок и пил пуще прежнего, валялся с пустыми хумами в обнимку. Доверчивый Маликул шараб и тогда еще ничего худого не подозревал. Но однажды в полночь он, Маликул, проснулся от громкого шума. Из погребка слышались ругань, хриплые крики, грохот посуды; внезапно дверь открылась со стуком, и ученик пожилого лекаря, пошатываясь, вылез оттуда на свет божий. Лицо исцарапанное, хмельные глаза вытаращены, сам еле стоит на ногах. Кричит, ругает бородатого путешественника! «Ах ты, такой-сякой, идиот, осел! Ибн Синой себя называешь, а прозвище свое забыл — Шахвани! Грабишь правоверный люд!.. А еще издаваешься надо мной! Да стоит мне только раскрыть подлинное твое имя, сегодня же на виселице будешь!»

И, сказав так, вдрызг пьяный ученик упал у входа в погребок и через минуту-другую уже храпел.

Маликул шараб и прежде слышал о проходимцах, которые называли себя Ибн Синой. Поняв, что и на сей раз встретился с одним из них, собрался было выгнать его в шею из своего честного заведения, но как раз в ту ночь и нагрянули стражники-сарбазы, схватили «почтенного господина Ибн Сину», связав ему руки и ноги...

Размышления Маликула шараба прервал слабый стон сотоварища-узника.

— Дать воды, Бобо Хурмо?

— Нет. Хотел тебе сказать кое-что, да вот забыл! Хмм... Да, вспомнил! Эти изверги... все спрашивали меня о двух путешественниках... тех самых, что приезжали к тебе в тот день, Маликул шараб.

— Почему? Зачем?

— Не знаю, дорогой. Что за этим скрыто, одному аллаху известно. Но об этих двух... и о том... имаме... спрашивали, сильно били злодеи!

— Какой имам?

— Да тот самый... друг твой, имам Исмаил Гази! О нем говорю! О-о... Вернулись бы молодые мои годы! Ушел бы в горы, к имаму Исмаилу! Воинам простым у защитника бедных и сирых... И стал бы святым, пав на поле брани в битве с головорезами султана Махмуда¹.

¹ По мусульманским представлениям, воин, павший во время «священной войны» (джахад), причисляется к лику святых.

Перед мысленным взором Маликула шараба возникло лицо Исмаила, пересеченное шрамом от удара мечом, вспомнился его острый, соколиный взгляд.

Маликул шараб тоже хотел когда-то убежать в горное гнездо имама, но Исмаил не согласился: «Мы сидим в горах Кухишер, а наши глаза и уши должны быть в Газне...»

Неужели прихвостни султана проведали об этой их тайне? И потому схватили его?

— Они все знают! Под землей змея зашевелится — и это узнают палачи! — простонал Бобо Хурмо, будто прочитав вопрос Маликула шараба.

«Почему бы им не знать, если на одного человека десять доносчиков в этом городе?» — подумал «повелитель вина».

— О Маликул шараб! Среди проклятых аллахом доносчиков есть человек, которому ты верил, как себе... вас не разлить водой было...

— Близкий друг? Водой не разольешь нас с ним?

— Увы, так! Опора твоя, оказывается, доносчик из доносчиков.

Несчастливая страна! Бедный верующий люд! Приходит смертный час, и простой человек, веря, что смерть — милость аллаха, смиренно уходит из этого брэнного мира подлунного без жалоб и стонов. А этот воин-султан сорок лет на троне сидит, господствует над себе подобными, пожил, кажется, в свое удовольствие... этот хоть и говорит, что «смерть — милость аллаха», но за жизнь цепляется яростно, до умопомешательства, всю страну заставляя дрожать от страха.

И вновь видение-воспоминание.

Как-то, когда завсегдатаи питейной разошлись и все в доме уже уснуло, пришел сторож базара и разбудил Маликула шараба:

— Тебя старик нищий спрашивает!

— Из-за него надо было будить меня, глупец?! Пришел нищий, так подай ему кусок лепешки!

— Прости, Маликул шараб, но он говорит, что пришел к тебе от главного визиря и что в руках у него целый мешок золота! Да вот он и сам...

Маликул шараб посмотрел на вошедшего и, не поверив глазам, застыл на месте. У порога стоял сам султан Махмуд!

На нем был старый халат, подпоясанный простым красным платком, на голове — драная хорезмская шап-

ка. Вошедший приложил пальцы к губам: «Молчи, ни звука».

Сторож, до того державший каменный фонарь, взятый из ниши, поставил его обратно и бесшумно вышел из прихожей. И тут же султан, будто кто его топорищем ударил под колени, бессильно рухнул на старую кошму; мешок на его поясе издал громкий звон.

«Золото, о котором говорил сторож? Что он будет делать с этим золотом? И почему бродит, как нищий, в полночь? Или он спятил?»

Покровитель правоверных долго сидел с закрытыми глазами на кошме, тяжело дыша. Лицо желтое-прежелтое, болезненней, чем недавно, когда Маликул шараб видел его в горах, кожа под подбородком и на шее совсем отвисла — пустой мешок, да и только, борода с проседью неухоженная, и впрямь как у нищего, опустившегося от голода и невзгод.

— Друг мой, Кутлуг-каддам, — тихо и печально сказал султан. — Твои слова недавние до сих пор... до сих пор по ночам мне спать не дают!..

У Маликула шараба, едва пришедшего в себя, защемило на сердце:

— Простите меня, повелитель... Вино не просто развязывает язык, оно запутывает ум!

Султан раскрыл тусклые глаза. Снова прикрыл их.

— Нет, ты был прав, Кутлуг-каддам. И если великодушный аллах не пожалеет для меня милости своей, прогонит проклятый мой недуг... я тогда... стану дервишем. Надену на себя рубище, с именем аллаха на устах, пусть в нищенстве, пойду с сумой по миру, славя имя всевышнего, и этим смою все грехи, какие совершил!.. Смыл бы, как ты думаешь?.. — спросил вдруг султан с надрывом. — Кроме создателя всего сущего, нет у меня ни заступника, ни утешителя. Неужели у меня больше грехов, чем добрых дел, как сказал ты в тот день? Не верю, не верю!.. Но хоть не верю, вот целый мешок золота принес тебе, Кутлуг-каддам: раздай, молю тебя, сиротам и вдовам, о которых ты тогда говорил! Если надо будет... сто мешков принесу!.. Прошу тебя, молю...

С грохотом распахнулась дверь, и в полутемную комнату вбежал главный визирь Али Гариб. Султан растерялся, поник.

— О творец! Что я вижу? — главный визирь схватился за ворот своего чекменя, выглядывавшего из-под богатого халата. — Что случилось! Что с вами, повелитель?

Султан вдруг затрясся всем ослабевшим телом своим, возопил:

— Вон с моих глаз, вон, вон!

Али Гариб упал перед ним на колени, обнял ноги султана:

— Простите преданного раба вашего, покровитель правоверных, солнце нашего неба! Но... умоляю... тише, тише. Одумайтесь. Что будет, если кто-нибудь увидит вас в этом обличье?

— Убирайся вон, дьявол! Ты — дьявол! Дьявол!

— Ладно, хотите меня убить — убейте, но...—Али Гариб вытащил из-за пазухи халата большой красный шелковый пояс, быстро накрыл им лицо султана, оглянулся на дверь, резко крикнул: — Эй, стража!

В комнату вбежали нукеры:

— Взять этого нищего! Связать!.. Так! Теперь несите, бросьте на арбу, повезете за мной! А я сейчас...

Султан раза два дернулся, потом затих, вытянувшись, словно мертвый. Его вынесли — быстро и умело. Али Гариб подошел совсем близко к Маликулу шарабу, задышал в лицо:

— Слушай и навсегда запомни мои слова. Верблюда видел? Нет! Кобылу видел? Нет!.. Если хоть тень чья-нибудь узнает про то, кто здесь был, — шкуру с тебя сдеру и набью соломой, понял?

...Да, сотрясается жизнь в этом султанате! Не дают жить по-людски. Всюду соглядатаи. Всюду насильники. Всюду страх!

— Да, этот преданный друг, — продолжал, будто во сне, Бобо Хурмо, — злодей этот, ел твой хлеб, брал твою соль и плюнул в твою солонку!..

Наверху заскрипела двустворчатая тяжелая дверь, два сарбаза с каменными фонарями в руках закричали:

— Грешный раб Кутлуг-каддам! Выходи! Выходи, да живее!

Маликул шараб в темноте склонился к лежащему навзничь товарищу по несчастью:

— Прощай! Ежели не удастся снова увидеться, не поминай меня лихом, Бобо Хурмо!

Услышал в ответ взволнованный шепот: «Дай бог, чтоб не постигли тебя страдания, что мне выпали!»

Но когда Маликул шараб шел куда-то по темному узкому проходу, он думал не о близких пытках: «Кто же, кто же тот, кто ест мой хлеб-соль и плюет в мою солонку? Кто же?»

Узкая, словно коридор, комната (сарбазы подвели Маликула шараба к ее дверям; впустил его туда мрачный, козлобородый, палаческого вида воин с мечом наголо в одной руке — другой он ловко пошарил у выпускаемого под рубахой: нет ли чего?). Комната почти пуста, если не считать каменных фонарей в нишах и двух грубых табуреток. Одна из них пустовала, а на второй сидел главный визирь, господин Али Гариб собственной персоной. Старый хитрый лис, самого дьявола обманет! И при предшествующем главном визире Ходже Ахмаде Майманди его, бедного «повелителя вина», обвиняли и в неверии, и в распространении ереси; в том же, что он клеветает на государство, его обвиняли уже при Али Гарибе.

Какая честь впервые выпала ему, Маликулу шарабу: оказаться допрашиваемым не кем-нибудь, а самим главным визирем.

Сам главный визирь почтительно-иронически поклонился приведенному, жестом отослал воина за дверь.

— Почтенному Маликулу шарабу наше уважение, — ухмыльнулся Али Гариб. — Садись-ка на табуретку, Кутлуг-каддам!

— Благодарствую!

Маликул шараб опустился на табуретку, а главный визирь тут же вскочил с места. Заложив руки за спину, прошелся по комнате. Его движения были нервно-резкими, брови нахмурены, а совиные глаза ввалились и покраснели, видимо, от бессонницы.

«Ишь ты как... И ему, оказывается, не сладко. Так зачем взвалил столько тягот на свои плечи этот низенький толстяк? В загоне его полно овец, в казне — золота, в гареме — невольниц. Жил бы в свое удовольствие, блаженствовал бы в цветущем саду!.. Нет, Маликул, не будет этот старый лис лежать без дела! Власть, власть нужна этому дьяволу! Господствовать над людьми, давить их — вот его наслаждение!»

Али Гариб остановился перед узником.

— Грешный раб творца, Кутлуг-каддам! — начал он мягко и вкрадчиво. — Нам известно, что примерно недели три назад в твою питейную тайно явился некий пожилой человек, путешественник, со своим учеником. Кто был сей путешественник и с какой целью он прибыл в нашу благословенную столицу? — вопрос был задан уже с угрозой в голосе.

— Я думаю, господин главный визирь, об этом вам известно куда больше, чем вашему покорному слуге.

— Почему?

— Да потому, что этот мошенник тоже находится где-то у вас в зиндане, господин главный визирь!

— Мошенник?

— А кто же, если не мошенник! Этот лжелекарь, оказывается, выдавал себя за почтенного Абу Али Ибн Сину, грабил доверчивых, недужных, господин мой.

Али Гариб сморщился, как человек, неожиданно раскусивший нечто горькое.

— Так... А как ты узнал, что он... не настоящий Ибн Сина?

— По его поведению, не соответствующему громкому имени. По выходкам, не приличествующим ученому, но подходящим... пьянице запойному, господин мой.

— «Приличествует... не приличествует!» — неприязненно передразнил Маликула главный визирь.— Кто тебе сказал, что достопочтенный Ибн Сина ангел?

— Не ангел, но...

— Изображение великого целителя видел? То, что сделано прославленным художником и ученым Абу Насром Арраком?

— Видел, господин главный визирь!

— Ну и что? Похож твой путешественник на изображенного?

— Похож...

— Да, как две капли воды похож,— подтвердил и сам Али Гариб.

Маликул шараб никак не мог уловить, куда же клонит их разговор главный визирь.

— Иль неправильны мои слова, Кутлуг-кадам!

— Правильны, но... этот лекарь — мошенник.

— Э, мошенник, не мошенник!..— воскликнул Али Гариб, вытаращив маленькие свои, злые глаза.— Если он мошенник, почему ты дал ему пристанище? Принял как дорогого гостя, любезен был, почет ему оказывал и уважение, а против государства вел тайные беседы!.. Что, не так? — Главный визирь, сжав кулаки, навис над Маликулом шарабом; в красных сафьяновых сапогах на высоких каблуках он «вырос» и смотрел на сидящего узника сверху вниз.— Вот уже сорок лет, как ты даешь у себя приют всякому сброду, жуликам, голодранцам, тем, кто сбежал от виселицы. О сборищах ваших, на которых умаляют славу Газны, ее достоинство, унижают султана,— знаем, хорошо знаем!

Маликул шараб осторожно приподнялся с табуретки:

— Господин главный визирь! Коль сорок лет я свершал все это, почему же не вырвали язык покорнейшего вашего слуги?

— Не язви, нечестивец! И... седи смирно! Наш повелитель некогда повелел не трогать тебя, иначе я бы знал, что делать с тобой! Но теперь — хватит! Теперь нож уперся в кость, терпение лопнуло! Все нам о тебе известно: каждый твой шаг, каждое твое слово. Капля не превратится в горный поток, а враг не станет другом! Я знаю: ты снюхался с тем главарем бунтовщиков, так пазываемым имамом, вместе строите козни, безбожники!

— Какой имам, господин главный визирь?

— Сейчас узнаешь — какой!

Главный визирь хлопнул в ладоши. Тут же явился козлобородый.

— Позови Паука!

Маликул шараб, услышав это слово, беспомощно плюхнулся на табуретку. «Паук! Черный Паук — Пири Букри! Недаром, значит, его недолюбливали многие. А я... слепец, считал его бедным горбуном — богом обиженным калекой, сочувствовал ему, дал ему место в доме, пригрел... А он-то, дьявол, как раз он-то и плевал в солонку! Тот самый горбун, мастер ная, который игрой своей заставлял нас всех плакать».

Напыщенно-грозно прозвучало:

— Ну-ка, говори, Паук!

Нет, это был совсем не тот Пири Букри, которого знали в питейной Маликула шараба. Златотканый халат, соболья шапка, увенчанная жемчужиной, борода и усы аккуратно подправлены брадобреем. Помолодел, посвежел. Только глаза те же — голубые, детски-невинные. И тревожно бегают, будто ртутные шарики.

Маликул шараб с отвращением смотрел на Пири Букри. Как молния в голове мелькнула мысль о Садаф-биби: «Принарядился!.. Ах, бедная девушка! Она, значит, в сетях этого старого Паука!»

— Ну, горбун, почему в рот воды набрал? Говори! Всю правду — плесни-ка ее в лицо этому нечестивцу!

Пири Букри взял какую-то толстую книгу в черной кожаной обложке и с почтением протянул главному визирю:

— Благодетель наш! Вот, соблаговолите взглянуть, все записано тут, все, что за двадцать лет говорилось в смрадной питейной этого пьяницы; все, какие только бы-

ли, разговоры, пятнавшие вашу честь и честь нашего повелителя. Ежедневно, слово в слово, господин главный визирь!

Опасаясь Маликула шараба, горбун обошел его стороной, подходя к Али Гарибу. Маликул соскочил с табуретки, поднял к небу кулаки:

— О продажная тварь! Чуть ли не двадцать лет плевал в мою солонку! Почему тебя, дьявола, не проглотит земля, почему?

Пири Букри попятился назад. Маликул шараб рванулся к нему, схватил за полы златотканого халата, затряс яростно, потом вырвал из рук черную книгу:

— Сколько золота получил за предательство?.. Так получи и от меня!

Со всего размаха ударил он книжкой по голове горбуна. Пири Букри охнул, схватился за голову, опустился на колени. Козлобородый воин резко толкнул Маликула в сторону и, не дожидаясь приказа главного визиря, заломил ему руки за спину. Главный визирь стоял вдали от схватки, двусмысленная улыбка играла на его лице.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

Сарбазы, вместе с которыми Бируни выехал из Газны встречать «Ибн Сину», шли по большой караванной дороге, но нередко сворачивали с нее на боковые тропы, скрытно двигались по оврагам и ущельям, будто избегали встреч с другими всадниками, то настигавшими их кавалькаду на караванной дороге, то мчавшимися по ней навстречу — из Газны в Тегинабад, из Тегинабада в Газну. Всадники двигались чаще всего с двумя запасными лошадьми в поводу — гонцы по особо важным делам, стало быть. Некоторые и не скрывали удостоверяющих их полномочия серебристых значков на чалмах, иные были одеты подчеркнуто просто, незаметно.

Мушриф, которому поручено было сопровождать Бируни, словно собака-ищейка с острым чутьем, заблаговременно чувствовал, кто там едет сзади и спереди, и от нежелательных встреч (почему нежелательных — этого Бируни не понимал) уберегал своих сарбазов в сторонке от дороги; подчас же, напротив, громко здоровался с гонцами, и какое-то время все ехали вместе,

расспрашивая друг друга о делах и самочувствии, пока гонец не прибавлял скорости.

Итак, с одной стороны, Хатли-бегим и те, кто вокруг нее, с другой — главный визирь Али Гариб и его сторонники... Бируни догадывался: борьба этих групп нарастает, ожесточается.

А тут еще этот загадочный лже-Ибн Сина, темные слухи, с ним связанные, расплзающиеся, как змеи...

Каждый раз, когда сарбазы по знаку мушрифа сворачивали с большой дороги, Бируни внутренне съеживался, ожидая чего-то опасного и коварного. Потом снова и снова пробуждались в нем мучительные, раздражающие мысли о том, что все эти интриги, группы, борьба — совсем не его дело. Зачем, зачем его втягивают в сьюю алчбу низкие души? Его, человека, для которого более всего другого в жизни важна тишина в своей обители, рукописи, развернутые там на столиках, книги в шкафах, ждущие его глаза, его разума, его души!

С тех пор как стала уходить молодость и подступать старость, все дороже ценил он время. О, великое это благодеяние аллаха — время, которое можно потратить на занятия наукой. А всякая напрасно проходившая минута все сильнее мучила, даже когда тратил он ее на отдых. Пребывание в «храме жестокости», в «крепости гнева», усугубило в нем это чувство многократно. Его терзала мысль о том, что замыслы свои, в частности книгу по минералогии и книгу о растениях, он оставит недописанными. И вот опять он отвлекается от них... К тому же предстоящая встреча — о, тут все непросто! Бируни очень хотел бы встретиться с настоящим Абу Али, — как хорошо, если б загадочный лекарь оказался им! Хатли-бегим что-то такое бросила в конце разговора, но разговор с ней был столь труден, неприятен, что скорее слова ее были в утешенье ему сказаны. Или — были уловкою...

Счастливые времена юности! На холмах Афшаны, на зеленой полянке под Бухарой встречались они с Абу Али. Светило солнце ласково, души их были открыты друг другу... Встретились бы теперь — вспомнили о тех счастливых временах, обязательно вспомнили! А затем вспомнили бы хорезмийские собрания ученых во дворце Мамуна Ибн Мамуна. Споры их были горячи и весьма серьезны. И радовались они тому, и огорчались, конечно, но сегодня... как бы светло говорили они о тех счастливых днях и, может, попросили бы и прощения друг

у друга за ненужную, хотя и понятную по молодости лет горячность.

Когда Абу Али приехал к ним, он, Абу Райхан, считался во дворце Мамуна самым авторитетным ученым, неизменно руководил собраниями мудрых умов.

Мамун Ибн Мамун был человеком слабым, хилым да и трусоватым. Султана Махмуда боялся до дрожи, потому как «покровитель правоверных» умело расшатывал прочность этого трона — и угрозами, и подкопами тайными. Боялся Мамун грома и молнии. Боялся толкователей снов, хотя по дворцу шатались гадалки, колдуны, знахари, толкователи и заклинатели. Изредка хорезмшах участвовал в собраниях ученых, но потом, чтоб смыть свой грех, выпрашивал прощенья улемов — их он тоже страшился. Кстати, и ученые наводили страх на властителя Хорезма, особенно когда вели разговоры о природных явлениях, о постоянстве бедствий, приносимых ветрами ураганными, или наводнениями необузданной реки Джейхун, или страшными моровыми болезнями.

Абу Али был тогда молод. Но сразу же завоевал уважение ученых логичностью и красноречием; зубок знал он труды по медицине и философии; о чем бы ни говорили, что ни обсуждали бы тогда на встречах совета мудрецов, всегда он был подготовлен к диспуту и способен высказать обоснованное собственное суждение. Бируни всякий раз, когда думал об Ибн Сине, о своих спорах с ним, вспоминал со стыдом, как допускал по отношению к младшему собрату упреки нетактичные и даже иной раз грубые. Что же сделаешь — тоже бывало. «Из-за чего такое случилось у меня? Из-за чувства соперничества, зависти, недостойной истинного ученого? — думал Бируни, страдая. — Или Ибн Сина зазнавался?.. Ибн Сина никогда не зазнавался. А ко мне никогда не проявлял ни малейшего неуважения».

Еще в Бухаре Абу Али назвал Абу Райхана учителем, и много лет спустя, когда встретились они в Гургане, вновь Бируни для Ибн Сины был — «мой учитель». А он, Бируни, в своих письмах допускал... особенно в спорах о «Метафизике» Аристотеля и о причинах того, что тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются... он, Бируни, стыдно вспомнить... насмешничал над Ибн Синой... По просьбе дочери Кабуса Ибн Вушмагира, правителя Джурджана, Ибн Сина написал рассуждение, касающееся способов измерения рас-

стояний. Так он, Бируни, этот трактат не посчитал тогда за серьезный труд, послал уничижительный «отзыв». Почему?.. Не потому ль, что распространенная, очень распространенная среди поэтов и среди ученых та самая болезнь, имя которой — зависть?..

И чем ближе подходило время встречи ученых, тем сильнее мысли о собственных ошибках, о собственных несовершенствах мучили Бируни.

2

Дорога из Газны в Тегинабад вилась меж невысоких, спокойно-овальных, заросших травой и кустами холмов, порою выскакивая на ровный простор, порой ныряя в узковатые ущелья, прорытые резвыми, шумливыми речками среди холмов покрупней — предвестников настоящих гор, близко отсюда расположенных.

На второй день пути, вечером, Бируни и все, кто с ним был, остановились на ночевку у высокого холма, в предусмотрительно устроенном здесь большом, рассчитанном на многолюдные караваны, бекате¹ с хорошим водоемом — сардоба. Тут же внимание ученого привлек и холм с вершиной, подобной огромному, правильной формы, куполу. Уже издали завидел этот холм Бируни, и опять вспомнилась ему вершина близ Нанды в Индии. Его охватило странное волнение. После разбивки стоянки он с согласия мушрифa отправился наверх.

Солнце уходило за горизонт, мир купался в его теплых последних лучах. Постепенно оставались внизу, по мере того как он поднимался, отары овец, пасшиеся по склонам, стреноженные лошади, шустрые козы, ловко скачущие с камня на камень. Остался внизу и дым костров, разожженных на стоянке у подножия, и даже, казалось, запах степной полыни не доставал до вершины... Ну, вот вершина... Да, точно! Та вершина, в Индии, такая же была зеленая и правильной формы. Идеальная точка для наблюдения. До сих пор он помнит: каждые сто шагов наверх — и горизонт отодвигается, появляется новый простор. Сто шагов еще — новая высота, новый простор, новая линия горизонта; мысленно проведем черту, мысленно определим угол восхождения...

Да, уж так устроен разум человека, что в любом слу-

¹ Бекат — стойбище на караванной дороге.

чае — удобном и неудобном — собирает мелочишку наблюдений, заталкивает их в неисчерпаемые и никогда не заполняемые доверху кладовые мозга. Там до поры до времени они и лежат, как жемчужины на дне морском, но вот толчок, прыжок, нырок — они освобождены, явлены солнцу, вспыхнули и засверкали. И, не выходя из обсерваторий, составляя там таблицы движения звезд, он неоднократно возвращался к мысли о шаровидной форме Земли. Но тогда, на горе у Нанды, произошел у него в голове словно нырок в тайну. Сидел он на большом камне, смотрел на солнце, думал. Вечернее солнце уходило за горизонт, холмы окутывались белым туманом, и солнце среди тумана светило расплавленным золотом.

Вот золотой этот таз стал медленно тонуть в белотуманном пространстве с едва видимым краем горизонта. Но Бируни знал: поднимись он выше горы, выше точки-камня, на котором он сидит, и окажется, что солнце продолжает сиять над линией горизонта! Но это значит, что не только параллели горизонтов, но и сами плоскости, в которых можно прочертить линии горизонтов, искривлены, как это бывает... на поверхности шара. Мало того, признав шарообразие Земли, наука может по ритмам понижения горизонта и соответствующим таблицам суметь вычислить величину окружности этого шара...

И мысль рвалась дальше — беспокойная, кощунственно дерзкая. Почему земной шар единственный? Почему не предположить, что среди шаровидных тел Вселенной не меньшее стоит в центре мироздания, но большее, — не Земля, а Солнце, которое, что можно доказать математически, по величине больше и Земли и Луны? Но тогда и картина мира получается иная, чем — страшно сказать — в богословских книгах!

Бируни свои рассуждения на сей счет еще не объявил, опасался: пожалуй, не одни богословы-улемы, но и знаменитые астрономы не смогут вникнуть в ход его мыслей о мироздании.

Увы! Тайны, разгаданные им, — для других все еще тайны. И даже то, разгадал ли он их правильно, обсудить не с кем. Вот что особенно мучительно. Нет у него никого, кто бы мог понять и оценить смысл его догадок! Нет спутника, нет друга! Как горька, оказывается, жизнь, когда в ней нет друга, равного тебе по уму и страсти исканий, такого, кто мог бы со знанием дела разделить с тобой радости и печали твоих открытий, твоих поисков. Эх, был бы сейчас рядом Ибн Сина!..

Так снова к Абу Али вернулся мыслями Бируни, снова. И гора близ Нанды исчезла из сознания.

Золотой таз солнца совсем уже ушел в землю, и закат оставил глазу только горсточку затухающих угольков.

Бируни, опираясь на палку, поднялся.

Долго, не торопясь, спускался он к стойбищу. Там было много огней, там горели костры, ярко и весело.

3

В отдельной комнате, в которую его поместил курносый мушриф, истинный глава их отряда, еле теплился маленький масляный фонарь.

Какой-то старик в пестром чекмене и в дервишской шапке, черный мешок под боком, сидит у чуть освещенной стены. Бируни почему-то сразу догадался, кто это.

— Маликул шараб?!

— Слава мудрейшему из мудрых! Неужто узнал?

Отодвинув черный хурджун, Маликул шараб поднялся. Лицо совсем обросло, сам похудел, сгорбился, но глаза так и сверкают, да и вином от него припахивает.

Бируни раскрыл объятия:

— О создатель! Откуда тут появился сей дервиш? Из тюрьмы или прямо из питейной?

Маликул шараб скинул старую шляпу, вытер ею лоб.

— Странные слова говоришь, мудрейший из мудрых! Для Маликула шараба и зиндан питейная! Хочешь? И тебе налью!

Развязал кушак, а под ним оказался спрятанным маленький бурдюк. Взболтнул его — булькнуло.

Бренный мир — зиндан огромный, это знай.

Не скажу, что мир загробный — это рай.

Сильный здесь таким же сильным там пребудет.

Пей, бедняк, здесь пить удобней — это знай.

Передавая бурдюк Бируни, закончил уже не стихами:

— Этот мир пройдет, как чесотка. Ну-ка, Абу Райхан, глотни.

Бируни рассмеялся. Но не до веселья было. Маликул шараб только на первый взгляд выглядел эдаким нунывалой. Вглядишься — и совсем иное впечатление возникает: болезненно бледное лицо, черные ободья вокруг глаз. Да и вина в последние годы сам «повелитель ви-

на» пил мало, сколько бы ни восхвалял веселящую влагу. А теперь будто нарочно опьяняет себя, заглушить в себе что-то хочет.

— Что с тобой, Маликул шараб? Скажи — «слава аллаху!». Ведь ни один правоверный не выходил живым из главных султанских подземелий. А ты вот вышел.

— Э, Абу Райхан! У твоего покорного слуги сердце обливается кровью не из-за зиндана! Даже не из-за кнута, которым щедро меня угостили там! — рывком снял с себя Маликул шараб старый чекмень, и на груди и спине его владельца увидел Бируни багрово-синие полосы.

Как только держалась жизнь в таком слабом, будто у хилого воробья, теле с торчащими ребрышками? Почему душа не вспорхнула и не улетела из него?

— Нет, Абу Райхан! Маликула шараба мучают не боль и не гнев на злодеев, нет! Мучает старого дервиша предательство одного вроде бы закадычного друга... О, этот проклятый Букри! Ты был прав, ты был прав тогда, Абу Райхан.

Бируни стоял молча; выходит, Пири Букри еще и доносчик, предатель...

— Не мог я думать, что этот горбатый дьявол, который заставлял своим искусством плакать всю мою питейную, уже двадцать лет записывает каждое слово, там сказанное, не мог! О люди, люди! — Маликул шараб стал горестно раскачиваться, потрясая кулаками. — От низости людской небо должно упасть на нас! А оно не падает, почему? Почему не провалится в пропасть этот мерзкий подлунный мир? О Бируни! Говорят: делайте, делайте добро; если совершишь добро, то и отзовется тебе добром, а совершишь зло, то получишь в ответ зло. Но я-то... ему-то... жалел его, считал, что страдает калека бедный на чужбине! Я вино пил, а без этого лжеца не пил, хлеб ел, а без этого ничтожества не ел! А этот низкий соглядатай... к каждому моему слову добавлял еще сто слов, хорошее переиначивал в плохое... А хитрая лиса, главный визирь, все знал, все! О, если бы ты видел его, Абу Райхан, этого предателя! Вчера ходил в лохмотьях, сегодня в златотканом халате, волосы и борода завиты, помолодел на двадцать лет!

«Садаф-биби! Бедная Садаф-биби!» Бируни откинулся в бессилии к стене.

— Нет! Не дождешься справедливости ни у кого... Сорок лет он сотрясал мир, а когда показался ему ан-

гел смерти, задрожал. Ждет Ибн Сину, а ему подsunут мошенника, который объявит себя великим исцелителем.

Бируни, хоть уже слышал об этом, переспросил:

— Мошенник объявил себя Ибн Синой? Я тебя не понял, Маликул шараб.

— Не понял? Этот Ибн Сина, которого нашел главный визирь, — не настоящий Ибн Сина, такой же лжец и хитрец, как сам Али Гариб! Шляется по городам и кишлакам, обирает недужных, а прозвище его — Шахвани. Тайну я тебе раскрыл, откуда узнал ее — не спрашивай. И запомни: разгадку во всей столице знают лишь двое: старый дьявол Али Гариб и скромный дервиш, твой покорный слуга! Вот так, мудрейший из мудрых: ты знаешь Ибн Сину настоящего, я знаю Ибн Сину ложного!

4

Два дня кряду они отправлялись в путь задолго до рассвета, но на сей раз солнце уже взошло, а их отряд не сдвинулся с места стоянки. Бируни никто не беспокоил. Неизвестно было даже, знал ли о Маликуле шарабе всезнающий мушриф. К полудню откуда-то явились два всадника, лагерь зажуужал.

Подмели внутри стоянки и вокруг. Водоносы с огромными бурдюками брали воду из водоема и спешно поливали тропы, ведущие от дороги к бекату. Сарбазы, приехавшие вместе с Бируни, надраивали вооружение, щиты и шлемы, украшали лошадей, будто собирались они встречать не врачавателя, пусть и знаменитого, а властителя.

Немного погодя в комнату, где расположились Бируни и Маликул шараб, вошел курносый мушриф. На нем был новый халат, подпоясанный тяжелым серебристым кушаком, ослеплял глаза шлем, а особенно ярко выделялся знак полномочий на шлеме. Нарочито громко гремел кривой саблей; будто каждое слово отрубая саблею, заговорил:

— Мавляна! Сейчас... к нам... прибудет... великий исцелитель... досточтимый господин Абу Али Ибн Сина! Солнце мира, покровитель правоверных повелел... чтоб мы с вами, оказав великому исцелителю покровительство, доставили его живым и здоровым во дворец султанский... Так? Мне известно... вы хорошо знакомы с господином Ибн Синой.

Бируни кивнул головой.

— Если только этот Ибн Сина — тот самый Абу Али Ибн Сина, с которым знаком ваш покорный слуга.

Курносый мушриф не понял иронии. Строго посмотрел на Маликула шараба:

— А ты, дервиш, знаешь великого исцелителя, господина Ибн Сину?

— Нет, не знаю. Я знаю господина Абу Халима Шахвани!

— Шахвани? Кто таков?.. Ты же вчера вечером сказал, что знаешь господина Бируни и господина Ибн Сину.

— Нет, господин мушриф! Я сказал, что знаю господина Бируни... И еще я знаю мошенника Шахвани!

Мушриф нахмурился. «В своем ли уме ваш дервиш?» — говорил его взгляд, устремленный на Бируни.

— Ежели вы оба считаете, что есть тут какие-то тайны, то... никто, кроме меня, не должен их знать! — мушриф накрыл ладонью рукоятку сабли. — Иначе... лишитесь головы!.. Тайны расскажете в Газне, кому нужно расскажете... У меня — приказ... Запомните одно: мавляна Бируни вместе с почтенным господином Ибн Синой поедут вместе в повозке.

— А дервиш, мой дервиш? — спросил Бируни.

— Будет вместе с моими сарбазами.

Бируни почтительно склонил голову. Маликул шараб, вознамерившийся продолжить рассказ о Шахвани, по знаку мушрифа захлопнул рот.

— Веление султана — веление аллаха! Разговор окончен!

Солнцу осталось совсем немного дойти до зенита, когда со всех сторон послышалось: «Едут! Едут!»

Из-за невысоких зеленых холмов показалось большое белое облако.

Через мгновение из него выскочили всадники.

Поворот с большой дороги к бекату обозначили два ряда сарбазов. Застыли конюхи, держа наготове скакунов, которых надо было предложить гостям. Водоносы с полными бурдюками на спине изготовились залить пыль, которую гости поднимут.

Бируни и Маликул шараб расположились у ворот, рядом с управителем стоянки, вздрагивавшим от каждого приказания мушрифа.

Маликул шараб, выпив все вино, пребывал в хорошем настроении. Мурлыкал какую-то песенку, не без удивления приговаривал при этом: «Ах, плут! Ах, мошенник!»

А Бируни... По мере того как приближалось белое облако, росло и его волнение, его нетерпеливое любопытство, посеянное в его душе Хатли-бегим и Маликулом шарабом.

Вот она, вот она — повозка с желтой шелковой дверцей! Издали она напоминала большой шатер. Впереди, сзади, по бокам ее сопровождали три десятка всадников,— ого, это число приличествует не лекарям, пусть и знаменитым, а могучим завоевателям!

Впереди, весь в пыли, на скакуне с благородной белой отметиной точно посередине лба рысью мчался... кто ж? А, рябой мушриф, тот самый, который сопровождал Шахвани в Тегинабад.

Вот мушриф, этот мушриф раскрыл рот, глаза его расширились, будто приготовляясь выскочить из орбит, он выпрямился в седле и, упершись ногами в стремя, заорал:

— Эй, в бекате... Управитель!.. Именем нашего могущественного султана приказываю немедленно заменить наших лошадей, сарбазов — напоить и накормить, а господина, гостя султана...

Рябой мушриф не успел закончить, как зашевелилось шелковое полотнище, отодвинулось в сторону, и взорам людей предстал человек, на голове которого красовалась белая серебристая чалма, намотанная на синюю бархатную тибетейку. Человек этот, с красиво удлиненным, породисто-благородным лицом, с короткой бородкой мудреца, которая очень шла ему, осмотрелся. Ощупал каждого своими озорными, хмельными глазами и вдруг воскликнул радостно:

— Маликул шараб? Это ты?

Маликул шараб растерянно оглянулся на Бируни:

— Он! Он самый!.. Ну и плут!

— Маликул шараб! — крикнул еще веселей человек, перегибаясь через край повозки и еще шире раздвигая желтую занавеску.— Пусть живет и здравствует великий поэт Маликул шараб, приехавший встречать великого исцелителя!

Маликул шараб толкнул Бируни в бок, захохотал:

— Смотрите, мавляна, он пьян! Вдребезги пьян, мошенник!

Шахвани, подняв руку, что-то хотел еще сказать, но не удержался на ногах или его дернули изнутри — исчез в крытой повозке, и занавески тотчас были задвинуты.

В толпе поднялся шум, послышались смешки. Курносый мушриф очнулся и пустил коня навстречу рябому мушрифу.

— Солнце нашего мира, великий султан приказал передать в мое распоряжение привезенного ученого, почтенного Ибн Сину.

— Где этот приказ?

— Вот он!

Курносый достал из-под блистающего на солнце остроконечного шлема бумагу, сложенную вчетверо, и помахал ею в воздухе, но вместо того, чтобы отдать ее рябому, вдруг резко стеганул своего коня и закричал:

— Прочь с дороги!

Рябой выхватил из ножен саблю:

— Поддельных приказов я предоставлю тебе тысячу!

Курносый тоже обнажил саблю. Почти одновременно с ними, будто по команде, выхватили сабли сарбазы обоих отрядов.

Скакуну, почуявшие приближение боя, дико заржали. Крики, вопли, ругань!..

— Освободи дорогу!

— Сам освободи!

— Бей их!

— Руби!

Схватка длилась недолго. Бируни хотел было урезонить дерущихся: «Что вы делаете, правоверные? Не саблей, а разумом решайте спор!» — собрался было броситься под ноги лошадей, но... вместо всего этого стоял растерянный, обняв Маликула шараба в течение всей непродолжительной схватки. А когда пришел в себя, резня кончилась; рябой мушриф из Тегинабада убил курносого мушрифиза из Газны, уполномоченный Али Гариба оказался сильнее уполномоченного Хатли-бегим. Да и сарбазов у первого было больше; из сарбазов второго в живых осталось лишь несколько — опрокинутые с коней, они то ропливо отползали с поля боя.

Рябой вложил в ножны окровавленную саблю. Когда его отряд вновь повернул на большую дорогу, он заметил Бируни и Маликула шараба. Вгляделся, подозревал своих всадников. Быстро подскакали они к Маликулу шарабу, свалили наземь, связали его, помчали...

Бируни закричал:

— Господин мушриф! Этот дервиш ни в чем не виновен!

Рябой мушриф даже не взглянул на ученого. Погрозил ему плеткой, потом ожег ею своего белолобого скакуна, все еще ржавшего, яростно раздувая ноздри от запаха крови, крикнул: «Вперед!» — и пустился в Газну.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

1

«Сегодня незадолго до восхода солнца шейх вышел из шатра и куда-то ушел, а после полудня вернулся с седовласым, но чернобородым старцем, который вел за собой мула. Оставив старца в шатре, шейх и я, его покорный слуга, поднялись на холм, что возвышался неподалеку от палатки. Там, сняв свой чекмень и расстелив его на траве, шейх прилег, дав мне знак расположиться рядом.

Я присел возле и с нетерпением стал ожидать его слов.

Прикрыв глаза, шейх долго о чем-то размышлял, а затем спросил:

— Есть какие-либо вести из Хамадана?

— Нет никаких вестей, — ответил я.

— Как только прибудет подмога, отправимся в Исфahan, — сказал шейх.

Это приказание меня удивило. Только вчера шейх, услышав о прибытии из Исфahана послов эмира Масуда, тайно покинул Хамадан, а сегодня собирается отправиться именно в Исфahan?

— Говорят, в Исфahане свирепствует черный мор! — сказал шейх. — Мор косит людей, болезнь переходит из дома в дом, с одной улицы на другую.

Какая горькая новость! Мне показалось, что на мою голову опрокинули кувшин ледяной воды.

— О наставник, разве идти в город, где свирепствует мор, не то же самое, что быть в положении бабочки, летящей на огонь и в нем сгорающей?

Во взгляде шейха я увидел ледяной блеск. Он едко усмехнулся:

— Хвала тебе, сынок, хвала... В самом деле, пусть исфahanцев косит мор, пусть падает несчастье на весь народ, а человек, прозванный «великим исцелителем», стоит в сторонке, в безопасности! Хвала тебе, дорогой!

Я покраснел. Мне стало стыдно за непродуманный свой возглас. К тому же я вспомнил, что младший брат шейха, Абу Махмуд, — в Исфahане. После продолжитель-

ного молчания я, решив повернуть разговор в другое русло, стал расспрашивать шейха про холеру и черный мор, чуму, — болезни, приводящие к гибели многих тысяч людей. Откуда берется мор, который будто пожар охватывает города и целые государства?

— Причину таких болезней следует выяснять на месте, а для этого нужно поехать туда, где они бушуют, — сказал шейх, не упуская из виду того, о чем говорил прежде. Потом смягчился, стал объяснять: — Великие лекари Букрат-хаким, Джолинус, Абубакир ар-Рази, а также историки Рума, Индии и Китая свидетельствуют, что в густонаселенных городах, например таких, как Исфahan, после осад и голода начинают свирепствовать холера или чума, которую народ называл черным мором. В книгах мудрецов часто упоминается, что во время бедствий на земную поверхность выползает всяческая мелкая тварь — грызуны, насекомые, — вот они-то переносят черный мор из одного дома в другой. Черный мор — очень заразная болезнь, и переносят ее крысы и мыши, это они сеют бедствия и смерть! Нет ничего странного, что именно в Исфahan пришла болезнь. Город был осажден, там голод...

Я вспомнил левое побережье реки Зарринруд. Исфahan — город немалый, но благоустроенных улиц и домов в нем наперечет, там, где живет знать, на правом берегу, а только мост перейдешь — и глазам предстают кривые-косые переулочки, полуразрушенные лачуги, почти что шалаши, низкие и темные лавчонки — мастерские кузнецов, шорников, изготовителей колыбелек, камнетесов, ножовщиков. Я представил себе, как всюду у дувалов валяются неубранные трупы, как рыщут одичалые кошки и собаки, как перебегают из лачуги в лачугу крысы, и меня стал бить озноб.

— Говорят, у страха глаза велики, — продолжал между тем шейх. — Иногда люди впадают в панику, принимают за холеру или за черный мор другие болезни. Не знаю, что сейчас в Исфahане. Но если там черный мор, как рассказывает мой знакомый, путник, прошедший через Исфahan, то избавиться от него — дело очень тяжелое. Все станет ясным на месте. Ну, а лекарства, лечебные травы, какие у нас здесь есть, — все нужно собрать, разложить по коробкам и сундукам. Все повезем с собой! Путник, который пришел со мной — его зовут Шокалон, — поможет тебе.

— Кто этот путник? Он родом из Исфahана?
Вопрос почему-то заставил шейха задуматься.

— Нет, он родом из моей Бухары,— помолчав, ответил шейх.— Из Афшаны, где родился и я. Детские наши годы прошли вместе, в одной махалле. Я уехал из Бухары навстречу многим бедам, и он тоже, оказывается, перенес множество лишений.

После чего шейх поведал мне удивительную историю.

Между сыном этого бородача путника из Афшаны и дочерью одного тюркского бека разгорелась самозабвенная любовь. Но однажды ночью какие-то люди напали на стоянку бека, похитили дочь и увезли ее сюда, в Исфahan, в дар эмиру Масуду.

— Я должен обязательно увидеть этого несчастного юношу,— твердо сказал шейх.— Обязательно... Ты еще молод, сынок, и не знаешь, какими бывают страдания любящих сердец. Говорят, кто не испытал мук любви, тот еще не родился на свет!

Я в шутку попросил наставника рассказать, что же говорит наука об этих страданиях.

— Ты напрасно улыбаешься, Абу Убайд,— сказал с мягким укором шейх.— Ты знаешь, что в третьей книге «Аль-Канона» я описал любовь как заболевание вроде наваждения.

— Да, наставник, я помню все признаки, вами там перечисленные: ввалившиеся глаза, веки непрерывно движутся, больной часто смеется без видимой причины или как будто видит приятное глазу и слышит приятное уху...

— Как будто... В этом все дело. Потому и наваждение!

— Ну да...— продолжал я припоминать.— Дыхание у заболевшего часто прерывается, он постоянно вздыхает...

Шейх поднял руку. Остановил меня. Задумчиво покачал головой:

— Все так и есть... И все же о любви нельзя рассказать... О ней можно слагать стихи и песни, но описать прекрасную болезнь невозможно. Вся прелесть неизъяснимого этого чувства пропадает.

Посмотрев на печальное лицо наставника, я подумал, что он не просто описал признаки прекрасной болезни, этого мучительного наваждения, он сам пережил любовь, он страдал. В юности шейх, должно быть, выглядел красавцем — высокий рост, худощавая, но сильная фигура, лицо, отмеченное печатью ума и сдержанной страстности, проникновенные голубые глаза. Я знаю, сколько женщин вздыхало о нем, искало сближения с ним. Заррина-бану, дочь Кабуса Ибн Вушмагира, правителя Джурджана, приглашала его к себе во дворец, будто для того, чтобы

шейх написал книгу о способах измерения расстояний. Шейх написал заказанный трактат. А заказчица призналась в любви к ученому. Правительница Рея — Саида тоже влюбилась в него, но не получила любви в ответ. Шейх, можно сказать, из-за этого и покинул Рей.

Шейх глубоко знал женскую душу, загадочную для большинства мужчин. Потому, я думаю, знал душу, что никто лучше него не знал организм женщины и все его заболевания. Я это понял лет пять назад, когда прочитал соответствующие главы «Канона». Сколько описано там бед, нападающих на женщин! Различные опухоли, затрудненные месячные очищения, тяжесть родов и еще большая тяжесть бездетности, и ко всему — способы лечения всех болезней, вплоть до необходимо благотельного вмешательства ножа, с подробнейшим описанием лекарств — и самых сложных, и самых простых. Прочитав эти главы, я буквально онемел от простой мысли: ведь чтобы написать все это, нужно было выслушать, осмотреть тысячи и тысячи тяжело больных женщин, вникнуть не только в видимые, но и в невидимые признаки заболеваний. А наши женщины — как они стыдливы, молчаливы, иные женщины совсем не показываются лекарю, иные же — тянут с лечением до тех пор, пока Азраил не появляется в дверях их жилищ. Я помню, как в Исфахане один богатый торговец глубокой ночью привез свою возлюбленную в бессознательном состоянии — днем «было стыдно». К лечению женщин шейх относился всегда с большой чуткостью, поэтому к нему обращались чаще, чем к кому-либо...

Шейх все еще был в плену грустных мыслей. С тяжелым вздохом он сказал мне:

— Я должен увидеть и ту несчастную девушку, которую отправили в дар эмиру Масуду.

Я спросил, знает ли он бедняжку.

— Нет, я знал мать этой несчастной...

Я не осмелился спрашивать дальше.

Когда наступили сумерки, шейх удалился в шатер. После вечерней молитвы велено было зажечь свечи, принести бумагу и перо. Я понял, что душа шейха склонилась к сочинению поэзии и музыки, а для этой работы ему нужно было уединение (научным занятиям присутствие учеников отнюдь не мешало).

Я видел, как шейх шептал что-то, тихо покачиваясь и весь уйдя в себя. А я заснул на своем ложе неподалеку от входа...

Пробудился я от какого-то печального напева. Напева, похожего на плач.

В глубине шатра, низко опустив голову, сидел шейх и играл на гиджаке. Слушал его, полулежа рядом на подушках, знакомый бородач Шокалон. В отсвете догорающей свечи я заметил слезы на ресницах и шейха, и Шокалона. Они были сейчас не здесь, может быть, летали они сейчас на крыльях грустной этой песни, над родной своей далекой Бухарой.

Музыка стихла. Шейх вытер ладонью слезы, посмотрев на земляка, улыбнулся.

— Стареешь, и душа становится очень чувствительной, верно, Шокалон?

— Ты не стареешь, мавляна. У тебя получилась такая песня, что за сердце берет. Еще раз, Абу Али!

Шейх глубоко вздохнул, приоткрыл глаза.

Сердце болит от разлуки с родным очагом.
Способ лечения этой болезни нам неизвестен.
Рай на чужбине пустынной пустыни родной...
О, если б, странником став, я вернулся домой.

— Правду говорят: не став странником, не станешь мусульманином! — сказал Шокалон задумчиво.

— Ты спроси меня, что такое разлука, Шокалон, и что значит быть оторванным от родного очага... Закрою на миг глаза — и сразу оживают в памяти зеленые поля Афшаны, родники и арыки, где мы в детстве купались, улицы Бухары. Все время вижу во сне Джуи Мулиен, наши родные места. А проснусь — так уже до рассвета нет сна.

— О Абу Али! Абу Али! — воскликнул Шокалон. — И Афшана, и Бухара давно уже не те, что ты знал!

— Печально... Я не могу не верить тебе. Но, что бы там ни произошло, стоит мне закрыть глаза... Нет у меня иной заветной мечты, чем еще раз увидеть родные места, побывать в садах Афшаны, почтить память покойного отца у его могилы.

— Да исполнятся твои желания, Абу Али!

— Ладно, да исполнятся, — сказал шейх. — Ты ложись отдыхай, у меня сон пропал, выйду, похожу немного...

На другой день из Хамадана доставили вьюки, которых мы ждали. Итак, мы взяли путь на Исфакхан...»

Из воспоминаний Абу Убайда Джузджани

Полководец эмира Масуда — воитель и приближенный — Абу Тахир прибыл во дворец задолго до рассвета. Но дворец уже не спал. Горели каменные фонари, мерцали свечи, гремело оружие. По коридорам близ гарема бегали испуганные бледные женщины — гаремные надзирательницы. В иных углах, неслышно ступая, ходили улемы, перебирая тяжелые четки и тихо шепчась. «Ртуть... Ртуть... Красавица из Бухары ночью налила в ухо эмира ртуть», — вот что услышал Абу Тахир.

В комнате перед спальней эмира стояли, стараясь не глядеть друг на друга, врачеватели — на то указывали их длинные белые халаты из легкой ткани и напуганно-настороженный вид. Дверь в спальню была закрыта. Но слабые стоны можно было расслышать и в приемной.

Абу Тахир медленно подошел к двери, прислушался. Резким рывком открыл дверь и тут же, войдя внутрь спальни, захлопнул ее, не дав глухим стонам «выскочить» в приемную.

Эмир Масуд, бесстрашный воин, тот, что в густых джунглях один на один сражался с тиграми, валялся на полу, натянув на голову подол парчового халата; страдальчески жалобный стон потому и звучал так глухо. Над эмиром согнулся в полупоклоне какой-то незнакомый Абу Тахиру врачеватель, в руках которого дрожала лекарственная посуда. Бледнел, дрожал и дворецкий.

Абу Тахир опустил перед эмиром на колени:

— Повелитель!

Эмир засуетился, затрепыхался, как птица в ловушке, высвободил наконец свою голову из халата. Глаза его налились кровью, скуластое, чугунно-темное лицо тронули какие-то синие пятна.

— Абу Тахир! — неожиданно громко и внятно воскликнул эмир Масуд. — Хитрый степняк Алитегин, враг досточтимого моего отца, отомстил... мне! Развратница, им подаренная, налила мне в ухо ртуть. Ртуть, Абу Тахир!.. Где эта развратница в облике ангела? — эмир вдруг повернул голову к дворецкому.

Тот чуть не упал в низком поклоне:

— Она сошла с ума, великий эмир!

— С ума сошла? Надо бы ее живьем закопать в землю! — Эмир упал ничком на ковер, стал опять вертеть головой, дергаться, схватив правой рукой мочку левого уха.

«Вылить хочет ртуть? — подумал Абу Тахир. — Тогда кто же сошел с ума?»

— Даст аллах, все у вас пройдет, мой эмир! Послушайте лучше меня. Я принес вам удивительное известие! Сторож у ворот Табаристан задержал трех неизвестных дервишей...

— Неизвестные? Я мучаюсь здесь, близка моя смерть, а ты мне рассказываешь о каких-то дервишах!

— Великий эмир! Вы не дослушали меня! — обиженно произнес Абу Тахир. — Один из них называет себя Ибн Синой!

— Ибн Сина?

— Да, мой эмир!

Масуд снова встал на ноги, завертел головой, затихшая на миг боль, видно, возобновилась, и он опять схватился за ухо.

— Где Ибн Сина, если это он? — простонал эмир. — Привести его немедленно! О творец! Может, чудотворной рукой этого исцелителя ты уберешь страшную боль?

Абу Тахир со всех ног кинулся вон из спальни комнаты.

А Ибн Сина вместе с Абу Убайдом в это время сидел у большого водоема во дворцовом дворике, смыкающемся с огромным садом. Тихо плескалась вода, отражаясь на мраморных стенках темными, причудливыми тенями, — солнце еще только-только начало свой вечный путь в небе. Чинары и вязы были окутаны его алым свеченьем. Птицы, соскучившиеся по солнцу, распевали во всю свою силу, перебивая откуда-то долетавшие и в тихий дворик стук сабель и щитов, хриплые выкрики: «Бей! Коли! Руби!» — это, видно, сарбазы упражнялись во владении оружием на майдане с противоположной стороны дворца.

Вчера после вечерней молитвы Ибн Сина, Абу Убайд и Шокалон подъехали к воротам Табаристан. У Ибн Сины не было желания открывать свое имя, он собирался вместе со спутниками обойти улицы города, посмотреть, порасспросить людей, выяснить, где правда, а где небылица в этих разговорах о пришествии в Исфahan чумы. Конечно, он намеревался заглянуть к младшему брату Абу Махмуду и в бывший свой дом, который стоял на тихой тенистой улочке неподалеку от библиотеки и дворца, за мечетью Шахристана — той «чистой», «богатой» части города, которая располагалась на восточном берегу Зарринруда.

В Исфахане, как и в Бухаре, было двенадцать ворот. Больших, высоких — через них могли свободно пройти горой нагруженные слоны. Прежние стражи хорошо знали Ибн Сину. Но ныне прежних стражей не было. «Я — Ибн Сина», — сказал Ибн Сина, на что никакого внимания не было обращено. Путников продержали всю ночь перед воротами. На рассвете появился какой-то сарбаз, нос и рот которого были обмотаны черной тканью. «Я — врач», — сказал Ибн Сина.

Их пропустили. Один из сарбазов повел Ибн Сину по городу.

То ли спал еще город, то ли покинули его люди, — всюду было тихо, всюду настороженное безлюдье. Впрочем, нет, на перекрестках улиц копошились какие-то черные тени. Нет, то не тени, а сарбазы, которые сволакивали на площадки гузаров¹ трупы людские. Сарбазы, в тяжелых черных халатах, с черными повязками на лицах, с вилами и крючьями в руках, прочесывали узенькие улочки, осматривали полуразвалившиеся лачуги, подбирали мертвецов, поддевая тела вилами и крюками, закидывали их на телеги, а потом вываливали в заранее отведенных местах.

О аллах! Все рассказанное Шокалоном оказалось сущей правдой! Жестокой правдой!

Ибн Сина хотел раза два остановить лошадь, но сарбаз, размахивая плетью, запретил это делать.

Пересекли площадь Накши джахон, где особенно высоко была гора свезенных мертвых тел; показались высокие порталы библиотеки Хисар — любимое место Ибн Сины, в последние годы его жизни в Исфахане единственное любимое место, где отдыхал он от забот по поддержанию власти Ала-уд-Давли, где душа его находила покой, а мысли текли свободно и сладко. Тут он закончил «Аль-Канон», работал над «Книгой знаний», тут и у себя дома, что находился близко к библиотеке. Но что это? Высокие порталы Хисара открыли неприглядную картину: купола библиотеки обвалились, в здании чернели провалы. Значит, и библиотека сгорела, как и торговые ряды за ней. Ну да, в городе во время осады многое сгорело. «И мой дом, как мне говорили».

Ибн Сина в тоске и тревоге повернул коня вправо, к своей улице, но сарбаз опять жестом приказал: «Не

¹ Гузар — оживленное место на перекрестке улиц.

отставайте от меня!» Еще бы чуть-чуть проехать, и Ибн Сина увидел бы свой дом (он горел, да не сгорел), увидел бы родных, узнал бы, жив ли младший брат. Не смог разузнать. Не дали увидеться.

А теперь с глубокой болью в сердце он сидит в дворцовом дворике на мраморной ступеньке, и под его ногами плещется, играет тенями вода. Двухъярусный дворец светится неяркой голубизной; в саду поют соловьи, разносится нежный запах далеких полевых трав; в нос бьет еще и запах горячих лепешек, жареного мяса — на дворцовых кухнях не спят. И будто нет ни мора, ни голода в Исфahanе.

Горько усмехнулся Ибн Сина.

«Чему удивляться? Разве не то же самое было и при Шамс-уд-Давле, которого ты знал в Хамадане, и в течение долгих лет правления Аль-уд-Давли в Исфahanе? На той стороне реки, за этой вот высокой стеной, голодают, разуты и раздеты, а по эту сторону, внутри этих стен, живут сытно, обуты и одеты богато. Разве не так же было всегда? Разве не здесь, вот у этого большого водоема — помнишь, Абу Али? — под куполообразным навесом каждый вечер задавал твой хозяин и ученик, правитель Аль-уд-Давля, невиданные пиры: тогда собирались здесь эмиры и богачи, тогда из серебряных фонтанов, что белеют сейчас в предрассветном тумане, не вода текла, а прозрачное вино!»

Воспоминания перенесли Ибн Сину в Хамадан.

А в Хамадане, когда правил там Шамс-уд-Давля? Ох, этот недалекий Шамс-уд-Давля... День был здоровым, десять — больным, потому что день был трезвым, а десять вдрызг пьяным, а как только этот Шамс-уд-Давля нальет свой живот, словно бурдюк, вином — тотчас начинал творить нечто нелепое. Мнил себя великим завоевателем, болтал направо и налево о замыслах захватить соседние города и даже — уму непостижимая чушь! — пленить самого Махмуда на востоке, а императора Рума — на западе. А знатные прихлебатели Шамс-уд-Давли, с чашами в руках, наполненными до краев, пили да расхваливали щедрого и вдрызг пьяного своего правителя: куда, мол, до них, высокородных, степняку султану Махмуду, ложному покровителю правоверных! Вот их Шамс-уд-Давля — покровитель... И этот помещанный верил, еще сильнее разгорался, криком кричал — собрать войска! Но кончались ночные кутежи, а

утром «победоносный завоеватель» тряс непомерным своим брюхом и, корчась от боли, как собака, заглотнувшая острую кость, жалобными взглядами взывал о помощи. Абу Али помогал, выручал, выслушивал заверения в дружбе, клятвы: я, мол, выполню все, что пожелает исцелитель-благодетель. И он, Абу Али, все еще горевший заветной мечтой о справедливом государе, без устали просвещал хамаданского правителя, хоть и видел, что не тот это государь, не тот... Да, что было, то было! Ибн Сина верил, что словом своим сможет превратить в справедливого государя даже такого полоумного. Клистиры ему неукоснительно ставил, лекарствами разнообразнейшими пользовал, а заодно вливал в его пустой мозг легенды о мудрых царях, соображения о мудром управлении государством. И Шамс-уд-Давля с интересом слушал легенды о царях, которые заботились об обездоленных, честно приумножали казну, издавали верные указы. Слушал и снова клялся, что будет, будет и сам творить благие дела.

Ах, простодушный, доверчивый Абу Али! Он ведь дал согласие стать визирем Шамс-уд-Давли. А став визирем, начал по-своему расходовать казну: деньги, предназначенные для войска, направил на иные дела, войско сократил, наказал выстроить медресе и караван-сарай, прорыть арыки, чтоб привести воду в пустынные степи. Увы! «Справедливый государь», увидев однажды своих эмиров, в ярости выхватывающих сабли из ножен, перепугался чуть ли не до смерти. А когда унимались боли в животе, то и совсем забывал о своих обещаниях, данных визирию Ибн Сине и лекарю Ибн Сине.

И опять у мраморного — такого же, как этот, исфahanский, — водоема, точно под таким же, как здесь, навесом, собирались знать, военачальники, чиновники, отстраненные Ибн Синой от должностей и восстановленные Шамс-уд-Давлей в тех же должностях; снова рекой текло вино, слышались песни, изгибались в сладострастных танцах молодые танцовщицы. Снова лились восхваления Шамс-уд-Давле, только вчера еще стонавшему, как собака, которая проглотила острую кость, а сегодня опять кричавшему, что покорит весь мир от востока до запада...

Да, все пошло прахом и в Хамадане, и там оказалось, что, как говорится, не в коня пошел корм...

— Господин мой!

Ибн Сина будто вынырнул из воспоминаний. Кто это

его зовет? А, сам Абу Тахир, могущественный начальник начальников, правая рука эмира.

— Господин! Великий эмир ждет вас.

Абу Тахир поклонился, но и в поклоне его было нечто надменное, а во взгляде, который он кинул на сшитое из лоскутков рубище Абу Убайда, читалось неприкрытое презрение заодно с подозрительностью.

— Этот юноша — мой ученик, — сказал Ибн Сина. — Он помогает вашему покорному слуге в делах лечебных. Ведите нас!

Многочисленные свечи в нишах и люстрах, слабо освещавшие длинные коридоры и переходы мрачного дворца, постепенно набирали силу, а в приемной, куда они вошли все трое, сияли всюю.

Когда Абу Тахир вошел сюда вместе с двумя дервишами, группка разом пришла в движение. Послышался шепот: «Ибн Сина в облике дервиша? О создатель... А который из них Ибн Сина?»

Абу Тахир осторожно открыл двустворчатую резную дверь, пропустил вперед себя Ибн Сину и Абу Убайда.

После яркого света в приемной здесь в глаза ударила какая-то серая темнота.

Эмир Масуд уже не корчился на полу, сидел в слабо поблескивающем кресле, одна рука — на подлокотнике, другая вцепилась в правое ухо. Глаза прикрыты. На широком скуластом лице — гримаса страдания.

— Великий эмир, — шепотом обратился к нему Абу Тахир.

Масуд открыл глаза. Посмотрел на своего любимца, потом — с подозрением — на двух дервишей, что остановились у двери. Страдальческое выражение на лице исчезло. Видно, догадался, кто пришел.

— Досточтимый Ибн Сина?.. Кого из вас величать Ибн Синой?

— Это я, повелитель.

— Ты... Пусть ты... — Опять на лице эмира возникло недоверие. — Если ты великий врачеватель Ибн Сина, то почему же... повелитель правоверных послал за тобой своих гонцов, а ты спрятался от них?.. Почему сбежал из Хамадана, когда я прислал к тебе своих гонцов? Тогда вот сбежал, а теперь пришел... своими ногами?..

Ибн Сина улыбнулся:

— Если великий эмир недоволен прибытием своего покорного слуги в Исфахан, то я готов...

— Нет-нет! Я всего лишь спросил о причине... вашего прихода, мавляна.

Ибн Сина горько улыбнулся:

— Великий эмир! Причина, что привела покорного вашего слугу в Исфахан,— это черный мор.

— Черный мор?

— Простите, эмир, я еще не могу сказать определенно, чума ли это... До меня дошли слухи, что в городе свирепствует черный мор. Я должен проверить их.

— Если в городе свирепствует черный мор, значит... такова воля аллаха,— лицо эмира неожиданно резко дернулось.— Ртуть! Развратница, колдунья, подосланная хитрым Алитегином... она влила в мое ухо ртуть!

«Подосланная Алитегином?» — повторил про себя Ибн Сина и едва справился с волнением, вдруг охватившим его. Приблизился к тронному креслу:

— Ртуть? Какая ртуть?

— Этот хитрец Алитегин...

— Расскажите мне сначала о болезни, повелитель. Как у вас болит в ухе, непрерывно или временами?

— Временами болит, временами затихает.

— А когда боль затихает, то сразу или постепенно исчезает?

— Сразу пропадает, мавляна, сразу... Вот... сейчас... пропала, слава аллаху... Нет-нет, снова началась! Ой, ой!.. Прорвала ухо изнутри, видно, в мозг перескочила! Это не ртуть, это, видно, яд, смешанный с ртутью, яд! О создатель, за какие грехи ты ниспослал мне такие страдания?!

«Он еще смеет спрашивать небо! Жестокосердный убийца! Кто вершил резню, заставляя осажденных умирать от голода?»

Горечь комком встала в гортани. Ибн Сина откашлялся:

— Эмир! Я должен увидеть эту невольницу!

— О создатель милосердный! За что, за что?.. Сначала освободи меня от мук! Если ты поистине Ибн Сина... А потом... Захочешь, так заведи насовсем эту развратницу!

— Я вылечу ухо, мой эмир. Но прежде чем приступить к лечению... у меня есть одна просьба...

— Сначала вылечи. Все просьбы — потом... О, как больно!

— Потерпите, эмир! Просьба моя... Надо сегодня же,

немедленно открыть городские ворота! Пусть несчастные, кому грозит черный мор, выйдут на природу, в степи и поля. Пусть воспользуются они весенними травами! Сегодня же собрать во дворце глашатаев и лекарей: я расскажу им, какие травы лечат, глашатаи и лекари передадут людям названия трав... И еще: в гузарах следует поставить большие котлы, в них делать отвары лечебных трав, разносить отвары по домам... В противном случае все погибнут, великий эмир!

— О творец! — Масуд устремил взгляд своих налитых кровью глаз на Абу Тахира. — Где это ты выкопал полоумного дервиша?

Боль возобновилась, и эмир вдруг тихо сполз с кресла на ковер.

— Это не великий исцелитель Ибн Сина, а сам дьявол!.. Вылечи, сначала вылечи, а потом уж ставь условия!

— Сейчас, мой эмир, сейчас... Только не забывайте моих условий! — И, сказав так, Ибн Сина приказал Абу Тахиру: — Немедленно найдите второго моего помощника: у него есть сундуки с различными лекарствами. Прикажите доставить!

— Немедленно! — стонал эмир. — Немедленно!

Абу Тахир поспешно выскользнул из комнаты.

Ибн Сина на цыпочках подошел к Абу Убайду, так и не продвинувшемуся вперед от порога.

— Иди во дворик, открой красный сундук!

Абу Убайд прошептал:

— Наставник! Эмиру взаправду влили в ухо ртуть?

Ибн Сина приложил ладонь к своим губам. Тихо ответил:

— Нет, у него был в ухе нарыв, он загноился... может, там завелся и червячок... Нам нужны будут жидкость, сделанная из египетского алоэ, в синем пузырьке, увидишь, масло миндальное в желтом флаконе, еще... Подожди! В темно-синем флакончике также отвар семян колючего кактуса.

— А-а-а! — исходил криком эмир. — Где же ты, великий лекарь?! Убери эту боль! Дам тебе золота вровень с твоим ростом, вровень!

Ибн Сина громко сказал Абу Убайду:

— Я назвал тебе лекарства. Беги быстрее!

— Немедленно! Немедленно! — подтвердил эмир и уткнулся лицом в ковер.

...Эмир Масуд проснулся, но долго еще лежал в постели, не шевелясь. Боялся, что боль возвратится.

Должно быть, долго он спал, и солнце, видно, уже сильно передвинулось на запад; от его лучей горели ковры, настеленные на пол по правой стороне спальни. Да и вся комната словно залита была оранжево-красным пламенем, — потолок в светло-синей мозаике, ажурно-хрустальная люстра под ним, сабли и щиты, висевшие на стенах, сами стены, отделанные розовой мозаикой, — все пылало.

Колотье в ухе напрочь стихло. Мысли были ясные, по усталому телу растекался блаженно-приятственный покой.

Давно уж Масуд не испытывал такого состояния. Оно было похоже на то, что случалось в детские годы по вечерам, когда он, мальчик, лежал в постели рядом с любимой тетушкой Хатли-бегим, ощущал теплоту ее тела, ласковость ее нежных рук. «О всемогущий! Тысячу раз благодарю тебя за милость! Нет, ты не лишил грешного своего раба любви своей и милости, отвратил беды, которые наслали на меня враги...»

Чудо-лекарь накапал в ухо всего три-четыре капли какого-то бальзама цвета желчи, дал что-то выпить, а еще проглотить нечто подобное изюминке... Эмир не заметил, как заснул, и вот теперь он лежит в блаженной истоме, а ум — ясный, светлый, все-все помнит.

Этот пожилой странник в рубище в самом деле тот самый, настоящий, великий исцелитель? Но зачем тогда ему одежда дервиша?.. Он говорил, этот дервиш, что причина его добровольного прихода в Исфахан — черный мор, будто настигший город. Да, так он и говорил! И еще просил... да нет, требовал глашатаев и лекарей города, — у него есть лекарственные травы, отвар их надо раздать правоверным. И еще: открыть все городские ворота, дабы несчастная голытьба могла выйти за травами.

«Черный мор! Уже больше месяца я сам пребываю от подобных слухов в страхе и тревоге. Это я велел никого не выпускать из города, отсидеться от бедствия за стенами. Я велел наглухо закрыть все дворцовые входы, чтобы муха не могла проникнуть во дворец... Все мы живем, бедствуем, помираем по воле аллаха. И если, как говорят, голытьба от голода ела собак, кошек и даже крыс, а потом расставалась с миром этим бранным, то...

это воля аллаха такова. И не эмирам перечить той воле... Страшно только то, что ночью снятся покойники в белых саванах. И нищие в рваных халатах. И тощие, усохшие дети... Это хорошо, что прославленный на весь мир врачеватель сам, своими ногами пришел в Исфахан. Хорошее знамение!»

Так умиротворенно думалось эмиру.

А вместе с тем просыпалась и росла новая тревога... С появлением врачевателя встала перед эмиром щекотливая, трудная задача. Если сей человек в облике дервиша подлинный Ибн Сина, эмир должен тотчас же, немедленно отправить его к почтенному родителю своему в столицу, ибо коль дойдет до священной Газны весть о том, что господин Ибн Сина в Исфахане, во дворце эмира Масуда, благословенный родитель, угасающий от неизлечимой болезни, вправе будет заподозрить сына в намеренной задержке врачевателя у себя.

Отец и без того холоден к нему, к родному своему сыну. Задумал лишить его права наследовать престол. Весть об Ибн Сине в Исфахане удесятрит ярость отца. А в ярости он способен и меч обнажить. Да, способен. А это значит...

Это значит, что о лекаре никто не должен знать, никто не должен увидеть его, особенно из тех, кто знает Ибн Сину в лицо. Пусть-ка другие лекари огласят то, что говорил этот мудрец, пусть они подготовят лекарства из трав для жителей города, а Ибн Сина... лучше всего, чтоб никто не знал, что он живет во дворце.

Эмир пришел к твердому решению на сей счет. Вытащив из-под подушки трещотку, помахал ею. Вошел не дворецкий, а Абу Тахир.

— Слава аллаху! — с улыбкой сказал он. — Хорошо выглядите, великий эмир!

Эмир пригласил своего приближенного присесть рядом:

— Где этот лекарь... в одежде дервиша?

— Почтенный Ибн Сина? По вашему разрешению он пошел посмотреть на эту... невольницу, присланную эмиром Алитегином!

Эмир промывал что-то невнятное. Потянулся всем телом. Подоткнул под бока подушки, выпростал из-под одеяла ноги: как и отец, любил, когда ему оглаживали бедра и голени.

Абу Тахир невольно подвинулся ближе к ногам эмира. Но тут резко, без разрешения распахнулись двери, в

комнату вбежал запыхавшийся дворецкий, небрежно-заученно поклонился:

— Повелитель, прибыл срочный гонец!.. Из столицы... С посланием от всемилостивейшей Хатли-бегим...

Эмир успел сесть в тронное кресло, пока отосланный дворецкий исчезал из комнаты и входил в нее гонец с горящими, красными от бессонницы глазами. Молча пал на колени у самого порога, держа черенок плети обеими руками.

— Послание!.. Давай.

Гонец скрутил головку на рукояти плетки, головка отделилась, и показалась трубочка бумаги. Вытянув ее перед собой, гонец все так же молча пополз к эмирову креслу.

— Парчовый халат гонцу! — приказал эмир Абу Тахиру, а сам дрожащими руками развернул послание, округлое, словно най. Раскосые глаза быстро забегали по мелким, похожим на муравьиные следы, строчкам. На скуластом лице появилось выражение удивления.— О праведный аллах, что только не творится в подлунном этом мире! — воскликнул эмир, кончив чтение и соскочив с кресла.

Абу Тахир, бледнея, спросил:

— Добрые ли вести из столицы? Как здоровье покровителя правоверных?

— Здоров отец, слава аллаху, здоров,— ответил эмир и неожиданно раздраженно расхохотался.— Великий исцелитель, мавляна, шейх-ур-раис Ибн Сина в столице!

— Где? В какой столице?

— В нашей, нашей столице! В священной Газне! Тут вот пишут: его будто бы привез из Тегинабада тот самый дылда, Рыжий Абул Вафо, что приезжал и к нам два месяца назад!.. И со всеми почестями господина Ибн Сину встретили великий визирь Али Гариб и красавчик Абул Хасанак!

— О аллах! — Абу Тахир схватился за ворот халата.

— А ты веришь этому... своему дервишу?!

— Великий эмир! — Абу Тахир, забыв, перед кем он стоит, забегал по комнате.— Нет, нет! Вы не верьте посланию, не верьте... Тот Ибн Сина, что появился в столице,— не настоящий Ибн Сина!

Эмир откинулся к спинке кресла, надолго задумался. В отсвете красноватых лучей, лившихся в комнату через отверстие в потолке, его грубое, скуластое, как у отца,

лицо стало похожим на неподвижную маску. Наконец тонкие губы под усами подковкой прошептали:

— Но зачем этим двум ловкачам нужен лже-Ибн Сина?

— Не для хороших целей, мой эмир! — Абу Тахиру вдруг все сразу стало ясным и понятным.

— А именно?

— Они добьются еще большего, чем сейчас, доверия покровителя правоверных, а потом... руками этого лже-Ибн Сины, занимающегося будто бы лечением повелителя... — Абу Тахир сам испугался своей догадки. Со страхом посмотрел на эмира.

— Говори! Раз начал, так договаривай!.. Отравят, да? Отца отравят?!

Эмир сорвался с кресла, нервно зашагал по комнате. Кривая сабля на поясе звенела при каждом резком повороте.

Да, Абу Тахир прав. Прав! В послании любимой тетушки тоже чувствуется некое... веяние подобной мысли. Хатли-бегим и верному гонцу, видно, не слишком доверяла и потому ни прямо, ни намеком не обмолвилась про то, о чем сказал Абу Тахир, но все равно есть, есть в послании некое веяние... Ну, а он сам, эмир Масуд... Что ему делать?.. Нет, эмир Масуд не желает зла своему отцу!.. Хотя это немыслимая несправедливость со стороны досточтимого родителя — решение вместо него, старшего сына, законного наследника, — отдать престол тому придурку, младшему своему сыну!

«Нет, то не благословенный отец, а два дьявола, которые кого хочешь заставят плясать под свою дудку, — они, они виноваты в оскорбительной несправедливости! Али Гариб и Абул Хасанак, как змеи, обвили моего родителя, это они виноваты во всех моих бедах! Ну, раз так... Тогда надо отправить в Газну настоящего Ибн Сину, открыть глаза отцу на козни его визирей, содрать с них шкуру, набить соломой...»

— Слушай меня, Абу Тахир! — внезапно прервал свое хождение эмир. — Ты веришь, что тот Ибн Сина, который появился в столице, — ложный, а этот, наш, — настоящий?

— Именно так! И аллах это видит!

— Если я соглашусь с тобой, что следует нам сделать, Абу Тахир?

— Нужно подумать, мой эмир!

— Нечего тут думать! Нужно сейчас же отправить его в Газну! Приготовь десять всадников и лучших ска-

кунов! Приготовь одежду, продовольствие — все, что нужно в дороге! И рано на рассвете завтра отправляйтесь... в священную Газну. Действуй!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Уже два дня главный визирь Али Гариб ожидает — не у себя дома, а во дворце «Невеста неба» — приема у султана Махмуда. Но попасть к нему не может. Ибо допочтенный Ибн Сина, доставленный в Газну с соблюдением всех почестей из Тегинабада, эти-то два дня и не выходит из султанских покоев.

Али Гариб увидел «великого исцелителя» всего лишь разок, у ворот дворца, когда, только что прибыв из Тегинабада, врачеватель вышел из крытой повозки. Господин Ибн Сина кивком головы поздоровался с главным визирем, который, ровно петух, охорашивался у входа, а затем обратился не к нему, а к стоявшему рядом Абул Хасану:

— Простите, это вы, если не ошибаюсь, главный визирь у нашего повелителя?

На что Абул Хасанак с усмешкой отвечивал, указав на Али Гариба:

— Вот этот достопочтенный господин есть господин главный визирь.

— Ах так, — только и вымолвил «великий исцелитель»; взгляд его по-хмельному прищуренных глаз был направлен на высокие ступени мраморной лестницы, ведущей во дворец.

Главному визирю стало очень обидно — ах, мошенник лже-Ибн Сина, прикинулся, будто не знает его, главного визиря! — но вместе с обидой багровое лицо Али Гариба выразило и опаску: нет, нынче перед ним стоит не тот человек, что еще недавно дрожал от страха, корчился в подземелье!

— Как мне известно, — напыщенно, играя торжественно-бархатным голосом, заговорил врачеватель, — наш повелитель ожидает своего покорного слугу. Ну, так ведите меня к султану!

И, поправив серебристую чалму на голове, двинулся к лестнице, по пути обдав Али Гариба запахом винного перегара. Али Гариб вопросительно взглянул на Абул Вафо. Долговязый Рыжий нагнулся к визирю, почти-точно-ироничным шепотом сообщил:

— Ничего нельзя было сделать, господин мой... Шейх-ур-раис повторяет: де, хорошее вино есть хорошее лекарство и в употреблении этого лекарства не ограничивает ни себя, ни спутников...

Главный визирь тем не менее не растерялся: приказал сводить «великого исцелителя» в баню да обновить всю его одежду.

После бани Шахвани, сверкая роскошным одеянием и распространяя вокруг себя запах мускуса и амбры, важно прошествовал в покои султана. Али Гариб с тех пор ждет, когда его примет султан. Абул Хасанак водил Шилкима в баню, и к султану повел его тоже Абул Хасанак. Два ворона нашли друг друга. А главный визирь вот уже вторые сутки сидит в приемной зале и с тоской смотрит на резную дверь опочивальни. Мимо главного визиря шмыгали за эту дверь многие, кого вызывал покровитель правверных, особенно часто повара и казначейские чиновники. Проплывали подносы, на которых горками возвышались золотые динары, слуги пронесли златотканые халаты с пуговицами из жемчуга, сапфира и яхонта; повара-бакаулы таскали разные вкусные блюда: горячий кебаб из перепелок, остро благоухающий вроде бы чем-то лекарственным, мясо молодого барашка, зажаренного на арчовых углях, и в обилии — алое вино в изящных хрустальных сосудах. Вообще, надо сказать, дворец султанский, уже несколько месяцев как погруженный в мрак и тишину, этот беломраморный дворец всего за два последних дня ожил, загудел, словно осиное гнездо. На лицах высокомерных дворецких и бакаулов-поваров, шустрых юных слуг, на лицах надзирательниц гарема, вдруг запорхавших, как разноцветные бабочки, Али Гариб читал удовольствие, радость и еще благословение искусному целителю господину Ибн Сине, шейх-ур-раису Ибн Сине, чудотворцу-врачевателю, который, гляди-ка, и смерть может не допустить к человеку.

Иногда резная дверь, ведущая в опочивальню из приемной, слегка приоткрывалась; на миг показывалась голова Абул Хасанака, и тогда люди в приемной — казначей, повара, евнухи — бросались к двери. И главный визирь, обычно сидевший в мягком кресле в сторонке, поспешно вставал и тоже с надеждой устремлялся к Абул Хасанаку. Но Абул Хасанак, сделав каменное лицо, обидным надменным жестом останавливал Али Гариба и, отдав нужные распоряжения челядинцам, затворял

дверь. А на вопрос главного визиря о здоровье султана неизменно отвечал: «Слава аллаху, все идет хорошо, слава аллаху!»

Вчера Али Гариб просидел вот таким образом до самой поздней молитвы, потом вынужден был вернуться к себе домой. Ночью, когда во дворце все уже спали, он вызвал старшего повара — личного своего доносчика — и расспросил о делах во дворце.

О, прибытие достопочтенного Ибн Сины оправдало самые смелые ожидания! Колики в животе могущественного султана стихли, самочувствие улучшилось и в целом. Почему покровитель правоверных и указал преподнести великому исцелителю несколько подносов золота. К тому же выделил для него отдельную комнату рядом с опочивальней и залой заседаний. Господин Абул Хасанак и великий исцелитель там и отдыхают вместе, в этой комнате, когда султан засыпает.

До самого утра не смог сомкнуть глаз Али Гариб, узнав про это, ворочался и ворочался, будто лежал не на грудах сложенных шелковых одеял, а на колючках. Нет, Али Гариб никогда не сомневался в том, что происходящее, всякое происходящее, происходит по воле аллаха и свидетельствует о мудрости всевышнего. Но... не всегда эту мудрость поймешь, не всегда! По его, уже не аллаха, а главного визиря, воле мошенник сделался «великим Ибн Синой». Для того ли, однако, привели мошенника во дворец, чтоб сей лжелекарь и впрямь излечил считавшуюся неизлечимой болезнь султана? А вот поди-ка... повелитель правоверных получил облегчение от лекарств лжелекаря и, мало того, дарит теперь этому обманщику и пьянице подносы с золотом, надевает на него златотканые халаты! А он, Али Гариб, нашедший этого наглеца, сидит в сторонке, и пользу из происходящего извлекает этот красавчик с бабьим задом — Абул Хасанак. Поистине в мире подлунном все изменчиво и все бренно...

Сегодня в полдень в приемную неожиданно для всех явилась Хатли-бегим. Она была в длинном платье из черного бархата, черный бархатный камзол, туго застегнутый на пуговицы-жемчужины, облегал талию, черный шелковый платок с золотыми нитями покрывал голову — суровая красота!

Хатли-бегим хмуро оглядела людей в приемной, в том числе и Али Гариба, сидевшего в мягком кресле, и, не отвечая на приветствия, двинулась прямо к спальне бра-

та. Два проворных юнца неподалеку от двери бесцеремонно преградили ей путь.

Напудренное лицо Хатли-бегим стало белей полотна, насурьмленные глаза гневно блеснули:

— Вы не узнали меня, сучьи отродья, или ослепли?

— Узнали, великодушная бегим, узнали, однако... не разрешено, благодетельница! — сказал один слуга.

— Так зайди и доложи!

— И это нам не разрешено, — сказал другой.

— Кто там в опочивальне?.. Сейчас же кто-нибудь идите и скажите: пришла Хатли-бегим проведать повелителя. Ну идите же, сучьи отродья!

Молодой сарайбон-дворецкий, побледнев, отстранил слуг и вошел внутрь спальни. А Хатли-бегим резко повернулась и, будто только что увидела главного визиря, пошла к нему.

Али Гариб встал и, пятась к резной двери, оставил приемную. Напротив через коридор была маленькая комната, куда они и зашли. Плотно закрыв за собой дверь, Хатли-бегим гневно уставилась на Абу Гариба:

— В этом дворце... в этом государстве... что творится, что происходит, господин великий визирь?

— Ваш покорный слуга пребывает тоже в полном недоумении, госпожа моя.

— В недоумении? Во всем виноват, глава всех бед, а теперь недоумеваете, визирь?.. Кто в опочивальне султана?

— Знакомый вам Абул Хасанак.

— А, этот... красавчик. Еще кто?

— Еще великий исцелитель... господин Ибн Сина.

— Господин Ибн Сина или... выдающий себя за Ибн Сину? Кто ввел в заблуждение покровителя правоверных?

— О великодушная госпожа! — чуть ли не простонал Али Гариб. — Прежде всего... установим, что благодаря милости создателя, а также искусству врачевателя от нашего повелителя отошла напасть, состояние здоровья покровителя правоверных, слава аллаху, стало хорошим!

— Но если все хорошо, почему эти ублюдки преградили мне дорогу? Или Хатли-бегим и султан Махмуд явились на свет не из одной и той же утробы? Или я, Хатли-бегим, не дочь эмира Сабуктегина?

— Госпожа! Великодушная!..

— «Великодушная»! — передразнила визиря Хатли-бегим. — Если тот лекарь настоящий, всем известный,

всеми прославленный Ибн Сина, зачем вы тогда скрываете его от людских взоров?

— Госпожа моя...

— Зачем вы его прячете от мавляны Вируни? Или вы не знаете о дружбе этих двух ученых мужей?

— Бог мне свидетель! О смерти ведаю... — Главный визирь поднял глаза-бусинки к отверстию в потолке. — Да, да, скорей о собственной смерти ведаю, а о чем вы, госпожа, говорите, знать не знаю.

— Где Маликул шараб?

— Маликул шараб? — Главный визирь не успел сообразить, как ответить: на пороге появился бледный дворецкий.

— Простите, великодушная госпожа, но войти к повелителю... не разрешили!

Хатли-бегим покачнулась, схватилась за высокую спинку стула. Властная, своенравная, слышала она когда-нибудь в жизни отказ на свою просьбу или приказ? Длинные смуглые пальцы с накрашенными хной ногтями впились в спинку; тонкие губы женщины зазмеились скрытой яростью:

— Кто так сказал тебе, сарайбон? Лекарь или красавчик визирь?..

— И тот, и другой, госпожа! И визирь, и великий исцелитель господин Ибн Сина. И сам повелитель тоже... не захотел видеться...

— Лжешь, привратник! Продался моим недругам! Сгинь с моих глаз! — Хатли-бегим резко отвернулась от дворецкого; тяжелые бусы, жемчужные ожерелья, золотые серьги с сапфиром громко при этом звякнули, зазвенели на всю комнату. — Господин главный визирь! — Хатли-бегим сумела сдержаться, перейти на холодно-спокойный тон. — Да будет здоровым покровитель правоверных! Да будет милостив к нему аллах... Тогда и вам, визирям, будет спокойно. Но знай, если произойдет с моим братом какое-нибудь несчастье, если из-за ваших подлых хитростей и уловок...

— О наша великодушная госпожа! — взмолился Али Гариб, высоко воздел руки, опустил на колени перед разъяренной женщиной. — Ваш гнев пугает меня, преданного раба вашего! Сам аллах послал нам ангела-избавителя, а вы его называете лжецом. А меня — верного слугу повелителя — подозреваете в уловках... В чем моя вина? В том, что я, взбудоражив все и вся, слал одного гонца за другим и наконец нашел-таки этого врачевателя?

Хатли-бегим собралась уходить. Сурово сдвинув брови, сказала напоследок:

— Если эти слова твои правдивы... поцелуй святую книгу.— И, сообразив, что в комнатке нет Корана, добавила: — Поцелуешь Коран... а сейчас поклянись именем аллаха, что нет в твоих словах лжи.

Али Гариб облегченно передохнул:

— О всемогущий аллах! О творец! Клянусь именем твоим...

— Подожди, — прервала Хатли-бегим, — завтра во дворец я пришлю мавляну Бируни. Он побеседует с твоим знаменитым исцелителем...

Хатли-бегим оставила главного визиря коленопреклоненным. Не сразу нашел он в себе силы, чтобы подняться.

Да, он знал, что эта властная, с мужской хваткой женщина не жаловала его; он знал также, что ее единственной целью теперь было возвести на престол вместо брата любимого племянника — эмира Масуда. Эту высокомерную госпожу — еще бы, единственная дочь эмира Сабуктегина, да простит господь его грехи! — единственную сестру могущественного султана, сестру, некогда близкую его душе, сжигала страсть совать нос во все дела, дворцовые и государственные; осведомителей, преданных ей псов-сторонников, таких, как глава дивана Абу Наср Мишкан, было множество — среди военачальников и столпов государства, среди челяди поменьше рангом. Главный визирь знал все это, очень хорошо знал. Но в такой ярости видел ее, пожалуй, впервые! Подумать только — хочет послать сюда мавляну Бируни! Ах ты, накрашенная уродина!

Что-то было, что-то есть между этой женщиной, теперь-то уродиной, и нечестивцем Бируни, какая-то тайна сокровенная. Стоит только гордецу ученому попасть в трудное положение, колдунья тут как тут, берет его под свое покровительство. Вот и недавно этот нечестивый мавляна брошен был — гневом султана — не куда-нибудь, а в «крепость гнева», самое страшное из подземелий Газны, но и оттуда коварная баба высвободила его. Высвободила и, как стало известно, в сопровождении мушрифа собственного послала встретить «великого исцелителя»... Она и другого возмутителя спокойствия, Маликула шараба, смогла увести от заслуженного наказания. Пустила в ход юркого Абу Насра Мишкана, прозванного во дворце «хитрой мышью». Слава аллаху, до-

носчики главного визиря оказались проворнее, чем доносчики колдуньи. Ее удар мы упредили. Всех, кто мог бы доказать, что в Газну прибыл лже-Ибн Сина,— всех их снова бросили в тюрьму. Остался один-единственный, кто знает правду. Это и есть вероотступник Бируни.

Послышались шаги в коридоре. В комнатке появился Абул Хасанак. Глаза его тревожно блеснули.

— Где... старая ведьма? Ушла?

— Ушла!

— Слава аллаху! — заулыбался Абул Хасанак. Но, встретив суровый взгляд, немо вопрошающий сообщника о том, почему к другому сообщнику проявлена несправедливость, заюлил: — Простите меня, мой благодетель, но я не виноват... Таково было желание почтенного Ибн Сины!

— Не будем говорить о великом исцелителе. Как чувствует себя повелитель?

— Повелитель здоров как жеребец!

— Как жеребец?

— Истинно так! Он возжелал вина и луноликую краску... Скоро в зале совета соберутся певцы, и музыканты, и девушки из гарема.

— Сейчас не время шутить, визирь.

— Но я не шучу... Какие тут шутки... — Абул Хасанак заулыбался и зашептал на ухо Али Гарибу, мешая слова с винным запахом: — Этот чудо-лекарь... вы его нашли... совсем не лже-Ибн Сина, господин главный визирь, нет, он-то и есть настоящий... я так думаю... потому что нет болезни, которую он не излечил бы! Пусть аллах меня простит, но чудо-лекарь может, наверное, и мертвеца оживить!.. Не верите? Тогда идите за мной, господин!

Абул Хасанак и Али Гариб прошли в приемную, оттуда в пустую опочивальню, а из опочивальни в зал, где султан обычно собирал на совет приближенных.

В просторном зале пока никого не было... так сначала показалось Али Гарибу. Но нет, в почетном углу — там, где обычно стоял трон, — соорудили низкий деревянный настил, весь в багрово-красных коврах, поверх которых положены были грудой шелковые одеяла. А на одеялах сидел, подоткнув под бока белые пуховые подушки... повелитель, султан Махмуд. С правой от султана стороны, поджав под себя ноги, примостился «чудо-лекарь» в дорогом полосатом халате, в темно-синей бархатной тубетейке, на которую намотана серебряная чалма. Слева от султана — шах поэтов Унсури.

Перед всеми ними на скатерти расставлены перепеленные шашлыки, жаркое, сласти всякие, фисташки, орехи, — разноцветная посуда блестит, хрустальные бокалы сверкают, розовая вода, шербет и алое вино в них искрятся.

В четырех углах зала заседаний — заметил еще Али Гариб — из крупных четырех сапфировых чаш вились тонкие синеватые дымки; пахло амброй и мускусом, арчой и базиликом, и еще чем-то, приятным и возбуждающим.

Султан увидел своего главного визиря. Прикрыл глаза опухшими веками.

— Кажется, к нам прибыл главный визирь? Хвала, хвала ему... Такне, как ты, — султан открыл глаза, зло воззрился на Али Гариба, — такие, на которых я опирался, рыли, оказывается, мне могилу, шили саван! А вот создатель не пожалел своей милости, послал к нам великого исцелителя... господина Ибн Сину!

Султан по-прежнему выглядел плохо, но в высохшем, тощем теле его чувствовалось что-то прежнее, грозное, и его раскосые глаза, что вчера еще затухали, подобно лампадке, в которой кончалось масло, сегодня горели, как только-только початая свеча.

Али Гариб, весь в холодном поту, опустился на колени перед настилом. Сказал, однако, ясно, с нажимом:

— Слава аллаху, молитвы наши дошли до всемогущего создателя! Творец сущего послал нам господина Ибн Сину, да изгонит он все наши недуги, повелитель! Да сгинут все недруги ваши, десница аллаха на земле!

— Встань, встань, Али Гариб! Наступил счастливый миг, когда ты сможешь доказать нам свою преданность!

Али Гариб несмело поднялся с колен, осторожно присел на край настила. Зоркий, заметил при этом, как помолодевший (бороду подровнял) Унсурн исподтишка подмигнул Абул Хасануку.

«О святые! Что это за перемигивания и намеки? Что за беда меня ждет впереди?»

— До гроба преданный раб готов служить вам, солнце неба!

— Готов — это хорошо... Есть, есть одно поручение. Проявишь усердие — буду признателен тебе. Ни в этом брэнном подлунном мире, ни в том, — султан поднял руку с вытянутым указательным пальцем, — ни в том, вечном, не забуду твою услугу.

— Повелевайте, благодетель.

— Ты помнишь, Али Гариб, про священное дерево с божественными плодами, о котором говорил шах поэтов?

— Божественные плоды?.. Так, господин Унсури?

— Да, да, так написано в этой книге.— Унсури достал из-под низенького столика, стоявшего на дастархане, тяжелую книгу в черном сафьяновом переплете. К Али Гарибу: — Вы помните, месяц назад был совет улемов, ученых и поэтов. И ни один ученый муж не мог сказать что-либо вразумительное о божественных плодах, а нечестивый раб аллаха, Абу Райхан Бируни, посчитал даже за выдумку, что начертано в этой книге.

— Выдумка?! Позор такому ученому мужу! — «Великий исцелитель», до того хранивший величественное молчание, перевел взор с шашлыков на потолок.— Столько лет прожить в Индии и не ведать о божественных плодах? Позор... невежде!

Разливая вино по маленьким фарфоровым пиалам, Абул Хасанак взглянул на «Ибн Сину», улыбнувшись, предложил:

— Надо бы позвать сюда невежду! Позвать и прочить!

— Нет, нет, ваш покорный слуга не желает видеть невежд, называющих себя учеными! — возразил торопливо Шахвани.— Запомните, господин визирь! Это дерево произрастает на Кухи Сарандип. Да, да, там, где после рая жили Адам и Ева. Гора находится между Индией и Китаем. Оставьте за спиной границы Индии и все время держитесь строго на восток, ехать верхом надо сорок дней и сорок ночей, миновать сорок городов, пересечь сорок рек и сорок горных перевалов. И тогда перед вашим взором предстанет великое море, вы сядете на корабль и будете плыть еще сорок дней. Затем появятся перед вашим взором сорок островов. Среди них есть остров, несравненно прекрасный, поистине райский. Вот на том, том острове и жил праотец людей Адам — да будет мир его душе! — возвышается там гора Сарандип, на которой и произрастает чудо-дерево, плоды его божественны потому, что сотворены богом, единым и всемогущим.

— Сорок дней верхом, сорок дней на корабле — так ли уж это трудно? — Абул Хасанак опорожнил свою пиалу, подмигнул поэту Унсури.— Наш господин главный визирь давно привык к таким путешествиям!

— Воистину! — воскликнул Унсури.— Страдания и тяготы, перенесенные ради здоровья нашего повелите-

ля — покровителя правоверных, меча ислама, ради славы нашего султаната,— это же и есть высшее счастье для верных подданных.

«Почему я в свое время не вырвал язык у этого сладкоречивого попугая? Надо было, надо вырвать и бросить его собакам!»

Чинно сидевший «великий исцелитель» добавил к сказанному поэтом:

— Сколько бы мы ни служили нашему повелителю, тени аллаха на земле, все будет мало!.. А свойства этих божественных ягод суть таковы, что...

— ...можно мертвого оживить?

— Нет, нет,— возразил Шахвани, с медлительной многозначительностью покачав головой, отчего на его лице появилось выражение спокойно-торжественное.— Нет, нет, жить ли человеку, помереть ли ему — это подвластно лишь воле аллаха! Но, сотворив Адама из глины и вдохнув в него жизнь, всевышний создал и различные лекарства... в том числе и такое, что если сорок дней и сорок ночей его употреблять, то больной получит исцеление от тысячи и одной болезни, а пожилой опять станет молодой в расцвете сил.

Поэт Унсури почему-то прослезился. Воскликнул:

— Хвала, хвала вам, господин Ибн Сина!

— Благодетель! — обратился Абул Хасанак к султану.— Вы помните, когда вам было сорок лет?

— О, я помню, я... — не унимался поэт Унсури.— Покровитель правоверных, когда ему было сорок, покорил Индию, и Хорасан, и Мавераннахр.

В подернутых хмельным дымком глазах Абул Хасанака заиграло озорство:

— Не Индию только покорил наш повелитель, но и сердца индийских пери! Не Хорасан только, а газелеоких красавиц Хорасана... и миндалеоких красавиц Мавераннахра...

Главный визирь осторожно глянул на султана.

Кончики редких усов у Махмуда свесились беспомощно, глаза, и без того узкие, совсем в щелки превратились,— захмелелый старик, борющийся с дремотой.

Тут лекарь забеспокоился (он заметил изучающий взгляд Али Гариба), поспешно вытащил из кармана своего пышного халата сложенную кулечком золотистую бумажку, развернул и вытащил из нее маленькую буро-коричневую «изюминку», протянул ее султану:

— Да сгинут последние следы недуга вашего, повели-

тель! Хотя это лекарство не из тех, божественных, ягод, но все же оно... как бы их младший братец!

«Лекарство? Да это, скорей всего, опий, зловещий сок мака!»

Султан покорно проглотил «младшего братца», запив его вином из пиалы, которую преподнес Абул Хасанак. Закрыв глаза, посидел застыло-неподвижно (вместе с султаном застыл и «великий исцелитель», краем глаза тревожно следя за больным). Через некоторое время на синевато-желтом лице султана появился слабый румянец. Шахвани облегченно вздохнул и победоносно посмотрел на Абул Хасанака. Тот заулыбался: хвала, хвала вам, Ибн Сина!

Узкие мутные глаза султана странно вспыхнули. Придя в себя, он заметил главного визиря:

— Да! Три дня срока тебе на подготовку, старый лис! Бери слуг, которых пожелаешь, отборных коней, провизии... От имени государственного совета отправь высочайший указ правителям всех вилайетов: пусть помогут тебе, пусть сделают все, чтоб ты благополучно добрался до Кухи Сарандип... Тебе ясно, что я сказал?

— Ясно, повелитель!

«О создатель! Зачем я откопал, зачем только вытащил из каменной могилы этого коварного лжелекаря! Вот ведь и впрямь сумеет взнудать самого дьявола... А я-то, глупец, надеялся избавиться от одной беды, да взвалил на себя тысячу других!»

— Если все ясно, отправляйся в путь! И поторопись... Восемьдесят суток дал тебе господин Ибн Сина? Этого слишком много. Сорок дней и ночей в одну сторону — посуху и по морю, сорок дней и ночей обратно. Через восемьдесят дней ты должен положить на эту вот скатерть благословенные божественные ягоды.

Султан говорил, а главному визирю вдруг захотелось пасть на колени и, царапая лицо, признаться во всех грехах своих, — это он, глупец, придумал, придумал на свою погибель, все-все — и легенду о божественных плодах, и самого важно восседающего «великого исцелителя». Он кается, кается! Но как быстро появилось это желание, так же быстро исчезло. Никакое раскаянье теперь невозможно!

А султан достал из-под подушки трещотку, застучал громко и властно.

— Еще поднос с золотом, еще халат! — приказал он.

Боль, что сдавила голову главного визиря, сразу исчезла. В жизни он надевал немало златотканых халатов, получал не один поднос золота, но всякий раз, когда эти дары принимал из рук могущественного султана, душа его ликовала, а на глазах выступали слезы.

Не прошло и мгновения, как появился с дарами дворецкий. У великого визиря по телу пробежала теплая волна, он встал, но тут же и сел: дары предназначены были не ему, а опять и опять «великому исцелителю».

Абул Хасанак вскочил, взял у сарайбона златотканый халат, с поклоном накиннул на плечи «Ибн Сине». Унсури, причмокивая, преподнес серебряное блюдо, полное динаров.

Шахвани расправил халат, осторожно поставил поднос перед собой и чинно склонил голову.

— Навеки признателен, повелитель! — Выпрямился. Продолжил: — У меня, грешного раба божьего, бедного лекаря, нет иного желания, кроме как вернуть вам крепкое здоровье, солнце неба! А здоровье человека, оно обитает не только в теле, оно гнездится ведь в душе его, благодетель. Светло и ясно на душе, приятно настроение — и тело будет бодрым и здоровым. А посему я, грешный раб аллаха, бедный лекарь, предписываю: в этом прекрасном дворце нет места печали. Наоборот, необходимо собрать всех известных в Газне музыкантов и певцов: пусть они своим искусством веселят вашу душу! Необходимо привести сюда самых красивых рабынь из вашего гарема, дабы, их увидев, вы почувствовали благородное мужское желание! Дабы забурлила кровь в вашем сердце и вы сумели вознаградить по-мужски луноликих, что жаждут ваших объятий!

Абул Хасанак в хмельном восторге закричал:

— Хвала, хвала вам, великий исцелитель!

Али Гариб снова украдкой взглянул на султана. Тот сидел полусонный, очерясь загадочно-странной, будто нарисованной, неподвижной улыбкой. «Ядовитый сок действует», — с ужасом подумал Али Гариб.

Шахвани продолжал разглагольствовать:

— Я скажу вам: в любви и вине заключена тайная чудодейственная сила. Благодетель, позвольте рассказать одну поучительную историю... Однажды лет пять-шесть назад ваш старый недруг, правитель Бухары Алитегин, поверив всяким наговорам, бросил вашего покорного слугу в зиндан. А тот зиндан был... ого, туда провались

только... там было сорок ступеней. Ваш преданный раб провел сорок дней, отданный змеям и скорпионам. Но великий аллах смилостивился. Как раз через сорок дней тот эмир заболел, тяжело заболел, и вынужден был снова призвать меня к себе. И я поставил перед ним условие: пусть на каждую из сорока ступенек в том зиндане поставят по красавице, такой молодой и чистой, чтобы, как говорится, и мать ее еще не целовала. И чтобы у каждой лунолицкой девственницы в руке была чаша вина!.. Эмир приказал сделать так, как захотел бедный лекарь. А ваш покорный слуга, вконец лишенный сил за сорок дней и ночей пребывания в зиндане, делал шаг и останавливался на каждой ступени лестницы. Глотну вина — и силы, чувствую, ко мне приходят. Целую красавиц — и, чувствую, все крепче и крепче получается, и задержаться подольше хочется рядом с каждой. Вот так, с помощью вина и поцелуев, поднялся по ступеням вверх. Сорок глотков вина и сорок объятий... и я стал как жеребец, повелитель!

— Хвала бесподобной находчивости великого Ибн Сины! — вместе воскликнули Абул Хасанак и Унсури.

Султан с трудом проговорил:

— Где же эти... красавицы? Куда их... задевали? — И вдруг взгляд упал на главного визиря. В подернутых туманом глазах мелькнула диковатая радость: — Ты уже вернулся, главный визирь? Уже привез эти... ягоды... для жеребца...

В зале наступила вдруг тишина, а потом из-за дверей послышался стук бубнов, звуки сетара и гиджака, смешки и повизгивания женщин. Даже нежный звон их украшений донесся сюда, в тишину.

Главный визирь (озноб до кончиков ногтей!) снова рухнул на колени:

— Покровитель правоверных! Простите, простите меня, грешного слугу!..

— Что? Что такое? Ага! Ты до сих пор не нашел... божественного плода? До сих пор копошишься здесь? Вон! Прочь из дворца!

Абул Хасанак быстро вскочил со своего места, пнул сообщника, распластанного по ковру:

— Прочь!

— Прочь!

А за дверями все радостней и слаженней звучала музыка, все стройней и веселей становился женский смех...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

«В середине четвертой недели нашего пути — а не через три недели, как указывал эмир Масуд, — мы достигли к вечеру большого беката, последнего перед Газной. Нам сказали, что до Газны остался всего один переход — от утра до полдня, ежели выехать на рассвете, как мы обычно и делали на протяжении всего путешествия.

О праведники святые! Удивленья достойно, как мы выдержали! Ни днем ни ночью не слезали с лошадей! К счастью, весна помогала нам: по милости творца дни стояли теплые. Но долог был путь. И во время перехода через земли горцев Гури, по перевалам и глубоким ущельям, мы вконец измучились. Там были такие места, что кони вязли в снегу по брюхо. Если б нукеры, приданные шейху, не были столь крепки, а кони столь выносливы, то, возможно, тела наши уже занесло бы снегом, а души наши вознеслись бы в мир вечный, горний. Но, как говорится, одна половинка месяца темна, другая — светла. И это сушая правда. На долгом пути нам встречались и такие места, что их можно было сравнить разве что с раем: зеленые-зеленые луга, цветущие сады, бескрайние пастбища. В окрестностях Герата человек, равнодушный к земной красоте, способен от восхищения потерять дар речи. В долине Богдис шумят сотни полноводных речек, с водой, прозрачной как стекло, травы на лугах меж ними — будто шелковые. Сады и виноградники, зеленые всходы на полях — все это вместе образует такое чудо, что дух захватывает. Всюду радующий глаз зеленый цвет, воздух прозрачен, птицы поют, и на каждом шагу — журчащие родники, с которыми, может быть, даже Хавзи Кавсар¹ не сравнится.

Выше я говорил о снежных горах страны Гури. О, преодолеть эти горы доставило нам вправду много труда и мук! Но нельзя и не сказать о том, что среди этих гор, упиравшихся в небеса, внизу меж ними раскинулся оазис, называемый Бамиян, — его можно уподобить опять-таки райской обители, не иначе. Долина в длину самое большее три-четыре фарсанга, в ширину примерно один фарсанг. Многоводная река мчится в этой долине; по обеим берегам реки сплошь зеленые сады, густые и столь кра-

¹ Хавзи Кавсар — легендарный родник в раю.

сивые, что тот, кто войдет в них раз, не захочет выйти оттуда ни разу. Персиковый сад переходит там в рощу финиковых пальм, а сия последняя — в рощу миндаля, а из розового пожара миндальных кустов и деревьев попадаешь в богатейшие виноградники. И везде поют соловьи, и порхают птицы с диковинным опереньем, а на верхушках высоких деревьев сидят ансты замечательной белизны.

И еще удивительное: на крутых скалах по обеим сторонам реки поставлены были, будто стеречь долину, две огромные фигуры Будды. (Шейх назвал: «Шакья-муни» — и объяснил, что Будда «просветленный» происходил из индийского племени шакьев.) Высота одной фигуры составляла самое меньшее сто газов¹, а второй — наверно, шестьдесят — семьдесят. В скалах было множество пещер, и стены их — мы увидели — расписаны очень красно.

Словом, помимо дорожных мучений нам выпало увидеть в пути много удивительного и приятного.

Как утверждают, самые быстрые гонцы султана способны ежедневно покрывать расстояния в двадцать пять — тридцать фарсангов, так что из Газны в Исфахан добираются они не дольше чем за две недели. К резвому коню своему каждый в придачу берет еще одного доброго скакуна, ведет его в поводу; поочередно меняет гонец этих лошадей на перегонах от беката к бекату, а там на постоянных дворах стоят наготове особые кони для важных гонцов султана.

Нам были определены такие же условия. Всадники, уходившие из каравана раньше, на постоянных дворах ожидали нас наготове с новыми лошадьми. Доехав до бекатов, мы меняли своих, взмыленных и усталых. В некоторых областях султаната вместо лошадей используют быстроходных верблюдов. Шейх, оказывается, и прежде ездил на таких животных, я же не ездил на верблюдах никогда. Невероятным казалось мне поэтому, что ездовые верблюды способны обогнать самых лихих скакунов. На сей раз, однако, из-за пожилого своего возраста шейх плохо перенес езду на верблюдах. Да и без того длительная дорога изнурила шейха, хотя для шейха устроили особое кожаное сиденье вместо седла — пошире, поспокойней, наподобие кресла, а там, где дорога была спокойней, он ехал в повозке. Старость не преодолеешь даже

¹ Газ — мера длины, чуть больше 0,7 м.

сильной волей; наставник изрядно измаялся в путешествии. К тому же к телесным его мучениям добавились страдания душевные. Вправду говорят, что слишком много людей в этом подлунном мире за добро платят злом. Неужто сей недалекий, эмир Масуд, исцеленный шейхом, не мог позволить ему побыть хоть немного дома, в Исфахане, хотя бы узнать, жив ли младший брат шейха Абу Махмуд? Нет, эмир торопился, он не разрешил шейху ни с братом повидаться, ни с той невольницей из Бухары, брошенной в зиндан из-за того якобы, что она налила ртути в ухо эмира!

До сих пор не могу понять, что за тайна здесь скрыта. Знаю лишь, что шейх тяжело переживал жестокость и обман эмира, не выполнившего своих обещаний. Всю ночь перед нашим выездом из Исфахана шейх не сомкнул глаз, всю ночь прошагал по тесной каморке, нам отведенной. А на рассвете, в сопровождении десяти всадников, мы уже выехали из города. На безлюдных улицах видели все те же зловещие знаки чумы, все тех же, в черных повязках на лицах, собирателей трупов. Переехав мост Пули Сангин, мы повернули направо, к мечети Куни Гунбаз, а за мечетью опять показалось нам на миг огромное здание библиотеки Хисар, — точнее, стены ее без купола да высокие закоптелые порталы. Там, за библиотекой, был его дом и двор!.. Но опять пучеглазый, длинноусый мушриф, увидев, что шейх остановился, подъехал ближе и, ни слова не говоря, ударил плетью несколько раз по крупу его коня. Шейх тоже не сказал ни слова. Целую неделю ехал, будто воды в рот набрал. Лишь в стране горцев Гури лицо его чуть просветлело. Но и тогда шейх молчал. Разговаривал только со мной и только ночью на стоянках, когда мы разводили костры, чтобы немного передохнуть и погреться, перед тем как помолиться и отойти ко сну.

Ежедневно мы проезжали путь не менее чем в двадцать фарсангов, я думаю. А молва людская обгоняла караван! И в любом месте, где бы мы ни останавливались, нас ожидали люди, больные и немощные. Откуда они узнавали о шейхе, от кого — одному аллаху известно. Плача и стеная, бросались они шейху в ноги, просили избавления. Нукеры били и гнали их прочь, они оставались. И тогда шейх жестом утихомиривал нукеров, принимался смотреть больных.

Шейх не знал ни отдыха, ни покоя. Не было немощных, так он на стоянках отправлялся за разными трава-

ми или наблюдал птиц и зверей. Мне он рассказывал иногда по вечерам — в час редкого спокойного настроения — о том, как возникают горы и ущелья, учил читать раскрытую книгу камня, песка и глины. Даже в трудной этой дороге он думал о будущих произведениях!

Такова его натура! Даже в крепости Фарадж, куда его ввергли злоба и наветы врагов, он был занят чтением и размышлением. Я бывал у него в заточении. Помнится, начальником крепости был Ибн Якзон. Старец на редкость справедливый и благочестивый. Он отвел для шейха самую просторную и самую тихую комнату в крепости, снабжал бумагой и перьями. Каждое утро я приходил к шейху. Расхаживая по комнате, он диктовал, я записывал. За четыре месяца заточения шейх закончил несколько своих произведений... Тут были повествования, много стихов, размышления о музыке, исследование фигур логики. Позже шейх смеялся: «Поистине — нет худа без добра. Не попади я в крепость, возможно, ничего не написал бы».

Так-то оно так, но когда шейх попал в крепость Фарадж, он в то время был еще полон сил. Не то теперь. Шейх ослаб от страданий своих — видимых мне и, наверно, неведомых мне. Его душу грызла какая-то боль, о которой он никому не говорил. Может быть, о боли этой, о тайной тоске знал Шокалон, но Шокалон остался в Исфахане. Сколько ни просил шейх эмира, не разрешил он шейху взять Шокалона с собой.

Каждый раз, когда мы останавливались вечером в пути и зажигали на ночь костры, шейх уходил куда-то и где-то долго бродил один. Из-за какого горя не находил он себе покоя?

(Это я узнал много лет спустя. Оказалось, что шейх в юности был влюблен в мать той самой бухарской невольницы, которую прислали эмиру Масуду. Девушку разлучили с возлюбленным. Судьба несчастной узницы эмира, брошенной по его приказу в исфаханский зиндан, очень волновала шейха. Кем была ему эта девушка — о том ничего не могу сказать...)

Повезет ли шейху теперь? Если султан выздоровеет, то в порыве благодарности, может быть, скажет шейху: «Проси чего хочешь!» И шейх тогда попросит сохранить жизнь несчастной Каракез. Случится ли так? Осуществится ли это намерение, в котором шейх мне признался однажды? Не знаю!

Шейх сегодня очень устал. Как только мы прибыли в бекат на ночлег — последний перед Газной, — он ушел в отведенную ему келью и лег там. Я же начал готовить пищу. На завтрашнее утро».

Из воспоминаний Абу Убайда Джузджани

2

...Ибн Сина и вправду за дни путешествия так истомился душой и телом, что, едва положил голову на подушку в отведенной келье, тут же и заснул. Недаром говорится в народе: тяжелая дорога готовит к загробной жизни...

Но что это за плач? Или грустная песня?.. Кто это, кто?!

«Простите меня, несчастную, о великий исцелитель! Я не нашла никого, кто бы внял моей мольбе, кто бы сжалился надо мной, — потому-то со своим горем пришла я к вам!»

«Бутакез-бегим?.. Но мне сказали, что Бутакез-бегим умерла!»

«Да, я умерла, исцелитель мой, и останки мои покоятся в Алайских горах, у подножья горы Угуз».

«Странно! Мертвая воскресла и плачет, как ребенок...»

«Как же не плакать? Вы же знаете, какие беды пали на мою единственную дочь. Разве, услышав про это горе, могла я спокойно лежать в могиле? О нет, я, рыдая, молилась аллаху, уж не знаю, дошли ли мои мольбы до него, иль слезы мои расплавили надгробный камень, — только могила моя разверзлась. Всевышний вернул мне жизнь... Плача, пошла я в Исфахан искать свою дочь. Ни ее не нашла, ни души, которая бы отозвалась на мое горе... Пришла к вам, исцелитель мой! Я ведь выпросила ее у аллаха, единственное дитя... Не от вас она у меня, увь, но я люблю ее, будто она — плод нашей с вами любви...»

«Я так и думал, бегим. Так сказал мне и Шокалон. Но что же я могу сделать, бегим?»

«Что?.. В горькие дни нашей разлуки вы тоже говорили: «Что я могу сделать?» И меня оторвали от вас... Что же это за мир несчастный, где никаких сил против зла нет ни у кого?!»

«О, я ведь тоже перенес немало несчастий, моя бегим!»

«Каких? Не ведаю. Вы ведь вычеркнули меня из своего сердца. Кто там, в вашем сердце, что там — не знаю. Вы прославились на весь свет как великий исцелитель, я же осталась одна, покинутая всеми, кто был мне дорог. Я теперь знаю: нет нигде таких огромных гор, как Алайские горы. Нет нигде таких белых-белых вершин, как вершины в Алайских горах, нет нигде воды чище и прозрачней алайской, и пастбищ нет лучше, чем алайские пастбища. Но мне там было не до Алая! Я все глаза проглядела, глядя на дорогу, ожидая вас, исцелитель, мыслями я была всегда в степях около Бухары, долгие-долгие годы я провела в думах о вас, вспоминая, как ранней весной мы скакали среди полевых маков. Не покажется ли милый сердцу всадник на караванных путях, ведущих к Алаю,— все думала я, все ожидала... Не показался! Он писал книги... писал их в те звездные ночи, когда я...»

«О бегим, не будем говорить о написанных мной книгах, славе моей. Ведь я... чтоб хоть раз увидеть вас, я отказался бы от всех этих книг и от славы. Да, моя бегим, да, моя первая любовь!»

«Но если правда, что вы сейчас мне говорите... то вам вручаю судьбу моей дочери, которую выпросила я у аллаха, думая о вас, Абу Али! Вы едете в Газну лечить султана Махмуда — сделайте же так, чтобы с ней не случилось плохого. Я люблю ее — вашу дочь! Вы еще любите меня, память обо мне? Тогда знайте: прах мой останется в Алайских горах, а душа будет обитать в проклятом Исфахане и в Газне проклятой, обитать, обреченной на вечное горе, коль вы не поможете...»

3

Ибн Сина проснулся весь разбитый. Долго лежал без движения, вглядываясь в крупные звезды, видные через округлое отверстие в потолке.

Что это было? Сон, явь?

Ибн Сина не раз задумывался о природе сновидений, пытался разгадать их тайну. Он в «Аль-Каноне» определил, какие типы сна бывают у людей здоровых и людей больных, как они связаны с «пневмой» животной и «пневмой» душевной. Казалось бы, он все знал, что можно, что допустимо знать человеку о сне и сновидениях. Но вот то, что произошло с ним нынче, когда он видел живую

Бутакез-бегим, слышал ее голос, полный горечи и муки, — разве то было сновидение и он в то время спал?

Как сказала ему бегим? «Я люблю дочь, как будто она — ваша дочь, Абу Али... ее судьбу вручаю вам!»

В Исфахане, взявшись за лечение эмира Масуда, Ибн Сина надеялся повидать дочь Бутакез-бегим. Эмир даже разрешил ему это. Но словом устным, не письменным, и потому сторож зиндана потребовал от Ибн Сины указ с эмировой печатью, без него же не пропустил к узнице. Так он и не увидел Каракез. А срок отъезда их в Газну эмир назначил на раннее утро следующего дня...

Ибн Сина почувствовал: нет ему спасенья от гнетущей тоски. Прилег на подушку, закрыл глаза.

Вот он, вот — маленький зеленый холм среди беспредельной степи, там, за Афшаной. Большая белая юрта. А внизу, вокруг холма, много других юрт, коричневых, серых, поменьше... Весна... Буйство трав — даже на высоких песчаных барханах словно огоньки горят красным полевые маки среди золотистого осота, бархатистой полыни, мелкого дикого лука, ревеня, сайгачьей травы, нежных одуванчиков... Молоденькие, тоненькие девушки бегают — раскачиваются птичьи перья на их красных колпачках, звенят серебряные монетки-мониста. Песни плавно плывут-растекаются, будто река по безграничной степи. Абу Али, бывало, подолгу слушал пение — то девушек, то молодых джигитов, и казалось тогда ему, что он не в степи, а на огромном корабле, что движется в какой-то ишой — полный звезд — прекрасный мир.

Неожиданно его руки осторожно касается чья-то теплая ладонь — словно кроткая милая птичка прилетела.

— Господин лекарь, вас спрашивает госпожа!

Миндалевидные раскосые глаза девушки-служанки улыбаются ему. Она куда-то ведет Абу Али за руку. А, вон оно что — в густой саксаульник. И, пройдя через него, они оказываются у белой юрты.

Грозно ворчат волкодавы; из мрака выдвигаются фигуры сторожей:

— Кто это шляется ночью?

— Госпожа занемогла. Ей нужна помощь врачевателя, — отвечает шустрая служанка, тихонько подталкивая Абу Али ко входу.

На верхнем ободе каркаса юрты висит одна-единственная лампадка. Мерцающий слабый свет ее отражается на белом пологе... Краешек полога приподнимается... белоснежные руки, похожие на лебединые крылья, нетер-

пеливо тянутся к нему: «Идите сюда! Скорее...» И крылья-руки обнимают его.

— Милый мой врачеватель, мой исцелитель!

Абу Али чувствует на своем лице горячее дыхание Бутакез-бегим. Он отвечает на поцелуи. Волосы ее пахнут чуть горько, губы ее — и сладки, и солоноваты. Вот оно — счастье!..

— Наставник, наставник! — кто-то зовет его.

Ибн Сина словно из омута выплывает — исчезает видение.

Абу Убайд смотрит на своего наставника, прижав к груди руки.

— Принести вам поесть, наставник?

— Благодарю, дорогой, но я не голоден.

— Что с вами, наставник? Вы же целый день ничего не ели.

— Разве? Ну, для здоровья голод иногда полезен.— Ибн Сина встал с постели.— Я выйду, немного пройдуся. Потом поедем вместе...

4

Ночь была безлунная, но звездная. На постоялом дворе еще не все спали, иные окошечки в кельях светились. У выхода из беката, у костра, слышались голоса, иногда раздраженные, а временами — веселые.

Ибн Сина пошел на эти голоса, осторожно ступая в темноте и поневоле прислушиваясь к спору:

— Жди-жди, найдешь справедливость, как же... Нет ее, недотепа, нет — ни в нашем грешном подлунном мире, ни в том. Нету!

— Да не все правители одинаковы, не все! Были ведь и умные, и справедливые!

— А ты своими глазами их видел? Эх, недотепа!

— Сам ты недотепа!

Улыбаясь, Ибн Сина ускорил шаги. Его догнала какая-то тень.

Некий голос зашептал заговорщически:

— Шейх-ур-раис! Господин Ибн Сина! Не следует ходить туда, там собрались нечестивцы-карматы.

Ибн Сина ускорил шаги. Тень отстала, скрылась за жующими жвачку верблюдами неподалеку от костра. Шейх-ур-раис присел на чурбачок, тоже неподалеку от спорящих.

Высокий, широкоплечий человек в дервишской одежде, освещенный пламенем костра так, что заметен был у него над правой бровью светлый рубец, весело хлопнул ладонью об ладонь:

— Эй, люди! Я знаю одну историю, которая решит ваш спор, это старая история, старая загадка с разгадкой, но кто хочет послушать... пусть пожертвует во имя аллаха одну таньгу¹ или хоть полтаньги!

Сидящие полукругом у костра засмеялись:

— Вот так так!

— Исчезла совесть у рабов аллаха: уже и рассказ продают за деньги.

— Конец света наступает...

— Зачем болтаешь? Есть деньги — отдай: послушаем интересную историю!

Ибн Сине припомнилось, что где-то он уже видел этого рослого, широкоплечего дервиша со шрамом на лбу, но где же? Где?.. Шейх-ур-раис тоже бросил три монетки в шапку, которую дервиш положил перед собой.

Человек погладил свой шрам, испытующе-удивленно посмотрел на ученого, затем, нагнувшись к шапке, переложил подаяния в поясной платок.

Начал так:

— Однажды некий падишах увидел сон. Будто семь худых коров сожрали семь толстых. Проснувшись в поту и страхе, падишах тут же созвал мудрецов: истолкуйте, мол, сон мой. И один из самых старых мудрецов с поклоном разъяснил:

«В стране будет семь лет изобилия, а потом придет сильная засуха — и семь лет будет неслыханный и невиданный неурожай и голод».

«Что же нам делать?» — спросил падишах.

«Нужно в течение семи лет зажиточной жизни запасть зерно и воду на семь лет последующих».

Так все и вышло, как предрек мудрец. Все, да не все. Семь лет стояла хорошая погода, изобилие и сытость настали такие, что остальное в предсказании... позабыли, хотя запасы все-таки собирали, смеясь над своей работой. Падишах, правда, помнил и даже упрекнул мудреца: мол, семь лет на исходе, где же предсказанные неурожай и голод? Мудрец ответил:

«Семь лет на исходе, но они еще не прошли. Подождите, будет день, когда вы проснетесь от сильного голода».

¹ Таньга — серебряная монета невысокого достоинства.

И точно — на следующий день падишах проснулся от чувства голода. Посмотрел — солнце ярится... И началась сильная засуха, и принесла с собой неурожай и голод. И длилось так семь лет. Толстые шатались от истощения, от тонких остались кожа да кости. Если б в годы изобилия не сделали запасов воды и зерна, вымер бы весь народ. Тогда падишах снова позвал старейшего и спросил: «Когда кончится засуха?»

Мудрец отвечивал:

«Падишах, потерпите неделю. Через неделю польет сильный дождь. Но,— предупредил далее мудрец,— пусть ни один человек не пьет дождевую воду, иначе он лишится разума!»

Падишах через глашатаев довел этот совет-предупреждение до сведения народа. Но кто после засухи удержался бы от глотка даровой воды с неба? Кроме падишаха, ее попили, кто меньше, кто больше, все, и все до единого лишились разума... — Дервиш весело ухмыльнулся, стукнул ладонью о ладонь.— И с тех пор никто не стал подчиняться велениям падишаха! Тогда падишах в третий раз позвал старейшего и попросил совета.

«Единственный выход возможен для тебя, падишах,— сказал мудрец,— ты тоже должен выпить этой воды!»

Все заулыбались, понимая, куда клонит дервиш. А тот заключил:

— Оказавшись в безвыходном положении, падишах тоже выпил дождевой воды — и спятил. И с того дня стал издавать указы, один другого глупей. А глупый народ, довольный своим дураком-падишахом, стал беспрекословно выполнять его нелепые веления!

Последние слова дервиша потонули в громком хохоте и колких выкриках:

— Ха, ха! Выходит, и там было точь-в-точь как в Газне... Каков народ, таков и падишах! Ха-ха-ха...

— Истинно! Мы тоже глупцы, что живем в подчинении у глупого султана. И злого к тому же, с саблей, обогрившей кровью!

Тут из темноты, за костром, где лежали верблюды, кто-то крикнул в ярости:

— Эй, стража, сюда! Хватайте проклятых карматов! Этот бекат превратился в гнездо нечестивцев! Хватайте врагов ислама и государства!

Примчались с десятков нукеров, сверкнули сабли. Кто-то кинул песку в костер — он зашипел, угасая.

С криком «Беги!» карматы ринулись в разные стороны.

Ибн Сина тоже вскочил с чурбака, не зная, что нужно делать ему самому. Чьи-то крепкие пальцы схватили его за рукав:

— Господин Ибн Сина, зачем вам быть вместе с богухульниками-карматами? Идите к себе! Рано на рассвете мы отправляемся в столицу.

До самой кельи Ибн Сину молча сопровождала некая тень.

«Странно! Рядом, совсем рядом со столицей эти карматы... И так спокойно, весело разговаривают... Странная легенда, и рассказчик со шрамом необычен...»

Ибн Сина его видел где-то, видел, безусловно. Возможно, и лечил... Почти сорок лет он лечит больных, тысячи и тысячи прошли через его руки, и большинство из них он помнит. Этот мнимый дервиш тоже ему знаком, но где, где они виделись? В Гургане или Джурджане? Или, может быть, в Хамадане? Где?

Так и не разгадав загадку, Ибн Сина заснул. Впрочем, скорей не заснул — впал в тяжелое дремотное состояние. Что-то слышишь во сне, но не сознаешь, голова будто отдельно существует. Это признак заболевания. Он сам описал это в «Каноне»...

Какой-то шум нарастал. Лязг сабель послышался. Стоны. Ругань. Грохот дверных засовов.

Это уже здесь, в келье!

Ну да, вот на пороге Абу Убайд, дрожащий, как листок на чинаре под ветром. За ним — здоровенный воин с кривой саблей, в синей чалме.

— Наставник! — Абу Убайд подбежал, обнял Ибн Сину.

— Не бойтесь, великий исцелитель! — рослый, плечистый воин почтительно поклонился Ибн Сине. — Наше войско — войско правды и справедливости! Мы не обижаем людей добрых и мудрых!

«Войско правды и справедливости! — Ибн Сина удивленно посмотрел в суровое лицо молодого воина. — Он знает эту святую формулу. Откуда?»

— Сынок, только что напавшие на постоянный двор воины — они тоже из войска правды и справедливости?

— Мы напали не на бекат, господин, а на сарбазов султана Махмуда! Мы сражаемся против этого жестокого султана, хотим установить правду и справедливость! — Торжественно и гордо сказав это, воин снова почтитель-

по сложил на груди руки.— И великая просьба к вам, великий исцелитель, пожалуйста к нам. Мы называем наш стан — Крепость мстителей... Это просьба предводителя войска правды и справедливости, великого имама Исмаила Гази!

И, не дожидаясь ответа Ибн Сины, молодой воин повернулся к дверям, громко спросил:

— Где кони?

— Кони готовы! — послышался чей-то голос со двора.

5

До Крепости мстителей, о которой говорил воин и которая, по его же словам, находилась не более чем в двух фарсангах от беката, добраться было нелегко. Ехали через густые кустарники и камышовые заросли, спускались в глубокие узкие низины, выкарабкивались из них по крутым склонам.

«Войско правды и справедливости»... Чье оно, это войско? Рядом — всадники в синих халатах, в синих чалмах. Карматы. А кто он, имам Исмаил Гази?.. Гази — значит «мститель». В Исфахане, когда там правил Шамсуд-Давля, помнится, один дервиш, или человек в одежде дервиша, провозгласил, что он тоже — Гази. Мститель на всех, кто нарушил исконное равенство. Ведь перед аллахом, проповедовал тот человек, все равны: и шах, и нищий! За это утверждение он был проклят во время хутбы, приговорен к ста ударам плетью... Если Ибн Сина не ошибается, того человека, того гази, тоже звали Исмаилом — да, да, Исмаилом!

Но то было в Исфахане, а тут — преддверье Газны, столицы всемогущего султана Махмуда!

Всадники — впереди — пересекли глубокий овраг, свернули направо, исчезли в арчовой роще.

Еще немного пути, и роща заметно поредела, перешла в широкие поляны. На одной из них Ибн Сина увидел большие синие шатры и множество шалашей из камышового тростника.

Здесь и там сарбазы боролись, учились обращению с пиками и саблями, пускали в мишени стрелы из луков. Клубы дыма и пара поднимались над поляной — готовили пищу.

Воин, который привез Ибн Сину, повернул коня к огромному синему шатру, где у входа стояли два сарбаза

с обнаженными мечами. Воин спешился, расстегнул — перед глазами стражи — воротник чекменя, показал висевший на шее синий треугольник. Тут же его пропустили в шатер. А вскоре он явился обратно, поклонился Ибн Сине, все еще сидевшему на коне, сказал:

— Наш пири муршид¹ ждет вас! Милости просим, великий исцелитель!

Ибн Сина с помощью Абу Убайда слез с коня, на мгновение задержался у порога, приводя в порядок одежду. Почему-то волнуясь, вошел в шатер.

В углу просторного и высокого шатра на камышовой циновке, лицом к кыблэ, сидел на пятках высокий человек. Замотанная в тряпье левая рука его на синей подвязке свободно свисала на грудь, согнутая в локте. Вместо обычного молитвенного коврика на полу была разостлана синяя подстилка. Над молящимся на крючках в кошмяной стенке висели синий халат, синяя чалма, щит, сабля, а также синий кожаный колчан со стрелами.

Человек, свершавший намаз, к вошедшим не обернулся. Ибн Сина молча остановился у порога. Всмотрелся в молящегося. Да, да, то был вчерашний рассказчик. То был проклятый улемами десять лет назад в соборной мечети Исфахана! Имам Исмаил Гази!

Ибн Сина вспомнил! Квартал исфаханских кузнецов... Мрачная ночь. Люди провели врачавателя в заброшенный двор, а оттуда в маленькую сырую комнатенку. Ибн Сина увидел лежащего на циновке человека, весь он — плечи, шея, спина, бритая голова — был исполосован плетью, весь покрыт струпьями запекшейся черной крови. Имам Исмаил — Мститель! Тот, кто бесстрашно проповедовал в городе: «Перед создателем все равны — и шах, и нищий!»

Ибн Сина тогда целый месяц тайком лечил Исмаила, поставил на ноги, но о дальнейшей его участи ничего не знал.

И вот смотрите и удивляйтесь: судьба снова их столкнула! У самого порога Газны!

Имам Исмаил сложил свою подстилку, поднялся с колен. Почтительно скрестив руки, произнес:

— Добро пожаловать в нашу бедную лачугу, достопочтенный шейх-ур-раис.

Ибн Сина прошел на предложенное место. Обменялись взглядами, испытующими друг друга. Взгляд имама

¹ Духовный наставник, другое наименование имама.

из-под крутого лба заставлял поежиться. Но лицо имама было красиво и спокойно, хотя чувствовалась в нем некая особая, притягивающая к себе сила.

Расстелили домотканую скатерть — дастархан, молодые воины оставили гостя и хозяина вдвоем — перед двумя кувшинами из простой глины, такими же мисками да еще двумя ячменными лепешками.

Имам Исмаил здоровой рукой налил в миску из кувшина ячменную похлебку, подал Ибн Сине скромное кушанье, улыбнулся:

— Видно, великий исцелитель не узнал ночью меня, покорного своего слугу?

— Да, признаюсь, не узнал, но...

— Нет ничего удивительного, исцелитель, как-никак почти десять лет прошло после... нашей встречи в Исфahanе. Но вечно я буду помнить, как оживили вы мое почти бездыханное тело.

— Благодарю за добрую память, — сказал Ибн Сина и взглянул на обмотанную руку хозяина. — Видно, имам Исмаил опять нуждается в лечении?

Правой рукой имам осторожно погладил левую.

— Тысяча сожалений, но... прошлой ночью при стычке в бекате некоторые наши воины были ранены.

— Если нужно помочь, я готов.

— Очень признателен. Но есть более важное дело, — имам неожиданно нахмурился, пристально, исподлобья посмотрел на гостя. — Господин Ибн Сина! Мы должны тотчас покинуть это место. Причина? Сюда скоро нагрянут султанские псы — они ведь ищут вас, вы нужны султану. Поэтому... ваш покорный слуга хочет спросить...

— Я к вашим услугам, имам Гази.

— ...Ваш покорный слуга слышал, что вы, великий исцелитель, не желали служить этому кровопийце, все время скрывались от него. Так что же заставило вас отказаться от прежнего поведения и взяться лечить этого жестокого насильника, господин мой? — В голосе имама прозвенел металл.

— Перед всевышним все равны... — глубоко вздохнув, ответил Ибн Сина. — И для нас, врачей, что шах, что нищий — тоже все равно.

— Не знаю, правильно ли это. Неизлечимая болезнь, прилипшая к этому жестокосердому, — не предначертана ли она самой судьбой? Не есть ли она месть, ниспосланная небесами тому, кто за сорок лет владычества своего пролил реки крови людской? А если это кара всевыш-

него, то разве лечение ваше не будет великим грехом?

Ибн Сина отвел взгляд от горящих гневом и яростью глаз имама. Конечно, логично говорит имам и справедливо, но... эта ярость, эта безжалостность!

Исмаил словно разгадал мысли Ибн Сины:

— Да, все воины войска правды и справедливости горят чувством мести. Нас объединило знамя газавата¹, и мы избавим мир от кровопийцы!

«Опять газават! Опять кровопролития! И кровь будут лить — во имя справедливой цели — воины правды и справедливости. Что же это за мир беспощадный?!» — подумал Ибн Сина и вспомнил, что лет пятнадцать назад в Египте чернокожие рабы-зинджи, предводительствуемые имамом Захиром, тоже подняли знамя газавата, одержали сначала немало побед, — пролили реки крови, в том числе и своей. Надежда, затеплившаяся было в его груди — встретить такого имама, который дал бы людям мир и покой, — погасла в душе Ибн Сины, как свеча на исходе.

Имам Исмаил по-своему понял молчание гостя. Весело воскликнул, попытавшись даже ударить ладонь об ладонь:

— Молчание — знак согласия! Присоединяйтесь ко мне, к нашему войску, исцелитель мой.

Ибн Сина долго сидел, опустив голову, напряженно думал. Искал нужные доводы и слова:

— Благодарю, имам! Но хочу спросить: разве войско правды и справедливости может сравниться с войском султана Махмуда?

— Войско султана — полчище грабителей. Корысть — их опора. Наша опора — правда и справедливость! За нас заступятся... даже вон те горы, подпирающие небо! Но — времени у нас в обрез. «Да» или «нет», исцелитель?

«Я ученый. Я врачеватель. Да, но я и вольный человек... в тех горах, что мы только что прошли, мы будем вольны, как беркуты в небе... И все-таки: не мне проливать кровь. Я врачеватель!..»

— Тысяча сожалений, имам, но ваш покорный слуга не рожден сарбазом.

— Не обязательно держать в руке меч, чтоб отстаивать правое дело. А уж почета и уважения вы будете иметь у нас в сто раз больше, чем во дворах.

¹ Газават — война за веру, «священная война».

— Благодарю, имам, благодарю сердечно. Но ваш покорный слуга всеми помыслами своими — в книгах, в науках. У меня начаты книги. Как доведу их до конца, если пойду с вами?

— Довести до конца книгу-небылицу о справедливых шахах? — раздраженно усмехнулся имам Исмаил; его шрам на лбу нервно задергался. — Удивляюсь вам, ученым мужам! Вы пишете толстые книги, в которых иногда осуждаете плохих правителей, а сами — рабы у таких, как султан Махмуд!

— Это неправда! — возразил было Ибн Сина, но, увидев холод в глазах имама, умолк. Миг спустя сказал о другом: — Есть еще одна причина, имам... В Исфahanе черный мор, я должен вернуться туда как можно скорее.

— Пусть так и будет! — Имам Гази, опираясь об пол здоровой рукой, поднялся. — Вы свободны, великий исцелитель. Вы пойдете своей дорогой, мы уйдем отсюда своей.

— Если позволите, я осмотрю вашу раненую руку!

— Благодарен вам, но... — имам Гази, словно обиженный ребенок, отвернулся, — скажите только, есть у меня перелом или нет...

Ибн Сина осторожно распутал толстую полотняную тряпку на руке Исмаила. Глубокая сабельная рана была присыпана чем-то, но до сих пор кровоточила.

— Сейчас будет больно, потерпите, имам.

Осторожно пощупал опухшую руку. Бледный как полотно Исмаил закрыл глаза.

Ибн Сина неторопливо и тщательно очистил рану, вновь перевязал руку.

— Слава аллаху, кость цела.

— Слава аллаху... — повторил имам.

— Но рана ваша опасна, имам. Дайте мне война. Он возьмет лекарство, приготовленное мной из яда змеи-стрелы и масла горького миндаля. Каждый день дважды смазывайте рану этой мазью.

— Благодарю! — ответил имам, все еще хмуро-насусленно. — Мои сарбазы проводят вас до беката... И запомните, исцелитель, — закончил неожиданно имам, — если когда-нибудь вы будете нуждаться в помощи... В Газне есть человек, поэт, винодел, его зовут Маликул шараб. Сообщите ему о себе, если будет нужда... Будьте здоровы, господин Ибн Сина! — И Мститель поспешно вышел из шатра.

А господин Ибн Сина долго еще после этого раздумывал, правильно ли поступил, отказавшись от предложения имама Исмаила Гази.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

1

Визирь Абул Хасанак спал мертвецким сном после разгула, что продолжался со вчерашнего вечера чуть ли не до сегодняшнего рассвета. А пробудился с трудом оттого, что кто-то тормозил его нетерпеливо за плечо. Визирь разлепил веки — над ним с дрожащей свечой в руке склонился поэт Унсури.

Абул Хасанак огляделся. Столик с яствами — увидел он — отодвинут, куски недоеденного жаркого на блюде источают неприятный запах; хрустальные бокалы, бирюзовые чашки — пустые или полупустые — в беспорядке разбежались по ковру на полу и по столу, иные опрокинуты. Постель тоже разворочена и пуста. После крепкой выпивки с «господином Ибн Синой» он, помнится, задержал одну из надзирательниц гарема, женщину еще в соку и весьма, как о ней говорили, умелую в делах любви, но вскоре прогнал ее пинком в пышный зад: уж слишком бесстыдной оказалась.

— В чем дело? С чего это ты бродишь ночью, как душа неприкаянная? — недовольно проворчал Абул Хасанак, зарываясь опять в пуховые подушки. — И сам не спишь, и другим не даешь поспать.

Унсури присел на корточки возле ложа визиря, свеча в руке поэта задрожала сильнее.

— Дурные вести, благодетель!

— Дурные вести? — переспросил Абул Хасанак и сбросил с себя шелковое одеяло. — Что, покровитель правоверных...

— Покровитель правоверных, слава аллаху, жив и здоров, — поспешил заверить Унсури. — Беда в другом: в Газну прибывает великий исцелитель, господин Ибн Сина!

— Отбывает? — заморгал Абул Хасанак. — Как это — отбывает? Куда?

— Не отбывает, а прибывает, благодетель! Настоящий, истинный господин Ибн Сина, из Исфахана... Оказывается, этот Ибн Сина, наш, который во дворце, не на-

стоящий, и вот эмир Масуд отправил сюда настоящего.

Лицо Абул Хасанака сморщилось.

— Этот Ибн Сина, тот Ибн Сина! Настоящий, не настоящий! Откуда эти глупые вести?

— Покорный ваш слуга услышал сие от Пири Букри. Вы же знаете: горбун осведомлен обо всех тайнах мира,— так вот Пири Букри говорит, что Хатли-бегим и кое-кто еще готовят настоящему Ибн Сине прием со всеми почестями. Ибн Сина исфаханский не сегодня-завтра прибудет в Газну. Среди тех, кто поехал ему навстречу,— обуянный гордыней мавляна Бируни... И замешан тут будто бы сам главный визирь Али Гариб!

— Али Гариб?

Абул Хасанак поспешно облачился в халат, подошел к столу на низких ножках, нетерпеливо долил вина в сапфировую чашу, одним махом опорожнил ее. «Вот так поворот... Значит, лукавый Али Гариб переметнулся?..» Этот Ибн Сина, тот Ибн Сина! Настоящий Ибн Сина, ложный Ибн Сина!.. И двух недель не прошло, как появился во дворце ловкач, которого называли «великим исцелителем», а все дела пошли с ним столь хорошо, что он сам, господин визирь, приближенное к особе султана, доверенное его лицо, и думать забыл о том, что выкопанный где-то лукавым змеем Али Гарибом ловкач тот — не настоящий Ибн Сина. А ведь есть и настоящий Ибн Сина, настоящий великий исцелитель. Что ж теперь будет? Что будет, когда настоящий Ибн Сина — а за ним стоит, очевидно, эмир Масуд со своими сторонниками — появится здесь?

Да, ложный Ибн Сина успел многое сотворить. Многие и... благое. Рассеялось мрачное настроение, которое месяцами насыщало собой и дворец, и город, да что там дворец и город — весь султанат. Люди облегченно вздохнули. Повеселели. Будто благодатный ветер развеял черные тучи, застлавшие небо. Надзирательницы гарема и наложницы, бакаулы и мелкие служки, певцы и музыканты, до того чуть ли не в траур уже одетые, оживились, забегали, зашумели, охваченные азартом подготовок к пирушкам, которые устраивались все чаще и чаще. Кто вернул во дворец музыку и поэтические состязания? Ну конечно, то была милость аллаха, а кроме нее? Посланный аллахом исцелитель, его чудо-лекарства! Благодаря Ибн Сине — да, да, пусть он не Ибн Сина, но все равно он Ибн Сина! — повелитель, дошедший, можно сказать, почти до рубежа смерти, с каждым днем становился все

более оживленным. Целыми долгими часами был крепок и весел...

Абул Хасанак продолжал бегать по комнате.

2

За неделю лечения султан настолько окреп телом и душой, что у него появилось желание выехать в город, осчастливить правоверных, показав им себя, свой солнце-подобный лик. По этой причине все улицы Газны были подметены и политы (даже с деревьев смыли пыль!), все водоемы наполнены водой, все фонтаны проверены, дабы в нужный миг их радужные струи усладили взор повелителя, входы лавок украсились разноцветными шелками, а с базаров и из караван-сараев была выгнана за город вся бездомная голытьба. Вчера к утру подготовка закончилась. На главной городской площади у дворца выстроилось семьсот всадников — отряд личных телохранителей благословенного султана: отборные молодцы, один к одному, все в красных чекменях, в медных сияющих шлемах, увенчанных красными перьями, все до единого с обнаженными саблями, под каждым — лихой белый конь, и лишь сотники, чуть впереди рядов, выделяются — они на черных скакунах, одеты в синие бархатные халаты, в руках же у них вместо сабель хвостатые синие флажки.

К полудню возле дворца «Невеста неба» собралась, гарцуя на откормленных конях, верхушка войска и государства: парчовые и златотканые халаты еще больше оживили разноцветье площади, как и зеленая с белым одежда улемов.

Все подтянулось, все замерло.

И тут грохнули звонами литавры, заревели карнаи, застучали барабаны — дрогнула земля. И вышел из дворца султан Махмуд — покровитель правоверных, меч ислама, десница аллаха. Сопровождали его, с одной стороны, имам Саид, с другой — Абул Хасанак и «господин Ибн Сина». На голове султана — бобровая шапка с жемчугами, ярко-красный халат украшен золотыми лентами, а пуговицами служили рубины и яхонты. Султана подпоясали золотым поясом весом в пятьсот мискалов, обули в красные кожаные сапоги, серебряными подковками подбитые. Лицо повелителя, все еще желто-восковое, осунулось, скулы выпирали больше обычного, но глаза свер-

кали будто пламя в ночи, шаги были твердыми, движенья четко-порывистыми.

Султану подали любимого черного карабаира с белой отметиной на лбу. Скакун — от подков до уздечки — был разукрашен золотом, под седлом и попоной алел тонкий ковер. Прежде чем сесть в седло, покровитель правоверных долго, испытующе глядел на тысячи и тысячи тех, кто собрался встретить его, — на коленопреклоненных савновников, на окаменевших воинов с обнаженными саблями, на море простого люда вдали. Затем он отодвинул от себя спутников, остановил кинувшихся было к нему слуг и сам поставил ногу в стремя, и сам, под восторженный гул толпы, перемахнул в седло. Грохот литавр, карнаев, барабанов поднялся в этот миг до небес.

Покровитель правоверных на своем любимом черном жеребце начал объезд города — он ехал по улицам, выскобленным настолько чисто, что, если б разлить тут масло, оно бы не впиталось в пыль и его можно было бы слизнуть; на перекрестках, площадях и гузарах радужно сверкали струи серебристых фонтанов; торговые лавки полотнищами синей, красной и желтой расцветки, развешанными у входов, приветствовали могущественного повелителя. За султаном ехали на мулах чиновники казначейства с хурджунами, набитыми золотыми и серебряными монетами, и дождь монет сыпался на головы людей, заполонивших улицы и гузары благословенной Газны.

Под восторженные крики ошастливленных подданных, под радующий сердце топот коней султан доехал до соборной мечети. Величественное здание государственного совета и государственной канцелярии, напротив же него — упирающиеся в небо портал и купола мечети являли вместе дивное сочетание, возвышающее дух человеческий. Перед мечетью, на широкой площади, устланной мраморными плитами, бросались в глаза цветастые паласы. Шествуя по ним, покровитель правоверных в окружении свиты из множества улемов поднялся на айван¹, где и принял участие в полуденной молитве. После молитвы имам Саид произнес — для наущения всех правоверных, собравшихся на площади, — проповедь. Он говорил о том, что слезы и мольба правоверных дошли до небес, что создатель всего сущего не пожалел милости и через «явленного нам ангела в лице великого исцелителя, господина Ибн Сины, избавил повелителя от недуга, ко-

¹ Возвышение перед зданием, своеобразная терраса, в мечетях и дворцах богато украшенная.

торый сам же ранее и навел на него, дабы проверить крепость султановой веры». И, расчувствовавшись от собственных слов, имам прослезился. Раскрыв как бы объятия, протянул ладонями вверх руки, благословляющие правоверных, и воззвал:

— О всевышний, так дай же нам всем терпенье и силу, чтоб вынести тяжесть испытующих нас невзгод, дай стойкость и скромность, чтоб не возгордиться от милости твоей и любви твоей! Аминь!

— Аминь! — общий возглас тысяч молящихся, казалось, потряс всю столицу.

После богослужения в саду Феруз у широченного водоема собрались за богатейшим дастарханом (на пятьсот человек!) знатнейшие и именитейшие столпы государства во главе с самим султаном.

Небо по-весеннему чисто сияло; солнечные лучи, пробивающиеся сквозь пышную зелень, ласкали лица нежно, будто ручка младенца; запах жареного мяса, перца и лука смешивался в воздухе с чуть терпким запахом базилика и степных трав; по обеим сторонам водоема, у двух длинных настилов, за которыми должна была находиться знать, расположились певцы и музыканты, и принялись они за дело, соперничая с птицами в саду, и зажигали в душах светлые надежды.

Потом смолкла музыка — это повелитель прошел под голубой балдахин и сел в инкрустированное перламутром кресло, покрытое львиной шкурой, дал знак остальным рассаживаться вокруг водоема, по заведенному порядку чинов. Вода весело отражала солнечные лучи — сладкая вода, в которую за день до пира было брошено пять тысяч головок сахара и благовонных трав, чтоб каждый желающий, стоило только ему протянуть руку и зачерпнуть пиалой эту воду-шербет, мог напиться вдоволь.

Пир начался!

«Великого исцелителя» хвалили снова и снова. Покровитель правоверных самолично набил ему рот золотом (сколько монет удержишь — все твои!), собственноручно накинул на него еще один новый халат, после чего поэт Унсурри прочитал сначала в честь благословенного султана, а потом в честь «господина Ибн Сины» две новые касыды.

И опять грянула — теперь уже громче громкого! — музыка, и полились новые песни; если они чем и могли быть заглушены, так только звоном бокалов. Вино — благословенное лекарство! — полилось рекой; мастера-пиро-

жечники подали горячую самсу с мясом молодого барашка и — опять-таки — с лекарственными травами, шашлычники преподнесли изделия своего искусства, пропитанные запахом арчовых угольев, а после шашлыков подали в сапфировых чашах «львиный настой», приправленный сайгачьей травой, базиликом и черным перцем, за бульоном последовал в фарфоровых блюдах, с которых гостям подмигивали узкоглазые китайки, красноватый плов с кусочками вкусной перепелиной плоти.

Султан сидел поначалу молчаливый, задумчивый, чуточку хмурый. Постепенно впадал он в какую-то безвольную мечтательность, хотя не перечесть было хвалебных касяд и песен в его честь, пожеланий жить ему до конца света.

Вина султан долго не пробовал, разрешив, однако, пить другим. Но когда поставили на скатерти плов, лекарь-исцелитель почтительно подал покровителю правоверных пиалу с вином. Султан отхлебнул. Что там было, в этом вине, — бог весть, но будто обожгло султана изнутри огнем, он весь встрепенулся, расстегнув золоченый пояс, отбросил его, распахнул халат, неожиданно встал пошатываясь. Взмахнул тощими, длинными руками-палками, громко и сипло крикнул, глядя на музыкантов:

— Хватит! Довольно... песен и восхвалений!

Чуткая, тяжкая, будто предгрозовая тишина пала на застолье. Красные, опухшие лица вельмож побледнели, хмельную радость в глазах вымел страх.

— Вы желаете мне жить до конца света? Так? Ну что ж... Да будет вечно милостив творец! — глухо, с неким ожесточением начал султан. — Когда пьют твоё вино, едят твой хлеб, тогда легко восхвалять дающего. Ну, а сколько было вас, преданных, в другие часы? А? Султан Махмуд видит нутро всякого из вас! Видит, какие мысли вы таите в душе, какая корысть вами движет, какие козни зреют в головах! Многие тут сегодня сладкоречиво восхваляют султана, а вчера ещё они же смерти желали ему! — Держась за колонку балдахина, султан сделал шаг вперед, и кто сидел близко — отпрянули. — Да! Кто проявляет истинную преданность, тот и заслужит преданность к себе, кто же строит козни, тот сам попадет в сети. Да, да! Кто роет яму султану Махмуду, сам угодит в эту яму! Султан же Махмуд всегда будет преданно служить истинной вере! Да, во имя веры единственно истинной он скоро дойдет на машрике до Кашмира, на магрибе¹ — до

¹ М а ш р и к — восток; м а г р и б — запад.

непокорного Сума дойдет. Дойдет! Нет на земле места, куда бы не дошло его войско, не дотянулся бы его меч!

Унсурн как стоял у колонки балдахина, так и присел на ступеньку, у самых ног султана. Выкрикнул восторженно:

— Да сбудется сия великая мечта покровителя правоверных, десницы аллаха! Аминь!

И все вокруг, по-хмельному разрозненно, заголосили:

— Аминь! Аминь!

— Но если... у кого уста сладкие, а душа ядовита... если он пожелает нанести мне вред... — султан, не докончив, долгим прищуром стал разглядывать своих сановников, ожесточенно-внимательно, будто разыскивая спрятавшегося среди них злейшего своего врага. А сановники будто окаменели, как лягушки перед удавом.— ...Ну, а где этот старый лис, главный визирь?

Абул Хасанак поспешил с ответом:

— Покровитель правоверных послал его на гору Сарандип, чтобы он доставил божественные плоды, о которых говорил великий исцелитель!

— И до сих пор его еще нет?

— Скоро должен вернуться, повелитель!

— Ах, так! — сказал султан, мотнув головой.— Тогда... вина!

Каждый из сидящих за дастарханом так и впился взором в султана, который продолжал стоять, обняв резной столбик балдахина.

Султан долго и осторожно выцеживал вино из чаши, поданной ему Хасанакком. Вернул чашу, снова воззрился на сановников.

— Ну, а... где тот нечестивый, злоязычный поэт... Ма-ликул шараб? — спросил султан, и весь придворный люд испустил вздох облегчения: жертва названа, слава аллаху!

— Тот злоязычный стихоплет... — Абул Хасанак на мгновенье задумался.— Нечестивец — в грязной своей питейной. Валяется в собственной блевотине, благодетель!

— Пусть тотчас отыщут этого еретика и смутьяна... он, вместо того чтоб желать султану долгой жизни, как все вы... он желает мне смерти!.. Ну, так и позовите его, пусть посмотрит на меня... мое состояние... благословен султан и отмечен... милостью вседержителя... — Султан отступил на шаг, сел в кресло, а рука все еще сжимала

хрупкую деревянную колонку, над которой голубел шелковый купол балдахина.

Шахвани засуетился, заерзал, вытащил из-за пазухи роскошного своего одеяния шелковую тряпку, а оттуда извлек лекарственный кругляшок величиной с горошину.

Проглотил кругляшок султан, и вот глаза его опять засверкали, будто протертые динары, на тонких губах под редкими усами заиграла улыбка.

Усмехаясь, султан поведал своему доверенному, что не прочь был бы сегодня убедиться в том, что младшая жена эмира Алитегина и впрямь столь красива и возбуждающа, как о том рассказывали. Ну, а до того приятного вечера он, султан, отдохнет, не дожидаясь конца пира.

Абул Хасанак мысленно поблагодарил Шахвани за находчивость и тут же распорядился подать повелителю паланкин. Отвезли они вместе с «господином Ибн Синой» султана во дворец, переговорили со старшей надзирательницей гарема и вернулись продолжить пир...

3

...Да, все бы шло хорошо и дальше, ежели бы не новость, принесенная этим глупцом Унсури. Коварный Али Гариб, умелый интриган, который и блоху способен в ловушку поймать, и яростная Хатли-бегим — вместе это ой-ой какая сила!

Абул Хасанак знал, что главный визирь, «отправленный» по приказу султана на гору Сарандип, прячется на самом деле в крепости Кухандиз близ Гардиза, в неприступных горах. В тайной крепости этой, высеченной в скалах, куда подниматься надо по тысяче ступенек, держали самых опасных врагов султана. Главный визирь, однако, пожелал выбрать эту зловещую могилу, зарылся там в келье, ровно крыса в щели. Видно, думает, что никто и предположить не сможет, что именно там он прячется. А Хасанак предположил, узнал. Он узнал бы все про Али Гариба, даже если б тот спрятался не в крепости Кухандиз, а под семь пластов земли. Хасанак только ждал, ждал, пока пройдут восемьдесят дней, нужные для поездки за «божественными плодами». Лишь кончится этот срок — схватит он Али Гариба за воротник, извлечет на свет божий.

Ах, старый лис не только перешел на сторону злючки Хатли-бегим, так еще сговорился заранее с теми, кто хо-

чет представить султану настоящего Ибн Сину! Поистине нет границ человеческой подлости! Самому найти ловкача Шахвани, объявить его «великим исцелителем Ибн Синой», а потом предать его и вместе с ним — что куда важнее, разумеется, — сообщника своего Абул Хасанак!

Нет, надо немедленно нанести предупреждающий удар! А первым делом найти этого... пройдоху, который где-то сейчас во дворце развлекается. Найти, оповестить о неприятной новости — пусть поостережется, пусть султана подготовит.

Абул Хасанак с усмешкой посмотрел на Унсури, который, все еще дрожа, стоял перед ним, освещенный робкой, вздрагивающей свечкой.

— Ну, пойдемте-ка, хозяин сада поэзии! Нам следует найти господина Ибн Сину. Да не дрожите вы так, шах поэтов!

Дворец еще спал крепким сном; узкий длинный коридор, весь устеленный индийскими, диковинно разрисованными ковровыми дорожками, был безлюден, когда они проходили по нему. В причудливых серебряных подсвечниках в нишах и в спускающихся с потолка светильниках кое-где еще мерцали свечи, зажигаемые по вечерам и за ночь выгорающие; в неясном мерцании этом темный коридор казался загадочным и полным тревоги.

Хасанак и Унсури со свечами в руках стали одну за другой открывать двери по обеим сторонам коридора. Комнаты были и большие, и средней величины, и малой, — из темноты посверкивали цветные паласы и сюзаны, золотые статуэтки богинь, хрустальная посуда, металлом отливали оружие и подносы, но, как и мрачный коридор, комнаты были безлюдны, без спящих и без стражи стояли они пустые, будто грянула некая неожиданная беда и весь дворцовый люд бежал куда-то, бросив на произвол судьбы все богатства.

Дошли до конца последней коридорной дорожки. Абул Хасанак остановился в растерянности. Подняться на второй ярус?

Ночью они с лекарем отвели султана наверх, в тайный уголок дворца, а сами зашли в ту самую комнату, откуда сейчас вышли, туда же зазвали одну из гаремных надзирательниц, чтоб она привела им двух невольниц.

Надзирательница выслушала «великого исцелителя», привела одну молоденькую девушку, а вместо второй осталась сама: ей, видно, и самой захотелось позабавиться с господами, да и господа, ощупав ее взглядами, согласи-

лись, полагая каждый, что ему достанется молоденькая.

Опередив визиря, «великий исцелитель» выбрал себе молоденькую. Абул Хасанак, однако, предложил бросить жребий. Но ему вторично не повезло. Молоденькую увел Шахвани, Абул Хасанак «выпала» надзирательница. Женщина она была, что называется, предпоследнего цветения — полная станом, миловидная на лицо, крутобедрая, — так что, подумал визирь, неизвестно, кто из нас выиграл больше, «господин Ибн Сина». Выпили вина. Абул Хасанак придвинулся к женщине. Та, не отстраняясь, полными белыми руками своими стала зачем-то поправлять прическу. Рука визиря легла надзирательнице на бедро.

— Чему это вы улыбаетесь, госпожа?

— Ах, какие у вас брови и глаза! — засмеялась женщина. — Аллах наградил вас красотой, а вот в любовных утехах...

— ...Что в любовных утехах?

— А настоящим любовным пылом наградил того знаменитого лекаря.

— Это еще как сказать.

— О, я чувствую...

— Пыл, он и есть пыл. Пылью оседает...

— Нет. Не стоит... разводить пыль, — сказала вдруг надзирательница и, слегка шлепнув его по руке, поднялась из-за стола. — Не старайтесь и не пытайтесь, господин визирь! Вам не достигнуть тех успехов...

Абул Хасанак и не помнит, что было после этих наглых слов: то ли сначала он дал пощечину негодяйке, а потом ударил ногой, то ли наоборот, — помнит, что надзирательница с воплями кинулась к дверям, спасаясь от колотушек.

Вот и сейчас — только пришла на ум насмешка надзирательницы гарема, господин визирь вспыхнул от ярости, смешанной с завистью к лекарю, и решительно зашагал по ступеням наверх.

Наверху с двух сторон коридора тоже, как сарбазы в строю, высились наглухо закрытые двери. Темнота и здесь была почти полной. Тайная комната султана была в самом конце.

Абул Хасанак, бледный и решительный, приоткрывал двери одну за другой, а поэт Унсури плелся за ним вроде бесплотного призрака, не осмеливаясь даже заглядывать в комнаты. Шевеля губами, он сначала считал про себя, сколько же тут комнат, но потом сбился со счета... Вот

предпоследняя дверь. Хасанак осторожно потянул за ручку, проскользнул в приоткрывшуюся щель. И, словно увидев змею, попятился.

— Покровитель правоверных!.. — со страхом прошептал он.

— Покровитель правоверных? — переспросил Унсури и чуть не упал от ужаса. — Живой ли?..

— Живой! Тс-с-с! Спит! Но... где же великий дьявол?

Большие, черные, по-женски сладкие глаза Абул Хасанака как-то странно замигали. На миг он приостановился, будто борясь с самим собой, а затем подскочил к последней двери в золоченых полосках и рывком распахнул ее.

Вот где было светло так светло! Ослепнуть можно!

И от яркого освещения, и от картины, которая предстала их взорам.

Стены и потолок этой тайной комнаты были разрисованы непристойными, возбуждающими похоть изображениями: обнаженные женщины и мужчины сплелись друг с другом, и на их лицах, в их глазах, обращенных к тем, кто находился в комнате, были вожделение и призыв к вожделению. А на полу комнаты, на горке сложенных шелковых одеял, бесстыжим образом обняв голую наложницу обеими руками и сам весь голый, развалился... «великий исцелитель»!

Абул Хасанак злобно взглянул на Унсури. Тот растерянно застыл на пороге, жадно взирая на стены и на обнявшуюся пару. Свеча, не нужная здесь, где горело много свечей, дрожала в руке поэта. Хасанак дунул на нее, дунул на свою свечу, тихо подошел к постели и с яростью пнул волосатого, будто обезьяна, лекаря.

Шахвани испуганно вытаращил глаза, отпихнул наложницу, поспешно вскочил на ноги. Женщина громко вскрикнула. А была это не молоденькая девушка, которую лекарь выиграл по жребью, а та самая пухлая, крутобедрая надзирательница гарема, которая задела вчера вечером Абул Хасанака едкой насмешкой.

— Сгинь отсюда, бесстыжая распутница! — закричал визирь.

И хотел было ударить и ее, но нагая негодяйка ловко увернулась, схватила с пола белую простыню, покрылась с головы до пят и — будто ветром ее выдуло из комнаты.

И Шахвани в мгновение ока был уже в шароварах и даже халат накинул на голое тело.

— Так, господин Ибн Сина! — зашипел Абул Хаса-

нак.— Кто тебе позволил осквернять комнату повелителя?

— Кто? По... повелитель разрешил, сам он и позволил, господин визирь!

— А эту бесстыжую тварь под тебя кто положил?

— Опять-таки... Повелитель сам изволил сказать... на его чтоб глазах...

— Ах ты, дьявол! — Абул Хасанак стиснул зубы, его снова охватило пламя ревности.— Всех обманул, всем зубы заговорил, всех заставил плясать под свою дудку! Но ныне кончилось твое раздолье, мошенник! Сегодня же ты встретишься лицом к лицу с настоящим Ибн Синой!

— Как это — с настоящим?

— Да, настоящий Ибн Сина прибывает в Газну. Эмир Масуд нашел его в Исфахане и послал сюда!

— Эмир Масуд послал? — Шахвани ощупью стал пробираться к выходу вдоль непристойно разрисованных стен. Дошел до Унсури, стоявшего у двери. Дрожащими пальцами потер себе глаза, лоб, виски. Перевел дух.— Неужто вы, господин визирь, вы, такой мудрый человек, поверили этим... наветам на вашего покорного слугу?..

— Навадам?

— Ну, а как же не навадам? Если я не Ибн Сина, то кто тогда избавил повелителя от его неизлечимого недуга?

Слово «неизлечимого» Шахвани произнес особенно выразительно. Сказал — и замолчал.

Гнев выветривался из головы Абул Хасанака: в конце концов, что значила эта бесстыдница по сравнению... по сравнению... Шахвани тотчас почувствовал перемену настроения у сообщника.

— Если господин визирь сомневается во мне, не верит мне, грешному рабу аллаха, пусть сам повелитель, получивший от меня исцеление, скажет, кто есть истинный Ибн Сина, а кто — ложный. Благословенный султан не ошибется.

Услышав это, Унсури, до того молчаливо стоявший у двери, воскликнул:

— Хвала вам, господин Ибн Сина! Нет решения более мудрого, чем это решение!..

Абул Хасанак подошел к лекарю, поправил на нем халат.

Шахвани погладил кончики своих красиво подстриженных усов и улыбнулся:

— Господин визирь, зачем вы прогнали пухлую ту... лошадку? Позовите, позовите ее! Я дам такое снадобье, что вы во сто крат превзойдете меня в любовном... ха-ха-ха... наездничестве. Не бойтесь, благодетель мой! Благословенный наш султан сегодня не проснется до самого обеда. Прикажите-ка позвать надзирательницу гарема. И пусть она приведет... двух юных невольниц — ведь и шаху поэтов не возбраняется быть счастливым, пусть хоть на короткое время в нашем — земном — раю!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Если поэту Унсуре весть о прибытии в благословенную Газну настоящего Ибн Сина доставил Пири Букри, то Бируни об этом узнал от главы государственной канцелярии.

Бируни последние дни недели дневал и ночевал в обсерватории; вернулся однажды в сумерках в городской свой дом и видит — прибыл к нему глава дивана. Неспроста, разумеется, прибыл этот человек, которого аллах не одарил солидной фигурой, но уж зоркости ума не лишил: всегда выдержанный, он сегодня выглядел нетерпеливым и обеспокоенным, будто воинский конь, что чует начало битвы. Абу Наср Мишкан не обратил должного внимания на слова приветствия Бируни; войдя в дом, сразу сделал знак Сабху, чтобы тот вышел за дверь. Волнуясь, прошептал:

— Сейчас же одевайтесь, мавляна! Ваш дорогой друг, достопочтенный Ибн Сина удостоил посещением столицу — он здесь!

Сердце у Бируни сладко заняло, но радость свою показывать он не захотел:

— А сколько же в Газне нашей достопочтенных великих исцелителей? Зачем понадобился Газне второй Ибн Сина, господин мой?

Глава дивана покачал маленькой своей головой, увенчанной огромной белоснежной чалмой:

— Нет-нет, этот Ибн Сина настоящий, мавляна! Эмир Масуд сам прислал его нам из Исфахана!

— Да будут правдой ваши слова! Но могу ли узнать я у вас: если Ибн Сина, которого прислал эмир Масуд, настоящий Ибн Сина, то что же вы будете делать с тем Ибн Синой, который во дворце?

— Разоблачим его! И не только его, но и всех тех,

кто... красавчика Абул Хасанака и других недругов, мавляна!

Бируни язвительно усмехнулся:

— Будто вы не знаете, что лекарства пройдохи принесли исцеление благословенному нашему повелителю!..

— Это ложь, мавляна!

— Разве? Но не далее как вчера столпы государства, и вы среди них, своими глазами видели нашего повелителя, своими ушами слышали в соборной мечети сладкоречивые восхваления имамом этого проходимца.

— И видел, и слышал. Но все равно не верю. Этот проходимец не исцелитель, а змея подколотная! О мавляна, мавляна! — с горечью воскликнул глава дивана и опять в полном огорчении закачал маленькой головой и большим тюрбаном. — Вы ничего еще не знаете, мавляна! Чего только не вытворяет этот мошенник во дворце! Истинно шайтан, колдун, всех чарами заморозил, снадобьями своими, говорят, на снотворном маке изготовленными, разум нашего великого султана совсем затуманил... А преданные султану, те, кто не поддался чарам, кто пытался раскрыть ему глаза на мошенства, — те у покровителя правоверных впали в немилость! Даже главный визирь, говорят, впал в немилость.

— Ну вот, а вы еще грозитесь разоблачить этого шайтана.

— Не я, не я, а вы, мавляна, то есть вы вместе с настоящим достопочтенным Ибн Синой должны разоблачить мошенника! Вся надежда на вас двоих, мавляна... Поскольку нет никого другого, кто узнал бы настоящего, хотя тот, говорят, и похож на нынешнего... Простите, я вконец запутался...

— Есть еще один человек, кто все знает о лже-Ибн Сине.

— Кто?

— Маликул шараб! И единственный его грех как раз в том, что он знает: ваш колдун — совсем не Ибн Сина. Потому-то и бросают бедного, ни в чем не повинного «повелителя вина» из одной темницы в другую.

Глава дивана отвел глаза от прямого взгляда Бируни, замялся, дернул головой раз, другой, но потом, сжав маленький кулачок, решительно произнес:

— Ладно! Предпримем меры, чтоб вытащить Маликула шараба из темницы. Но... знайте, мавляна: настоящий Ибн Сина также в опасности, с ним не поступили еще, как с Маликулом шарабом, но... могут так поступить.

Бируни будто холодной водой окатили:

— Где же сейчас Ибн Сина?

— Чтобы спрятать его от соглядатаев коварного Абул Хасанака, мы сочли нужным достопочтенного Ибн Сину тайно отвести туда, откуда вы прибыли, мавляна, где вы изучаете звезды. Там, в обсерватории, сейчас никого нет, кроме ваших верных друзей. До того мгновенья, когда господин Ибн Сина будет удостоен счастья лицеизреть нашего повелителя, вы будете там вместе с ним, мавляна.

«Как быстро мчатся события, как изменчив сей мир...» — Бируни положил руку на грудь, будто утихомиривая стук сердца.

— Молчание — знак согласия. Так одевайтесь же, мавляна!

Из-за восточных гор выплыла полная круглая луна. Огромный светло-золотой поднос рассеивал тихий, задумчивый свет на улицы и площади города. Но злобный дух, витающий над Газной в течение уже нескольких месяцев, был тут, прятался в домах богатых и знатных, таился в больших караван-сараях, откуда слышались сейчас звуки музыки, витал на перекрестках улиц у костров, вокруг которых и этой ночью сарбазы подкарауливали кого-то.

Вот почему десять всадников, среди которых был Бируни, осторожно объехали город по краю, по холмам и рощам и повернули лошадей на запад, чтобы добраться до цели круглым путем.

В молочно-белом освещении глаз едва просматривал снежные вершины вдаль. Дул свежий ветерок. Вольно дышала грудь. Непонукаемый, ровно и скоро шел буланный иноходец.

Бируни и не следил за дорогой — все его мысли были заняты предстоящей встречей. Мысли, как ни странно, противоречивые, беспокойные; смутная тревога, смешанная с давним чувством стыда за себя, тоже гнездилась в душе.

Султан и впрямь благодаря этому плуту, лже-Ибн Сине, стал на ноги. Впервые вчера, после долгого перерыва, появился в городе, с невиданной пышностью сопровождения проехал по улицам и площадям, в соборной мечети свершил пятикратную молитву, и, конечно, потом были попойка и объеденье невиданные... Ну, и каково будет после всего этого празднования, пусть показного и натужного, каково будет положение дорогого друга в хит-

роумной, коварной Газне? Шейх-ур-раис двадцать лет уклонялся от службы этому жестокосердому, а теперь, подавив гордость, должен склонить голову перед султаном, да еще и доказывать, кто истинный Ибн Сина? Его втянут, боязно сказать, но... могут втянуть в раздоры, недостойные науки, в борьбу между Хатли-бегим и визирями, борьбу, которая становится все ожесточенней и ожесточенней...

Справа от всадников показался высокий курган, гребнем воткнулась в его макушку крепость Гардиз. Проскакали мимо. Дорога пошла полого вверх, поворот — и впереди в свете полной луны, играющем на снежной вершине, сверкнули купола «храма единения».

В круглых окошечках здания на втором его ярусе едва теплился желтоватый огонек — видно, старый астролог, мавляна Абу Талиб Фаррухи, все еще не спал.

Вопреки обыкновению, перед входом в обсерваторию стояли два нукера с пиками в руках. Всадники, сопровождавшие Бируни, быстро спешили, помогли и ему сойти с лошади, поклонились ученому, вскочили снова в седла, умчались. Растерев занемевшие ноги, Бируни вошел во двор.

Безлюдье, тишина, только ветви деревьев поскрипывают от ветра. Двустворчатая тяжелая дверь закрыта. Бируни, словно боясь разбудить спящих, тихонько постучал по двери большими медными кольцами запора. Вскоре послышалось легкое шарканье, и дверь приотворилась. Молодой историк Абу Фазл Байхаки — в кавушах на босу ногу, в летнем легком халате из домашнего полотна, — чуть-чуть покачивая каменным фонарем, взгляделся в стучавшего. Узнав Бируни, зашептал испуганно-восторженно:

— Наставник! К нам прибыл сам великий исцелитель, господин Ибн Сина! Не ложный, нет, настоящий Ибн Сина, со своим учеником.

Бируни подивился осведомленности Байхаки, но спросил о другом:

— А где гости? Отдыхают?

— Нет, наставник. Ученик внизу, отдыхает в комнате каллиграфов, а великий исцелитель наверху, в круглом зале, наблюдает за небесной сферой.

— Неужели?

— Именно так, наставник! Он сейчас занят созвездием Семи разбойников. Сказал еще: какие хорошие инструменты подобрал наставник...

Бируни медленно пошел по ступенькам лестницы, ведущей в круглый зал... С каждой ступенькой все отчетливей проступали в памяти строчки его письма к Абу Али, те самые, грубовато-нетактичные, высокомерно-почающие, и снова его захлестывали волны неловкости и сожаления о написанном. Да еще — беспокойство насчет того, что он, Бируни, должен был и предостерегать Ибн Сину, и втягивать, помимо своей воли, в дела нечистые, далекие от научных забот. А вот Ибн Сина, истинный ученый, в первый же час, как приехал, стал заниматься не чем иным, как наукой. Наукой!

Бируни долго стоял на предпоследней ступеньке...

Он извинился за свои давние строчки; он рассказал о злосчастных событиях в столице, об интригах и кознях, но это было потом, во время беседы, длившейся до самого рассвета, и в последующих беседах, которые, будто и без перерывов, вели они на протяжении нескольких дней и которые были именно такими, какими представлял себе беседы эти и в мечтах своих Бируни. Он поведал Ибн Сине свои мучительные раздумья, излился душой перед ним. А Ибн Сина, словно зная все наперед, слушал с улыбкой печали и мудрости. Однако беседы эти были потом, а сейчас...

Бируни переступил последнюю ступеньку.

Посредине просторной комнаты, как раз под большим отверстием в высоком потолке, в удобном кресле с подлокотниками, где обычно сидел сам Бируни, теперь восседал некий старец. На голове его синел остроконечный колпак, похожий на дервишский, поверх синего халата из парчи старец накинул белый полотняный яктак¹.

На коленях старца лежала доска, а к ней пришпилена бумага с вычислениями и легкими строчками, сделанными грифельным стержнем. Зоркий глаз Бируни заметил и стержень на коврике у ног писавшего: старец спал!

Неужели усталый старец, что уронил большую лобастую голову на грудь и заснул в кресле во время наблюдений, — Абу Али? Да, он был похож и не похож на того Абу Али, которого знал Бируни. Того, кого знал Бируни, украшала небольшая, густая и черная как смоль борода, а этот сидел с бородой поседелой и во всю грудь длинной. На худом, смуглом, обычно сосредоточенно-задумчивом лице человека, которого знал Бируни, не было ни одной морщины. У этого старца лицо тоже носило печать сосре-

¹ Я к т а к — легкий халат без подкладки и рукавов.

доточенности и поражало продубленностью ветрами и солнцем, но какая густая паутина морщин вокруг закрытых глаз и крепко сжатых губ — от легких, будто лица лишь коснулся резец, до глубоких следов долгих страданий. Но большой выпуклый лоб, озаренный свечой... Но с красивой горбинкой нос, тоже словно создание рук ваятеля-мастера... Нет, это Абу Али, прежний Абу Али, дорогой и близкий!

Бируни хотел тихо, на цыпочках покинуть комнату, но человек в кресле пробудился. Медленно приподнялся. Обернулся. В глубоко запавших синеватых глазах его мелькнуло изумление. А потом вспыхнула радость — в глазах и в притягательной, совсем не по возрасту яркой, откровенной улыбке:

— Ассалам алейкум, устод!

«О творец! Этот чуть хриловатый голос — это ведь Абу Али, и улыбка такая широкая — это Абу Али, и лоб, будто купол огромный,— Абу Али, Абу Али, Абу Али!»

— Здравствуй, Абу Али!

Бируни прижал к себе высокого худощавого Ибн Сину.

— Неужели настал день, когда я и вправду увидел тебя, Абу Али?! Неужели пришел такой день?! — все повторял и повторял Бируни.

То со слезами на глазах обнимались, то, держась за руки, отрывались, смотрели друг на друга, словно не веря во встречу.

Наконец, взяв стулья, уселись — глаза в глаза.

Ибн Сина, виновато улыбаясь и не отрывая взгляда от Бируни, сказал:

— Слава богу! Снова вижу вас, как и прежде, бодрым, как и прежде, здоровым!

— Благодарен за утешение! Но... я уже не тот Абу Райхан, которого ты знал, Абу Али! Светлые дни моей жизни прошли.

— Но разве стареть — не закон природы, наставник? Мы стареем.

— Как обидно, что даже человек, названный великим исцелителем, тоже подвластен этому жестокому закону.

Ибн Сина все так же весело улыбался, грусть таилась где-то глубоко на дне его взгляда.

— В молодости, когда нам неведомо, что такое сомнение, когда наш ум еще не окреп, мы, учитель, не то что этот закон не признавали, мы ведь считали даже, что мо-

жно предотвратить саму смерть! А вот теперь, когда стали отличать черное от белого, теперь... стало ясно, учитель, что человеку не дано разгадать тайн подлунного мира. Он слишком сложен, сей бранный мир...

— Хочешь сказать, что на старости мы поумнели, Абу Али?

— Поумнеть, к сожалению, я не поумнел, учитель, но зато познал истину, которую давно изрек Сократ: теперь я знаю, что ничего не знаю!

Бируни понравилось, как говорил Ибн Сина: четко, твердо и — подсмеиваясь над самим собой. Он с любовью смотрел на друга. Вдруг, прервав его, попросил:

— Абу Али! Прошу тебя, не обращай ко мне — «устод». Тебе ли, создавшему «Аль-Канон», тебе ли, кого называют по праву «шейх-ур-раис», называть меня учителем? Наоборот, это я тебя должен величать устомом, Абу Али!

— Знаю, скромность — украшение человека. Но разве для вас, учитель, я — «шейх-ур-раис»? О нет!

— Ладно! Не будем об этом... Что нам возвеличивать друг друга, Абу Али!

— Совершенно верно, учитель!

Они приумолкли, будто смущенные собственными любезностями.

Потом Бируни сказал о том, что его волновало:

— Когда я думаю о тебе, Абу Али, то всегда вспоминаю ворота Гургана, прощание наше и слова, которые ты сказал в ту прощальную ночь.

— Да, учитель, я тоже помню ту ночь.

— Ну и как, нашел ты справедливых властителей, о которых тогда мечтал?

— Нашел,— грустно улыбнулся Абу Али.— Куда бы ни забросила меня судьба, всюду встречал я одних справедливых властителей. Так им все говорили, так они сами считали. В конце концов не осталось места, куда я мог бы спрятаться от них. В Джурджане с трудом сбежал от справедливости Кабуса Ибн Вушмагира. Правительница Рея — Саида-бегим тоже вынудила меня прибегнуть к бегству как средству спасения.

Бируни подумал о Хатли-бегим, в глазах его вспыхнули веселые искорки:

— Я слышал, что эта выдавшая виды луноликая красавица Саида-бегим была безумно влюблена в тебя. Это правда, Абу Али?

— Наверное, устод! И эту насмешку судьбы пришлось

пережить! — рассмеялся Ибн Сина. — И Саида-бегим, пятидесятилетняя красавица правительница, все время говорила мне о справедливости и необходимом воздаянии за справедливость, так что ваш покорный слуга готов был бежать хоть в преисподнюю от этого торжества справедливости. Но, увы, убежав от дождя, угодил под град, как говорится. Шамс-уд-Давля был еще добрей, еще справедливей... Ну, да что ж я рассказываю вам — вам, кто тоже немало положил сил на поиски справедливых властителей.

— Да. Искал. Тщетно... Долго и тщетно. Вот здесь даже искал, в Газне... Успел ли взглянуть на Газну?

— По дороге сюда бедный дервиш кое-что увидел, учитель. Поистине велик и красив город! Но эта красота, эти позолоченные минареты, лазурные купола, пышные дворцы — для кого они и за счет кого?

— Абу Али! Благоустроить свой край за счет разорения других — непростительный грех. Прекрасные беломраморные дворцы, могучие цитадели, лазурно-купольные мечети — все это построено за счет грабежа Индии и Мавераннахра. Как умеет грабить Махмуд — это я видел сам, своими глазами. От «справедливости» таких властителей мир наш кажется черней ночи! Ты сказал, что все они стоят друг друга. Выходит, не служи я султану Махмуду, был бы на службе у «справедливейшего» Шамс-уд-Давли! Если не у Шамс-уд-Давли, то у луноликой Санды. Но... Что же тогда делать нам, ученым людям, Абу Али? Что нам остается?..

Бируни спросил об этом так, что у Ибн Сины сжалось сердце. Он положил руку на колено Бируни:

— Устод! Ни у меня, ни у кого-либо другого из нас, кому дорога наука, дорога истина, нет права упрекать вас в том, что вы служите султану Махмуду. Знаю, отказались бы вы приехать, вас бы связали по рукам и ногам и привезли бы сюда. Я убегал, но удачно лишь до поры до времени... Но не это важно. Другое важно. В этом мире и добро, и зло — перемешаны. Хочешь искать истину, заниматься наукой — вот добро, — так иди к тем, у кого деньги и власть, кто сам есть зло, потому что ведь ни у нас, ни у простого люда нет средств, чтобы возвести ну вот хотя бы этот замечательный храм науки. Это ваше детище, учитель, хотя п р и к а з а л возвести его жестокосердый султан.

Лицо Бируни просветлело. Откинув голову, посмотрел он на небо, видимое через отверстие в потолке:

— Да, Абу Али, этот храм науки стал для меня единственным утешением. Когда на душе темнее ночи, прихожу сюда и успокаиваюсь, слежу за светилами, читаю, пишу, думаю. Как это сладко — думать!.. О тайнах природы и нашей жизни, о недолговечности и радостях человеческого бытия... Я все тебе покажу, Абу Али. Написанные мной календари, таблицы звезд!..

Ибн Сина с восторгом и любовью все смотрел и смотрел на Бируни.

— А Индия? Говорят, вы написали большую книгу про Индию? Она уже переписана?

Бируни горько вздохнул:

— Прежде чем отдать в переписку, я обязан показать ее султану Махмуду.

— Зачем?

— А затем, что... Ты говоришь так, Абу Али, будто не знаешь «справедливых властителей»... Стоит произнести мне «Индия», и султан Махмуд тут же думает, что это что-то вроде названия касыды про его победоносные походы. Он ждет книги, в которой воспевают его доблести война, ими он хочет остаться в истории рода человеческого. А моя книга «Индия» — совсем о другом. Это капля того моря уважения к великой стране, которое живет в моей душе с тех пор, как я там побывал.

Глаза Ибн Сины опять засверкали, подобно глазам молодого галиба — любителя знаний.

— О устод! Хоть одна-то переписанная книга найдется? Дайте на несколько дней!

Бируни прищурился:

— Пожалуйста, только так: ты дашь мне переписанный «Аль-Канон», я тебе — «Индию».

— Баш на баш?

— Баш на баш!

Да, лучше шутка, лучше не беречь старых ран. Но и шутка переходила у них в грусть — грусть мудрецов, бессильных победить зло этого мира.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В ту же самую ночь главный визирь Али Гариб вернулся из крепости Кухандиз в свой городской дворец. К этому вынудило его тайное послание от Хатли-бегим.

Доставил его в крепость Пири Букри. Он осведомил главного визиря о последних событиях во дворце. Хотел

было горбун после этого поведать и о своих бедах, высказать и просьбы тоже, но, прочитав послание Хатли-бегим, главный визирь так разволновался, что лишь краем уха слушал горбуна, а уж на просьбы его и совсем не хватило ни времени, ни терпения.

Блюдя осторожность, быстро собрались, поскакали в город. Сначала примчались во дворец особо шустрые слуги. Раньше главного визиря. Предупредили привратника. Тайность была соблюдена, их, кажется, никто не увидел. Дворецкий провел господина — а вместе с ним и Пири Букри — не парадным входом, а одним из боковых, и, против обычного, не на второй ярус, а в подвальные помещения, о которых мало кто во дворце и знал.

Помещение, куда они прибыли, состояло из двух комнат, соединенных между собой. И та, и другая комнаты были убраны по-нищенски бедно. В первой, в углу, приткнулось ветхое кресло, зато на полу во второй расстелили большой мягкий ковер, а на середину выставили восьмигранный столик на низких ножках; принесли и подносы с едой, довольно изысканной.

Значит, кого-то предстояло встретить.

Главный визирь снял с себя скромный черный чекмень и повесил его на крюк в стене, скинул и поношенную меховую шапку, вместо нее водрузил на голову бархатную тюбетейку с узором цветка персика. Вот и все приготовления.

Заложив руки за спину, Али Гариб стал ходить из угла в угол, а Пири Букри, сложив руки на груди, водил за ним глазами, что излучали преданность. Говорить не решался. Был похож на пса, который ждет кости от хозяйина, но — вот беда! — хозяин, отягощенный собственными заботами, видно, напрочь забыл о своем верном псе.

Главный визирь за две недели сидения за стенами Кухандиза сильно похудел, его обычно красненькое, как спелое яблочко, лицо посерело и осунулось; глаза-бусинки впали; короткая бурая шея утончилась так, что под подбородком, будто у старого индюка, повисли длинные складки кожи.

Пири Букри пребывал в растерянности: то ли продолжить рассказ о собственных невзгодах, то ли выразить сочувствие господину, то ли попросту молчать и стоять столбом, ожидая приказов.

Снаружи послышались легкие торопливые шаги, дверь распахнулась — в комнату вошла Хатли-бегим.

Вместо обычного черного платья на ней было красное бархатное, поверх платья — халат с короткими рукавами, обшитыми, как и ворот, желтой шелковой бахромой; кисейный розовый платок, чтоб закрывать лицо, небрежно откинут назад.

Хатли-бегим посмотрела сначала на главного визиря — тот остановился посреди комнаты, склонив голову, затем на Пири Букри, так и прилипшего к стенке у входа. Тонкие губы женщины раздвинулись в злой улыбке:

— А, почтенный жених! Ну, так смог ты взнудать кобылку свою или до сих пор не сумел?

«Ядовита, словно гадюка», — подумал Пири Букри и суетливо поклонился, загримасничал:

— Ах, госпожа... Истину изволили сказать, словно в воду глядите. Так что ж делать? Молода она...

— Она-то молода, а ты, ежели правду сказать, — мямля. Попроси — пришлю надзирательницу из гарема султанского. Они не таких еще взнудывали. Приведут к тебе, а хочешь, и тебя посадят на твою... брыкающуюся... научат джигитовать.

— Вечно благодарен вам буду, госпожа! — хихикнул Пири Букри и торопливо сунул руку за пазуху. — Ваш покорный слуга приготовил небольшой подарок для великодушной госпожи. Позвольте...

Резким движением руки Хатли-бегим остановила горбуна:

— Сейчас не до подарков. Есть вещи поважней в сто раз. А ну, выйди-ка отсюда, жених!

Конечно, Пири Букри выскочил в смежную комнату и, конечно, оставил дверь за собой слегка приоткрытой. Донесся властный и разгневанный голос Хатли-бегим (она и не думала шептать!):

— Натворил подлых дел, а потом затаился как мышь, так, что ли, господин главный визирь?!

А вот Али Гариб бормотал так, что прислушивайся не прислушивайся — ничего нельзя было разобрать.

Снова нетерпеливый громкий голос Хатли-бегим:

— Довольно! Оставьте свои слезы и стенанья! Не я нашла этого проходимца! Его нашли вы, господин главный визирь! И это вы, вы, трусливое ничтожество, столько лет прослужили моему брату, султану Махмуду! И кем — главным визирем! Да что же вы за главный визирь, если у вас не хватает ни ума, ни смелости убрать с дороги этого женоподобного красавчика?

Видно, Али Гариб подошел к двери и плотно ее закрыл — больше ничего не стало слышно из-за стенки.

Пири Букри всегда пытался узнать тайны, любые, про любого человека, в другое время он и здесь в стенку бы врос, но сейчас его душу грызла обида; волоча ноги, поплелся он к старому креслу и плюхнулся в него. «Ах, змея проклятая, язык бы тебе вырвать! Ведь прямо в сердце ударила ядовитыми своими словами!»

Больше месяца прошло, как нукеры Хатли-бегим выкрали Садаф-биби и тайно доставили ее к нему домой. Бесценного камня халифа Гаруна-ар-Рашида ради Садаф-биби не пожалел он, Пири Букри. Приобрел еще дом рядом со своей лавкой, украсил его не хуже дворца Али Гариба. Привел девушку в этот прекрасный дом, приставил к ней пожилую служанку. Вырядил ее с головы до пят в редкостные наряды. Открыл сундуки, спрятанные в глубоком подвале, вынул оттуда украшения для нее. В уши Садаф-биби продел золотые серьги, и на руки, и даже на ноги — по-индийски — надел золотые браслеты.

И что получил за свою щедрость?

Стоит Садаф-биби увидеть его — и девушка начинает дрожать, как ягненок перед пастью волка: лицо бледнеет, а в глазах вспыхивает такая ненависть и такая брезгливость — повеситься впору. А ночами? Никакого внимания не обращает ни на его вздохи, ни на угрозы, ни на увещеванья старухи служанки.

Хоть был он калека да и по возрасту близок к возрасту пророка, но мужские желания в нем еще бушевали. И без искусниц из гарема мог бы обойтись, захоти овладеть Садаф-биби. Пытался. Мог бы овладеть насильно, хоть дралась и царапалась эта нежная девушка ровно дикая кошка, не сдаваясь! И всякий раз он отступал, выскакивал с расцарапанным лицом, с выдранный бородой... и с разбитым, как брошенная на пол чашка, сердцем, потому что не так, не насильно хотел он сделать девушку своей, не «взнуздать», как сказала эта змея Хатли-бегим, а чтоб пропала из глаз Садаф безграничная ненависть, исчезла брезгливость с ее милого личика... Да, он самолюбив, но кто в этом мире не самолюбив? И кто способен терпеть столько, сколько он терпит? Держит себя в узде, хоть сердце разрывается от обиды!

Пожилая служанка, долгие годы жившая у Пири Букри, советовала ему прогнать Садаф-биби, снять с нее все наряды да и продать на базаре работорговцам. И обещала, если Пири Букри поступит, как она советует,

найти для него невольницу в сто раз красивей, в сто раз нежней и покладистой, чем эта дикарка необузданная. Но, как говорится, любовь шаха пала на лягушку, а сердцу не прикажешь, оказывается!

Дважды в жизни Пири Букри постигало такое унижение. От женщин, к которым его влекло с непонятной ему самому силой. Первый раз в родном Кяте, когда он увидел Райхану, дочь купца-христианина, отцова приятеля. Второй раз — когда встретила на его дороге Садаф! И что за шутки судьбы: и в первый, и во второй раз его дорогу пересек один и тот же человек — обуянный гордыней, но счастливейший из людей, везучий соперник — Абу Райхан Бируни. Почему именно он, чем он взял, этот нечестивец? Ученый? Ну, пусть ученый. Но сорок лет назад, в годы их молодости, он и ученым знаменитым не был, а через сорок лет, когда они снова встретились в этом городе, когда судьба снова столкнула их, Бируни перестал быть молодым. Не встретиться Пири Букри с Абу Райханом — вся жизнь пошла бы иначе. Да, да, несомненно... Он, хозяин этой девушки, за которую столько заплачено, каждую ночь валяется у ее порога, слыша ее плач, и что же еще? Слышит, как она молит: «Наставник! Наставник!» — о, молит не о спасении своем, молит в любовной лихорадке, и, когда он слышит, яд вливается в душу, сжигает тело изнутри!

А за что аллах лишил его самого большого счастья на этом несовершенном свете — счастья любви и отцовства? Разве его вина, что он калека? Кто сделал калекой? Прости, прости грешного своего раба, о всемогущий, но разве не по твоей воле сделался Пири Букри калекой?.. Сорок, нет, сорок пять лет тому назад, когда маленький, худой и босой Мухаммад, будущий ученый аль-Бируни, подметал базары, прислуживал лавочникам, Пири Букри был стройным синеглазым подростком. Да, немного бледным, да, болезненным, но горба-то на спине и в помине не было. Отец приехал в Кят с берегов Хазара¹, открыл большую лавку, преуспевал. Да простит аллах его грехи, но это отец первый возмечтал взять в жены сыну Райхану, дочь известного кятского торговца-христианина, возмечтал прибавить к своему богатству новое богатство...

Но... увы! Правду говорят, что не ищи беду — она сама всегда под ногами. Заболел он в очередной раз. Да так, что целую неделю лежал без сознания, весь горел в

¹ Х а з а р — Каспийское море.

огне от непонятной лихорадки. Однажды очнулся — видит у изголовья убитого горем отца, а рядом с отцом — ученого вида человека в белой одежде лекаря. На грудь подростка было надето что-то похожее на панцирь, а внутри этот панцирь был наполнен чем-то мягким, похожим на теплую густую грязь.

Лекарь... Глупец, видно, был. Или шарлатан. Когда через месяц сбросили панцирь, очистили тело от черной грязи и, приподняв под мышки, поставили на ноги, мальчик, объятый ужасом, тут же снова упал на одеяло: высокий и тонкий, он теперь оказался скрюченным, прежде впалая грудь теперь выперлась и на спине вырос безобразный, пугающий людские взоры горб.

Первое время он прятался от людей из-за этого неожиданного-негаданно выросшего горба, дни и ночи сидел в сыром подвале отцовской лавки. Мир стал казаться мрачней преисподней, он просил небо лишь об одном — о смерти. Даже родителей — мать и отца, и без того убитых горем, — не мог видеть! Вот когда тростниковый най стал ему единственным другом. Ему изливал он душу, жаловался на внезапно переломанную жизнь, не успешную расцвести, ему доверял боль сердца и слезы, которые беспрерывно проливал, которые превращались в печальные звуки тростниковой дудки в две пяди длиной.

Но его тростниковый плачущий друг, давая утешенье его душе, словно предрек смерть родителей. Сначала умерла молодая, но за год совсем поседевшая мать. Затем свалился отец. За три-четыре дня до кончины, глубокой ночью, отец позвал его из подвала в лавку, к своему одру.

— Прости грешного отца своего, сынок! — сказал, с трудом приподнимая голову с подушки. — Знаю, ты пострадал из-за моих грехов. Что делать, видно, таково повеленье аллаха! Поверь мне. Целый год меня мучает единственная мысль: что станет с тобой, когда закроются мои глаза, когда я уйду из этого мира? Я скажу тебе, а ты запомни, крепко запомни: род человеческий хуже голодных волков — те своих не пожирают, а люди... кто слаб, тот у них обречен. Но знай, дитя мое: силу человеку дает не красота, не стать, даже не знатность, сила — в богатстве! Сила султанов тоже не в короне, а в казне... Сдвинешь вот эти кирпичи в нижней нише стены. Там — видишь — яма. А в яме — два больших сосуда с широкими горлышками. Видишь?.. Так вот, запомни, сынок, — голова отца упала на подушку, слезы катились по его

седой взлохмаченной бороде.— Мне от деда твоего достался один сосуд с драгоценностями, тебе передаю два кувшина! Береги богатство, превыше всего береги, и оно послужит верно и в черные дни, и в счастливейшие.

Так сказал отец. И он оказался прав!

Богатство и впрямь выручало Пири Букри в тяжкие дни жизни. Ну, а в счастливые мгновенья?.. Да были ль у него счастливые мгновенья? В десять раз Пири Букри увеличил то, что оставил благословенный родитель. Два сосуда с драгоценностями превратил в двадцать. Но где оно, счастье? Богатство не дало ему Райханы-бану, на богатство не позарилась и Садаф-биби. Нет у него ни близкого друга, ни возлюбленной...

Горькие думы Пири Букри снова прервал гневный голос Хатли-бегим. Горбун соскочил с кресла, на цыпочках подкрался к двери, приложил ухо там, где между поверхностью двери и косяком зияла тоненькая щелка.

Хатли-бегим говорила так, будто каждое слово отрубала саблей:

— Используйте всех, кто вам предан из сотников. Пусть охраняют «Невесту неба» самые верные сарбазы. Никто не должен преградить дорогу во дворец настоящему Ибн Сине!

Пири Букри торопливо отскочил в сторону, заслышав быстрые твердые шаги Хатли-бегим. Она вошла в смежную комнату. Гневная, с красными пятнами на напудренном лице.

— А, жених! Вор остается вором и в раю: и здесь пытаешься подслушивать, а, старая крыса?

— Нет-нет! Ваш покорный слуга готов служить вам, моя госпожа! — Пири Букри сунул руку за пазуху своего халата и вытащил некую круглую вещицу, завернутую в домотканую тряпку. Подобострастно кланяясь, протянул приношение Хатли-бегим: — Редкостный браслет, работы багдадского ювелира, госпожа. И украшен редкостными камнями.

Хатли-бегим хотела было протянуть руку к подарку, но тут же и отдернула ее.

— «Редкостный браслет»! — передразнила она горбуна.— Посмотри-ка на тряпку, в которую ты завернул этот багдадский браслет. От одного взгляда на нее человека может вытошнить... Возьмите браслет, господин главный визирь! Потом пусть отнесут ко мне.— Хатли-бегим посмотрела на согнутого в поклоне Пири Букри, презрительно усмехнулась: — Жених должен держаться гордо. Ну,

да так и быть — завтра пришло тебе кое-кого из гарема. Поможем тебе, поможем, Паук.

И со злой улыбкой на тонких губах Хатли-бегим вышла из комнаты.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

1

Посланцы Хатли-бегим — вернейшие из верных ее сарбазов — приехали за Ибн Синой лишь спустя четверо суток после того, как великий исцелитель появился в Газне.

Казалось, оба ученых, и Бируни, и Ибн Сина, напрочь забыли обо всем на свете, кроме нескончаемой беседы, которой они были поглощены в обсерватории. Беседы эти обычно начинались за утренним чаепитием и продолжались до полуночи, а однажды так и до рассвета. Они с жадностью утоляли жажду общения друг с другом: говорили о жизни, о Вселенной, о совершенстве законов природы и несовершенстве человеческих деяний. Они, как и раньше случалось, спорили — отчасти о том же, о чем спорили некогда: о причинах жизненной силы, несомой солнечными лучами, о влиянии тепла и холода на плоть живую и мир минералов, о способах измерения расстояний. О, теперь Бируни следил тщательно за тем, как ему вести спор с Ибн Синой, подбирая возражения такие, чтоб и тени колкости в них не было. Никогда Бируни не сомневался в могучем уме Ибн Сины, а перед его знаниями врачевателя преклонялся. Но только теперь, когда Бируни сидел рядом с Ибн Синой в тихих, тронутых вечерним покоем комнатах «храма уединения», слушая самого Ибн Сину, когда тот объяснял логику построения книг «Аль-Канон» и «Аш-Шифо» или доверительно высказывался о поэзии и музыке, тем паче о философии, — только теперь Бируни прочувствовал истинное величие этого человека, синеглазого, лобастого и насмешливого.

Бируни поистине уверовал — не просто по соображениям рассудка, но сердцем, интуицией, — что Ибн Сина обладает не только великолепной наблюдательностью, острой пронизательностью, без чего не способен успешно действовать любой настоящий врачеватель, но и непередаваемым в слове, в термине, тончайшим чувством предрасположенности к распознаванию причин заболевания у человека, а стало быть, и к отысканию спо-

собов лечения. Ибн Сина рассказывал о приемах выслушивания кровотока в сосудах, и открывалось Бируни, что по нему, оказывается, можно постичь, как работает не только сердце, но и печень, и даже почки человека, а слушая про все это, Бируни одновременно прислушивался к собственным мыслям о том, что даровитых людей много среди ученых, но великих, одаренных божественными способностями, — единицы на тысячи, и вот перед ним один из этих единиц-гениев, и, слава аллаху, это добрый к людям гений.

О явлениях природы они могли спорить, об устройстве человеческого тела и способах врачевания приличествовало говорить из них двоих лишь Ибн Сине, но когда беседа приходила к обсуждению извечных и изначальных вопросов: «Что есть жизнь?», «Где ее первопричина?», «В чем смысл жизни?» — вот тогда слова и мысли одного особенно близко сходились со словами и мыслями другого.

Бируни признавал две субстанции жизни — и ту, что есть природа, и ту, что есть дух. И обе субстанции взаимосвязаны. Ибн Сина присоединялся к такому мнению, только не забывал добавить, что и в природе, и в духе проявилась «первая причина» — не первый толчок в некоем времени, а воплощение творца всего сущего во всем сущем. Мир — это цельное бытие, где все необходимо и взаимосвязано и не зависимо ни от чего, кроме отношений причин и следствий... Бируни слушал собеседника, и слушаемое было созвучно с тем, что долго ворочалось и в его собственном сознании: да, «первая причина», она — во всем, но разве она управляет всем, разве мир не движется кругами взлета и возврата, сам по себе?.. Это затаенное (поди-ка выскажи это вслух улемам, которые только и твердят всегда: «воля аллаха», «воля аллаха»...) совпадало с глубокими философствованиями Ибн Сины, приносило Бируни душевное удовлетворение.

И вот еще вопрос, что терзал обоих: если мир, воплощение творца, существует на основе великих необходимостей, где все — начиная от движения планет до цикла жизни мотылька — свидетельствует о закономерности, о целесообразности, а стало быть, оправданности и справедливости, почему же род людской ведет свою жизнь на иных началах? Нус, говорит Ибн Сина, то есть разум природы, целесообразен, но он не может логически объяснить, почему нус рода человеческого — в плену невежества и жестокости?

И снова из сфер горних, с высей философских спу-
скались они в мир реальной жизни, где так мало спра-
ведливости и правды.

Бируни старался как можно дольше оттянуть тот миг, когда придется рассказать Ибн Сине о нынешних делах, творимых борющимися кликами в Газне, в том числе и о злополучном лжелекаре, который, выдав себя за Ибн Сину, уже сел султану на голову. Оскорбительная история! Не обидно ли будет Абу Али узнать, что какой-то проходимец... Случилось, однако, так, что Абу Убайд, услышав эту историю, нарочно ли, нечаянно ли, но посвятил в нее своего устода, так что сегодня Ибн Сина сам вдруг заговорил с Бируни обо всем этом и попросил поведать ему и подробности.

Узнавая их, Ибн Сина сначала грустно улыбался, а в конце рассказа неожиданно расхохотался по-детски громко.

— Вот ведь как великолепно получилось, лучше не надо! — сказал он, продолжая смеяться. — Ложный ли тот врачеватель Ибн Сина, настоящий ли — какая разница: раз он вылечил султана, значит, одержал победу! Хвала ему и честь! И выходит, учитель, я теперь спокойно могу вернуться в Исфахан.

Бируни лишь покачал головой. «Ох, дорогой ты мой брат! Если б можно было получить разрешение на твое возвращенье! Ты и не ведаешь, что находишься в плену, — пусть и в убежище звездочета. Его тоже сделали для тебя темницей... Да поможет тебе аллах вырваться из этой ловушки!»

Вечером, когда зажгли свечи, Бируни, прежде чем приступить к наблюдению за звездами, полувсерьез приступил к составлению гороскопа. Что-то там готовит в дальнейшем судьба Ибн Сине? По правилам звездочетов он еще днем определил состояние солнца в полдень, ну, а ночью составил таблицу светил, дабы выяснить затем углы противостояния надлежащих звезд. Повеселел: выходило так, что как раз в ближайшие дни для Ибн Сины начнутся счастливые времена, звезда его стояла высоко... Ну что ж, будем верить!

И Бируни, смеявшийся над предсказателями-звездочетами, стал с великой радостью пересказывать Ибн Сине то, что предвещали звезды. Увлекательный этот рассказ прервал черный, будто негр, сарбаз в зеленой чалме, к которой было прикреплено малюсенькое копьё — значок гонца особой важности... Да, да, это был рябой

мушриф, который не столь давно привез в Газну ложного Ибн Сину, изрубив в капусту сарбазов Хатли-бегим; теперь он, как видно, перешел на ее сторону.

Бируни, увидев знакомого мушрифа, растерялся, но взял себя в руки:

— Вот он, вестник начала добрых предзнаменований звезд, дорогой Абу Али!

Ибн Сина с постоянной своей задумчиво-мягкой улыбкой на лице двинулся к выходу.

2

Шахвани, когда впервые услышал о появлении настоящего Ибн Сины, не очень-то испугался: сильно был тогда хмелен. Но, протрезвев, впал, ежели правду сказать, в уныние.

Шахвани был человеком рискованным; знал, что рискант опасность, но, когда приступал к «лечению» султана, сильнее всего верил в свою удачу, надеялся, что она перевесит все опасности и на этот раз. А еще он надеялся на много раз проверенную силу воздействия опиумных шариков. Боли снимают. Настроение больного улучшается. Вот и султан благодаря шарикам поднялся с постели, да так скоро, что и сам Шахвани несколько удивился.

Что явилось причиной столь быстрого выздоровления султана? Не одни ведь шарики загустелого макового сока. Скорее — те лекарства, которые он в дополнение к опиуму давал султану, сверяясь с предписаниями «Канона» истинного Ибн Сины, хотя Шахвани, конечно, не установил, чем же болен султан Махмуд. Ну, а может быть, все дело в волшебном имени — Ибн Сина?.. А, в конце концов, не стоит ломать над всем этим голову, надо верить в свою звезду, в свою удачу!

Так-то оно так, и не ему, «Ибн Сине»-Шахвани, впадать в уныния и сомнения, да вот беда — в самые последние дни, когда распространился по городу слух о прибытии в Газну настоящего Ибн Сины, что-то произошло и с султаном, хотя вряд ли о прибытии ему известно. Состояние здоровья повелителя несколько ухудшилось.

Отчего бы это? Привык организм к опиуму? Привыкли султан и придворные к нему, «Ибн Сине», уже не испытывают благоговения? К тому же еще этот толстога-

дый бабник Абул Хасанак, в последние дни ставший су-етливо-беспокойным, сегодня притащил во дворец известие, пожалуй, неприятней всех иных неприятностей: будто бы сестра султана, им до сих пор ценимая, вызвала к себе старого дьявола Али Гариба, что прятался до того в крепости Кухандиз, вызвала и будто сказала ему: «Ты сам нашел этого пройдоху лекаря, все запутал,— теперь сам и распутывай весь клубок!» И вот теперь Али Гариб, получив поддержку Хатли-бегим, всю использует недовольных эмиров, отстраняет повсюду сторонников Абул Хасанака. Даже у ворот дворца на страже ныне стоят люди главного визиря и султановой сестры. И при такой обстановке Хатли-бегим, говорят, хочет сегодня вечером представить султану истинного Ибн Сину, прибывшего из Исфахана.

Абул Хасанак рассказывал, и панический страх метался в его глазах. Первой мыслью, пришедшей на ум Шахвани, была мысль о побеге — немедленном и стремительном. Но тут был такой риск, такая опасность, которые — как он сразу почувствовал внутренним чутьем — могут его запросто и по-глупому погубить. От первой какой-нибудь стрелы при погоне. И он «проглотил» мысль о побеге, что мелькнула было в голове.

— Вы узнавали, почтенный, каково состояние духа покровителя правоверных? — спросил Шахвани, пытаясь подавить в себе темный страх.

— Покровитель правоверных еще спит. Лекарства, которые вы дали ему ночью...

— Сон — признак здоровья, — перебил он визиря. — Когда хочет заявиться сюда... эта... коварная Хатли-бегим?

— Все нечистые дела свершаются ночью.

— Одна или с... исфаханским проходимцем, который выдает себя за Ибн Сину?

«Посмотрите-ка вы на него! Тот Ибн Сина — проходимец! А он, стало быть, настоящий! Ну и дьявол!»

Абул Хасанак не без злорадства сообщил:

— Будет и прибывший из Исфахана. И придет не один, рядом будет свидетель!

— Свидетель?

— Да, ученый-нечестивец Абу Райхан Бируни. Этот человек уверяет, что он-то и знает в лицо настоящего Ибн Сину.

— «Настоящего Ибн Сину!» — передразнил Шахвани, и в глазах его вспыхнули злые огоньки. — Мне кажется,

господин визирь тоже поверил, что этот проходимец, ставленник Хатли-бегим, и есть Ибн Сина?

— Да нет, я...

Будто рубанув саблей, Шахвани махнул рукой вверх-вниз, вновь прервал Абул Хасанака:

— Вина и еды, господин визирь! — И добавил мигом позже, когда Абул Хасанак дошел до дверей: — Да, пока не забыл, хочу предупредить: повелитель мира будет спать до самого захода солнца. Только проснется — сразу же дайте ему вот это лекарство, — и протянул испытанный шарик, завернутый в шелковую тряпицу.

— Будет исполнено, но... повелитель правоверных, как только просыпается, сразу спрашивает вас.

— Придумайте какую-нибудь отговорку. Я буду у него после вечерней молитвы. А до того... велите-ка найти самые выдержанные, самые лучшие в Газне вина. Коли надо будет, пошлите человека... к Маликулу шарабу! Самые выдержанные, самые лучшие! Понятно? Запомните, господин визирь: от этого зависит наша с вами судьба. Надо, чтоб повелитель был в добром состоянии духа. Вовремя дайте лекарство и тут же — чашу хорошего пряного вина! Об остальном я позабочусь сам! И да поможет нам аллах!.. Да, подождите-ка, еще одно слово. В случае нашей удачи и... ну, когда покровитель правоверных прогонит... плута, который выдает себя за меня, необходимо будет тотчас... убрать проходимца.

Наедине с самим собой Шахвани, однако, подрастерял уверенность, которой только что хотел заразить общника.

Ну как, в самом деле, преодолеть ему надвигающуюся напасть? Ничего не придумывается, сколько ни мерь шагами эту комнату, устеленную богатыми коврами.

Какие меры принять, ежели достопочтенная стерва Хатли-бегим, любимая сестра, не уступавшая брату-султану во властолюбии и коварстве, приведет господина Ибн Сину — настоящего! — к повелителю? Ответа не находилось.

Облегчение душе принесли доброе вино да горячий шашлык. Отдал им щедрую дань, снова зашагал по богато убранной комнате и вдруг остановился как вкопанный. Блеснула интересная, да что там — диковинная мысль!

Шахвани торопливо потянулся за следующим кувшином вина. Опрокинул еще несколько чаш одну за другой. Прилег на одеяла.

Хотелось отточить, до мелочей продумать мысль, молнией блеснувшую в голове. Но еще хотелось и подремать, потому как переживания и тревоги последних дней совсем изнурили великого врачевателя.

Пробудил Шахвани толчок в бок. По оплывшим свечам, расставленным в нишах, Шахвани догадался, что была ночь.

— Вставайте, господин лекарь, покровитель правоверных спрашивает вас!

— Как настроение у благодетеля?

— Настроение у солнца нашего мира хорошее, но... сейчас эта ведьма Хатли-бегим приведет того плута...

Шахвани невольно вздрогнул, но тотчас припомнил спасительно-дикувинную мысль, посетившую его недавно, и, усмехнувшись ей уголками губ, встал с постели.

До опочивальни султана дошли быстро.

Махмуд лежал весь в подушках, упрямо глядя на дверь, которая вела в находившуюся рядом со спальней «комнату наслаждений». Перед султаном стоял шестигранный столик, как обычно, полный яств и напитков, — среди последних особо выделялось розовое вино в хрустальных индийских графинах. Султан не любил яркого света: в опочивальне царил некий двусмысленный полумрак. Казалось, что ожидается некое интимное пиршество — вот-вот появятся музыканты и кудесницы гарема.

Шахвани поклонился повелителю чуть ли не до самого пола. Хотел было остаться у порога, но султан повернул голову к вошедшему, благосклонно указал взглядом на место рядом с ложем. Шахвани украдкой глянул на повелителя, облегченно вздохнул: вино с опиумом оказало то самое действие, которого он и хотел добиться. На тонких губах султана играла хмельная улыбка, в глазах, полукругом снизу охваченных синими набрякшими мешками-отеками, вспыхивало нечто озорное. Нет, недаром, недаром вперялся он в дверь, ведущую в мир услад и утех.

— Что это с вами, великий исцелитель, вы чем-то озабочены? — спросил вдруг султан. — Сегодня, вопреки обычному, вы выглядите немного грустным. Да и где пропадали целый день?

— Как всегда, я готовлю лекарства для вас, благодетель!

— Хвала, хвала вам! — ровно произнес султан, поглаживая редкую свою, в густой седине бороду. — И слава создателю! Прежде всего, по его великодушию, ну, и

благодаря лечению мудрым я сегодня чувствую радость в душе, а также спокойную силу в теле... Что-то вы устали, мне кажется. Возьмите-ка выпейте-ка, выпейте винца, и да возрадуемся!

Шахвани горестно-отрицательно покачал головой, тяжело вздохнул.

— Да что за вздохи? Что случилось, наконец, скажите, исцелитель!..

Шахвани еще усердней и горестней завертелся, с дрожью в голосе произнес:

— Солнце нашего неба! Пусть все, какие есть в подлунном мире, невзгоды падут на головы грешников, подобных вашему слуге. А вы, тень аллаха на земле...

— Да по стойте же, по стойте! — султан великодушно улыбался. — Какая печаль грызет вашу душу, выложите мне ее.

— Если повелитель великодушно простит своего раба...

— Говорите, великий исцелитель, говорите!..

— Если быть откровенным... — Шахвани, как бы не решаясь начать, помолчал с минуту. — Сегодня ночью мне приснился плохой сон, я даже боюсь его рассказывать, благодетель!

— Плохой сон? — Султан отодвинулся от края постели, близкого к Шахвани. — Ну?

— Снилось мне, что вернулся главный визирь, которого покровитель правоверных послал за божественными плодами.

Султан резко побледнел, нетерпеливо спросил:

— Ну и что? Привез он ягоды... хотя бы во сне?

Шахвани опять с огорчением покачал головой:

— Вот и в моем сне вы задали тот же вопрос... главному визирю.

— Ну? — Султан даже приподнялся на постели. — Что ответил мой главный визирь?

— Ваш визирь... Этот бессовестный упал к вашим ногам и сказал, что он божественных плодов не нашел.

— Хм-м...

— Но это не все, повелитель! Старый плут — в моем сне — кричал: «Пусть простит меня покровитель правоверных, я не нашел божественных плодов, но вместо них нашел и привез в Газну господина Ибн Сину!»

— Ибн Сину?

— Именно так, благодетель! Старый лис привел какого-то человека и называл его Ибн Синой, в моем сне

это был... мой двойник. Он был похож на меня, как бывают похожи два ягненка-близнеца!

— Поистине удивительный сон! — Султан взял со стола пиалу, наполненную розовым вином, медленно выпил вино, отер подбородок. — Да, и впрямь удивительный сон! Ну, а дальше что было?

— А дальше... Дальше вы спросили главного визиря: «Если ты привез Ибн Сину, тогда кто же это?» — сказали вы, указывая на меня... И вот старый лис заплакал: «Солнце мира! Тот человек, о котором вы спросили, — не настоящий Ибн Сина, это разбойник, который грабит людей, называя себя Ибн Синой, а настоящего Ибн Сину нашел я и привез его к вам».

Султан задумался. Как-то незаметно улыбка сползла с его бескровных губ, и скуластое желтое лицо опять стало похоже на холодную маску.

— Теперь скажите: чем кончился ваш странный сон?

— Он кончился тем... — Шахвани, словно задыхаясь, сглотнул подступивший к горлу комок страха, нанграного и не совсем нанграного. — Увы! Повелитель, вы поверили словам этого ябедника и бедного вашего слугу отдали в руки палачам!

Султан хрипло и глухо рассмеялся:

— Вот так сон!.. Огорчительный конец... Но... не тревожьтесь пока, исцелитель! Мудрецы говорят, что вода не течет вспять, а сон... сбывается наоборот!..

Ах, как вовремя произнес он эти слова!

Может, он что-то и еще сказал бы, но тут неожиданно негаданно в комнату вошла Хатли-бегим.

Шахвани много слышал об этой женщине, а видел ее впервые.

Было от чего вздрогнуть!

Вся — с головы до ног — в черном. Сквозь тонкую прозрачную кисею на лице сверкают, прямо обжигая, глаза. Не по летам легко подлетела к ложу султана, упала, словно сбитая стрелой птица, к его ногам.

— Брат мой единоутробный! Повелитель наш!

Султан нахмурился, положил свою костлявую руку на дрожащее плечо плачущей сестры:

— Что за хождение ночью? Кто тебя послал ко мне, сестра?

— Брат мой единоутробный! — воскликнула снова Хатли-бегим и зарыдала пуще прежнего. — Покровитель правоверных... Тот, кто никогда прежде не пропускал ни одной молитвы... а теперь... теперь это грешное вино, эти

застолья!.. Откуда, откуда явился к вам этот мошенник и колдун, сбивающий людей с пути истинного?

Султан быстро убрал руку с плеча сестры, будто обжегся:

— Это что за лживые наветы, Хатли? Называешь мошенником прославленного на весь мир великого врача-человека, он ведь исцелил, избавил от тяжкого недуга и меня, брата твоего, что был при смерти!

— Поверьте мне, брат мой! — Хатли-бегим резко отбросила на плечо черную кисею с лица, мокрого от слез. — Аллах ведает, что этот колдун не настоящий Ибн Сина, это лже-Ибн Сина, поверьте мне, брат мой! Настоящий только-только приехал — поверьте моим словам! — сейчас приехал в благословенную Газну!

Шахвани многозначительно взглянул на султана:

— О создатель! Сон это или явь?

Хатли-бегим вскочила на ноги, быстрой птицей подлетела к двери и торопливо распахнула ее:

— Где вы, великий исцелитель, досточтимый господин Ибн Сина? Пожалуйте сюда!

Шахвани заерзал, заторопился было подняться, но султан с холодной улыбкой на лице-маске остановил — положил руку ему на колено: сиди, мол, спокойно.

В дверях показался человек в ладном парчовом халате под белоснежной мантией; зеленая бархатная тюбетейка чуть выглядывает из-под тщательно повязанной белой серебристой чалмы. Достоинство, степенность — и полыхающие любопытством синие глаза. Человек остановился у двери, сложив на груди руки, склонил голову в неглубоком, но почтительном поклоне. Коротко, но внимательно посмотрел на султана. Затем перевел взгляд на сидящего рядом с султаном Шахвани.

«Опиум! Маковая отравка... Нездоровые глаза нарочито возбуждаемого человека... А этот человек в облачении лекаря?.. Подожди, Абу Али, подожди, где ты видел его? Горбоносого мужчину, и впрямь похожего на тебя? Где? Припомни!»

В грозной тишине послышался тревожный шепот Шахвани:

— О праведный аллах! О всемогущий создатель! Это — мой сон! Все, что приснилось мне, сбывается, благодетель!

Хатли-бегим вслушивалась в шепот, не понимая его смысла, но вид Шахвани, который доверительно склонился к султану, вновь заставил ее закричать: «Брат мой

родной!» — и рвануться вперед. Но султан, подняв костлявую руку, остановил ее, не дав подбежать к себе близко.

Он грозно глядел на Ибн Сину, стоявшего у порога. Потом в упор посмотрел на Шахвани, продолжавшего шептать что-то о своем ясновидении во сне.

— Уму непостижимые явления! На одном месте, в одно и то же время — два Ибн Сины, два великих исцелителя! Кто разгадает удивительную тайну?

— Брат мой единоутробный!

— Погоди, Хатли! Пусть сначала ответит на мой вопрос твой исцелитель.

Ибн Сина продолжал с нескрываемым удивлением разглядывать человека, сидевшего рядом с султаном. «Нет, Абу Али, ты не ошибся, ты видел этого человека! Видел! Встречал! Но где? Когда? О творец! Неужели это... Абу Халим ибн Файсал из родной Бухары, из Джуи Мулиен? Тот Абу Халим, которого за распутство называли Шилким, Шахвани, избалованный сынок некогда известного лекаря? Он! Он самый!.. А султан? Неужели этот высохший человек, мучимый болями в желудке... да, по всем признакам, твердой опухолью в животе мучимый, и, увы, уже такой, что ее не излечишь... вот этот, одурелый от вина и опиума, с холодными уже конечностями, я это предполагаю наверняка... этот человек и есть знаменитый завоеватель, султан Махмуд Газнийский, пугавший собою весь мир на протяжении сорока лет?»

Ибн Сина почувствовал, как закружилась вдруг голова. «Мало, очень мало осталось жить этому скелету, и держится его плоть только гордыней — грозной силой даже и в нем, нынешнем». Глухой, хриплый голос повторил:

— Ну, почему в рот воды набрал? Говори, если ты великий исцелитель.

— Да прости меня повелитель-султан, — сказал Ибн Сина, с трудом отрываясь от своих мыслей. — До сегодняшнего дня не сомневался в том, что Абу Али Ибн Сина — это я. Но вот, увидев этого почтенного господина, — засомневался...

Шахвани придвинулся к султану совсем близко:

— О аллах! Это — мой сон! Вы видите — то, что мне приснилось, вот оно — наяву, благодетель.

«Сон? Ах да, сон этого... моего Ибн Сины». Султан встрепенулся, приосанился, желая на руках подтянуться к высокому изголовью из подушек.

— Кто тебя послал сюда, в мой дворец, эй, грешный раб? И где главный визирь, где божественные плоды?

Хатли-бегим снова бросилась к ложу султана, опустилась на колени, стала целовать большие, в бурых пятнах руки брата, разжавшего их в бессилии.

— Солнце наше! Послушайте сестру свою! Господина Ибн Сина нашел не главный визирь. Этого великого мудреца прислал, повелитель, верный ваш сын и наследник престола эмир Масуд.

Услышав это имя, султан сразу же обрел силы — для яростного вскрика:

— Ну, если это эмир Масуд прислал, то нужно опасаться! Опасаться! Опасаться!

— Брат мой единоутробный! — Хатли-бегим, не отступая, продолжала покрывать поцелуями ладони султана. — Почему вы не верите родной сестре своей? Есть ведь люди, которые знают этого великого лекаря. Спросим мавляну Бируни!

— Зачем нам мавляна Бируни? Кто из них настоящий Ибн Сина, я сам сейчас отгадаю! — Султан вырвал ладони из рук сестры, подался вперед: — Где растет пужное нам дерево с божественными плодами-ягодами? Настоящий Ибн Сина должен знать это! У него должно быть лекарство из этих плодов. Ну! Говори!

— Хвала вам, солнце мира! — Шахвани всплеснул руками. — Нет способа проверки более быстрого и ясного.

Ибн Сина вспомнил, как Бируни рассказывал ему о мании султана. «Божественные плоды», «чудесное дерево»... Поистине, кого бог хочет покарать, того он сначала лишает здравого смысла. Впрочем, твердая опухоль не только обессиливает тело, превращая его в плоть, разъедаемую нарывами и язвами, нет, она часто доводит больных людей до помрачения рассудка... Так что винить в этой мании надо не ум султана, а его болезнь.

Ибн Сина продолжал стоять у порога. Гнев его на султана сменялся досадой на тех, кто дал султану запустить его болезнь. «Поздно теперь... И не хочю».

— Эй, господин лекарь, что молчишь? Потерял дар речи или оглох? Настоящий Ибн Сина знает, как ответить на мои вопросы!

— Простите меня, грешного раба аллаха! — сказал наконец Ибн Сина. — Но поистине я поверил, что я — не Ибн Сина, ведь я не в силах ответить вам, повелитель, —

не знаю, где растут божественные плоды и какое лекарство делают из них...

Султан достал из-под подушки трещотку, собрался вызвать стражу. Но Ибн Сина неожиданно властным движением руки привлек еще на миг внимание больного к себе. В больших синих глазах, в нахмуренных густых бровях, во всем гордо-спокойном облике Ибн Сины ощущалась такая сила внушения, что султан невольно подчинился этой силе и застыл с поднятой трещоткой.

— Мы, лекари, никогда и никому, даже врагам своим, особенно если они поражены недугом, не желаем плохого! — Ибн Сина отчеканивал каждое слово. — И я желаю вам, повелитель, избавленья от болезни... от болей... А господина великого исцелителя... — Ибн Сина указал на ерзавшего Шахвани, — ...господина Шахвани поздравляю с изменением имени!

Шахвани вскочил с места:

— Повеление султана. — повеление аллаха! Где Абул Хасанак? Пусть уберут отсюда этого обманщика!

— Брат мой, брат мой! — вся в слезах, Хатли-бегим еще продолжала причитать.

Но вот султан протянул руку за кувшином вина — и она бросилась к двери. Через мгновение все услышали за дверями, как она закричала яростно и грубо:

— Отпустить господина Ибн Сину! Отпустить! Тебе говорю, Абул Хасанак, тебе, бабья задница!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

1

О презренный мир! О людская глупость! Где же твое всевидящее око, создатель всего сущего? Где справедливость? Творец «Аль-Канона» и «Аш-Шифа», великий исцелитель, шах ученых, объявлен самозванцем; хитрец и пройдоха, дурная придумка двух хитрецов и пройдох, объявлен подлинным Ибн Синой! Великий ученый, честнейший из честных, с оскорбительными словами, чуть ли не пинками выгнан из дворца, а дьявол, запятнавший собою имя Ибн Сины, утопает в довольстве и роскоши! Нет, мир обезумел, обезумел, да и только!»

Бируни душил гнев. Нет, не одного Ибн Сину обидели жестоко, но и его самого; не одного Абу Али прогнали, но и его, Абу Райхана!

Он все ходил и ходил, не останавливаясь, по круглому залу наблюдений за звездами, натываясь то и дело на приборы и стулья, которые, казалось, беспорядочно нагромождены были в обсерватории. Ходил, возбужденно размахивая руками и восклицая: «О проклятый мир! О глупость людская!»

А Ибн Сина, напротив, держался спокойно. Спокойней, чем обычно. Он пытался успокоить и Бируни, улыбаясь своей полунасмешливой, полупечальной улыбкой:

— Не горюйте, учитель! Ничего особенного не происходит. Вы же лучше всех знаете, что с тех пор, как началась история человечества, мудрецы-ученые — в унижении, а невежды — в почете. Так стоит ли удивляться, учитель?

— Да я и не удивляюсь, Абу Али! Горькую истину, тобой высказанную, я тоже знаю. Знать-то знаю, но душу этим знанием не успокоишь. Сердце плачет, оно страдает из-за попранного достоинства таких людей, как ты, дорогой мой!

— Молитвы мудрых не всегда доходят до небес, не дошла и на этот раз наша с вами молитва. Но худа нет без добра, и, сказать правду, я, покорный ваш слуга, даже благодарен судьбе за разыгранную шутку. Я не Ибн Сина, а значит, не мне и лечить султана — кстати, жить ему осталось очень, очень недолго. Теперь единственное мое желание — как можно скорей, может быть, сегодня, уехать отсюда.

Бируни перестал ходить. Наклонил голову в знак согласия:

— Да, ты должен уехать, дорогой мой, поскорей уехать из этого неблагодарного, бесславного города. Но... как ты уедешь? Нужны лошади, запас еды, люди, которые бы сопровождали тебя в дороге!

Ибн Сина по-детски беспечно рассмеялся:

— Э, что там лошади и сопровождающие... Главное сейчас — выбраться из обсерватории, она ведь окружена сарбазами, уж не знаю чьими — Хатли-бегим, или Абул Хасанак, или главного визиря. Если выберусь, то дальше дорогу найду.

— Нет, дорогу найти будет не так-то легко, как ты думаешь, Абу Али! Ты не представляешь себе, сколь далеко простираются руки султана Махмуда, его сыщики, соглядатаи, наемные убийцы...

— Не беспокойтесь за меня, учитель! В Газне должен быть один дервиш, его зовут Маликул шараб! По-

можете мне найти доступ к нему, этого будет достаточно.

Бируни широко раскрыл глаза:

— Маликул шараб! А ты... откуда знаешь его, Абу Али?

Абу Али снова рассмеялся:

— Ну как же иначе? Ведь говорят про меня, что будто бы нет тайны, мне неведомой... Есть такие тайны, но Маликула шараба я знаю... И еще — тех смельчаков, которые неподалеку от Газны точат сабли на султана Махмуда.

— Кто же стоит во главе смельчаков?

Ибн Сина посмотрел на дверь, тихо сказал:

— Исмаил Гази.

— Имам Исмаил?

— Он самый... А связан с ним Маликул шараб. Мститель отомстит и за наши печали, учитель. Нужно только найти Маликула шараба.

Вышел ли из темницы Маликул шараб — этого Бируни не знал. Видно, придется поломать голову, прежде чем Маликул, если он на свободе, им «откроется». Да, но откуда Абу Али знает Маликула шараба да еще имама Исмаила? У Маликула шараба с имамом Исмаилом тайные связи — и об этом ведомо не ему, Абу Райхану, близкому другу «повелителя вина», а Ибн Сине, который обитает за сотни и сотни фарсангов от Газны. Он, Бируни, тоже слышал об имаме Исмаиле, который, скрываясь в горах, держал в страхе высокомерных беков, эмиров, сановников и богатых купцов, но, как говорят, ни разу не причинил беды никому из бедняков. Его пытались поймать, но тщетно — он уходил от войска султана и от его ищеек.

Бунтовщик проклят в мечетях, а простой народ, говорят, его любит, ему верит.

Ибн Сина сказал не без смущения:

— Да вы не беспокойтесь особенно, учитель! Если не Маликул шараб...

— О Маликуле шарабе я непременно разузнаю, — Бируни словно вышел из задумчивости. — Сегодня же разузнаю и сообщу тебе.

— Но, ради аллаха, будьте осторожней, — Ибн Сина словно прочитал намерения Бируни. — Я не прошу себе, если из-за меня с вами случится что-то плохое. И еще: если сюда придут воины Исмаила Гази, будет пролита кровь. А я, ваш покорный слуга, этого уж никак не хочу!

— Я открою тебе тайну, одну из немногих, которые

неведомы даже тебе, Абу Али! «Храм уединения» стоит на вершине холма, внутри которого есть подземный ход. Он ведет далеко в горы. И знают о нем двое: султан, который и приказал в свое время вырыть подземный ход, и я.

Ибн Сина удивленно-вопросительно взглянул на Бируни:

— Я уйду этим ходом, а вы? Не навлеку ли я беду на вас, учитель? Ведь я же сказал, что не прощу себе...

Бируни жестом пренебрежения прервал друга. Прикоснулся к своему лбу. Сказал:

— Многие беды навлекала на себя эта голова, Абу Али. А вот пока живет, даже мыслить пытается. Говорят ведь: что судьба записала на лбу человека, того не миновать... Опасностей я не боюсь. Мира брэнного, подлунного боюсь, нечестивых дел в нем слишком много, чаша полна до краев.

— Что же делать, учитель? Не нам, видно, дано изменить мир.

Бируни опять охватил приступ яростного гнева,— с годами, он чувствовал, такие «взрывы» случались все чаще.

Ученый вновь зашагал по зале, безостановочно, шумно, опрокидывая кресла и тут же на ходу подымая их.

— Нет, не могу смириться, не могу, Абу Али! Мир брэнный, старый-престарый, без начала, как ты говоришь, пронизан нусом — разумной целесообразностью, весь мир, кроме... кроме людской жизни. Где ты в нем видишь нус, Абу Али?.. Прости меня, о создатель! Ты создал человека из глины, дыханьем своим внедрил в него жизнь, но зачем вместе с жизнью внедрил ты и глупость, и злобу, и себялюбие, толкающее на любую подлость? Зачем наделил низкими вожделениями? Почему, одарив человека пронизательным разумом,— его, его одного из земных существ! — не сделал ты так, чтоб использовал он этот разум лишь в высоких целях?

Бируни, будто ожидая ответа с неба, остановился на миг точно под отверстием в потолке. И вновь зашагал. И вновь загремел его голос, угрожающе-хриплый и одновременно безнадежно-усталый:

— Прости раба своего грешного, о создатель сущего! Я не верю твоим богословам, пленникам невежества. Не верю, когда улемы твердят, что без твоей воли не погибнет и не родится даже муха. Я тоже, как и мой собрат Абу Али, полагаю, что мир зиждется на разумной целе-

сообразности. Но как же мне не гореть от стыда, не страдать, видя людскую низость и глупость! Не могу я примирить разум, которым ты одарил людей, с их низостью и подлостью! И разум ведь терпит поражение снова и снова, ведь до сих пор нет справедливости ни в одном султанате, нам известном!

Ибн Сина медленно приблизился к разгневанному Бируни, остановил его, осторожно обнял за плечи:

— Человек все равно победит и льва, и кабана, учитель¹.

Бируни с сомнением покачал головой.

— Этот старый-престарый мир вы знаете лучше меня,— продолжал Ибн Сина.— Пройдут сотни лет, может быть, тысячелетия, но в конце концов победителем в борьбе выйдет ум, человечность...

— Через тысячу лет! — воскликнул Бируни.— А я... я думаю о сегодняшнем дне.

2

Бируни добрался до своего дома в городе, когда рассвет был уже близок. Рассеянный свет молодого месяца лился на город, мерцал вдали над горами, и звезды сверкали особенно ярко, будто радовались слабости неполной луны. Прохлада настоящего на запахах трав воздуха успокаивала.

Город только начал пробуждаться, отгонял от себя тревожные сны.

Калитка почему-то была не заперта. Под ветвями деревьев во дворе притаилась тишина, только в углу двора приятно журчала вода в арыке да откуда-то издалека доносились сюда мерное гудение воды, льющейся из мельничных желобов, и взлаиванье собак.

Бируни, все еще объятый печалью, медленно прошел к арыку, присел на корточки, умыл лицо. Потом потрогал и, склонившись, понюхал цветок, вытянувший из травы головку.

Направился к дому.

Входная дверь в доме тоже подалась сразу же, стучать не пришлось.

¹ По известной на Востоке легенде, человек представляет собой «клетку» — триединство, в которой заперты человек, лев и кабан. Первый олицетворяет ум, второй — агрессию и жестокость, третий — низменные страсти. Эти три живых существа обречены на вечную и непрекращающуюся борьбу.

В комнатке Сабху был замечен свет. Бируни на цыпочках подошел вдоль стены к окошку, заглянул в него. Сабху сидел на коленях в углу, к окну спиной; в руках он держал какую-то красную ткань; видно, он молился, что-то шепча и склоняясь лбом к полу, целовал красную ткань. Лицо терялось в тусклом свете фонаря, из ниши освещавшего комнату... Да, индеец молил своих бесчисленных богов. О чем? Бируни вгляделся: Сабху целовал цветасто-красный платок Садаф-биби! Юноша молил о том, чтобы ниспослали боги удачу любимой девушке,— молил грозного Шиву, который может, коли умилистить его, дать человеку счастье, молил бога жизни и смерти, созидателя сущего, четырехликого и четырехрукого Брахму, молил великого бога-охранителя Вишну, который благожелателен к людям.

Бируни прислонился спиной к стене дома. Стыд горячей волной окатил его. Вспомнилась последняя ночь перед тем, как ему суждено было попасть в зиндан. Вспомнилось, как девушка робко вошла к нему, опустилась на колени, а когда он заговорил про Сабху, про свое намерение соединить их судьбы, то слезы брызнули из глаз Садаф-биби. «Не прогоняйте меня, не прогоняйте меня от себя!» — восклицала она, целуя руки его, старые, натрудившиеся за полвека руки. И пробудили в нем слезы девушки какую-то сладкую тревогу, надежду на что-то такое, в чем было стыдно теперь признаться: он, старик, потянулся к совсем юному цветку, не нашел в себе сил противостоять порыву Садаф...

Кто знает, если бы он в ту же ночь, а лучше бы еще раньше, соединил своей волей судьбы этих двух молодых людей, может быть, сейчас все было бы иначе и в жизни дорогой ему девушки.

Бируни так и не зашел к себе в дом, бесшумно вышел со двора на улицу, отправился в питейную Маликула шараба.

Рассвело.

Впереди показался гузар, где росли могучие чинары — знак поворота, перекресток нескольких улиц. Торговцы сладями и пекари открыли свои лавки первыми, вырвались на волю острые и сладкие запахи — горячей самсы, кебаба, свежей халвы. Водоносы поливали водой из огромных бурдюков пыльные площадки, дворники длинными метлами сметали мусор. Вон во дворе караван-сарая закопошился торговый люд, — базар, скоро начнется базар!

Бируни пошел вдоль торгового ряда ювелиров. Здесь тоже полито и так чисто подметено, что капли, как говорится, маслом на землю, ту же каплю в чистоте сможешь слизать языком. Но странно, что богатые лавки, которые обычно открывались тоже очень рано, еще глухо прикрыты ставнями. А вон те две, что открылись было и тут же захлопнулись? И куда бегут эти люди?

Бируни помнит: лавка Пири Букри стоит вблизи от базарной площади. Ну да, вот она показалась. Но что за суматоха перед ее захлопнутыми дверями и ставнями? И народу там прибывает и прибывает.

Бируни тоже ускорил шаг. Отовсюду доносилось:

— Бедный Пири Букри скончался! Да благословит его аллах! Хороший был человек!

— Язву тебе на язык! Был бы хороший, сделал бы он такое?

— А что он сделал?

— Да простит ему аллах — повесился он.

— Не знаешь, так и не разевай рот, дурень. Не Пири Букри — служанка его повесилась!

— Ах, несчастная!

Бируни — чувство тревоги все усиливалось в нем — втиснулся в толпу, гудящую, словно осиное гнездо. Еле прошел вперед. Иные, узнав ученого, старались помочь его продвижению. Иные не обращали на него никакого внимания, переговаривались между собой, толкались, загоразивали проход.

С грохотом распахнулась дверь лавки, и кто-то не вышел, нет, выскочил, выбежал — низкий, коренастый, большеголовый. Увидел множество людей перед собой, застыл как вкопанный — босой, простоволосый.

Пири Букри!.. Его борода взлохмачена, лицо отекающее, горб колом выступил над полуголыми плечами, в глазах, по-детски безвинных глазах, тоска и отчаяние, на руках, до локтей голых, — кровь, пятна крови!

Толпа тотчас притихла.

Пири Букри ошалело обвел людское множество странно и страшно бегающими голубыми своими глазками, а затем воздел руки вверх, раскрыл ладони, как на молитве, закричал:

— Нет! Эту девушку... служанку свою я не убивал! Не убивал! Она повесилась сама!

Горбун принялся рыдать, рвать на себе бороду. Вдруг увидел Бируни. Застыл. Кинулся к нему. Пал наземь. Обнял его ноги чуть ниже колен:

— Прости меня, несчастного, нечестивого! Прости, мавляна!

И Бируни тоже застыл истуканом, будто потеряв разум. Он хотел пнуть горбуна, ползающего у ног. Он хотел еще зайти внутрь лавки, посмотреть на бедную Садаф, но тут же, вздрогнув, представил себе, как болтается в петле ее тело, юное и прекрасное, и чуть не упал наземь от ужаса.

Медленно пошел прочь.

Остановился.

Будто кто-то вонзил ему в грудь заржавленный нож и проворачивал, проворачивал в ране...

Безгрешная, как горлинка, погибла. Последней надежде — конец! Последняя свеча в его многотрудной жизни! Теперь он — келья без единого луча света.

Бируни и сам не заметил, как вернулся к гузару. Попросил чашку воды у какого-то водоноса. Выпил воду и долго сидел потом под карагачем, не в силах подняться и продолжать путь.

3

...И перед питейной Маликула шараба было, несмотря на ранний час, уже многолюдно. Чего-то ждали. Внутри не заходили.

«Странно! Что тут происходит? Почему у всех головы опущены? Почему все молчат?»

Нищие и дервиши, облепившие порог питейной, увидев Бируни, расступились.

Бируни, преодолевая все еще не отпустившую острую боль в груди (вот о чем надо бы спросить у Абу Али!), нерешительно приотворил дверь. В полутемной комнате вроде бы никого не было, только под тусклой лампадкой на полочке — прямо против входа — сидел какой-то бородач в пестром раздерганном халате. Шапка сползла на лоб. Непонятно было — бодрствует он или спит.

«Маликул шараб! Слава аллаху, жив!»

И тут Бируни заметил в углу чье-то мертвое тело, завернутое в саван. «Наргиз-бану?» — спросил самого себя Бируни и шагнул вперед от порога.

Маликул шараб услышал, что кто-то подходит, медленно поднял голову, сдвинул трюх на затылок.

Бируни поздоровался. Старый дервиш — тень преж-

него «повелителя вина» — ответил кивком на приветствие. Он узнал Бируни, но остался безучастным.

— Как ты, дорогой? Слава аллаху, я вижу — освобожден из проклятой темницы, вернулся живым и здоровым.

— Слава аллаху, слава аллаху! — Глаза Маликула шараба наполнились слезами. — Покорный ваш слуга, мавляна, вышел живой из зиндана, хоть и не здоровый, но вышел, а вот Бобо Хурмо... Мы лишились его, Абу Райхан, навсегда лишились.

Бируни провел ладонями по лицу и хотел пройти в угол, чтобы взглянуть на покойного. Маликул шараб попросил сесть рядом с собой:

— Оставь, Абу Райхан, не надо смотреть. Позову глухонемого дервиша, пусть читает Коран... Пусть читает... Бедный Бобо Хурмо! Не дай бог никому перенести такие мучения. Вчера его выпустили из зиндана. Не дошел до моей лачуги, упал на дороге. В полдень будем выносить. Будешь на похоронах или не сможешь?

— Как же не буду?.. Только у меня есть одно дело к тебе.

— Знаю. В Газну пожаловал Ибн Сина.

— Откуда знаешь?

— Нет секрета в Газне, которого не знал бы Маликул шараб, бедный дервиш. Кровопийца-султан, оказывается, оскорбил Ибн Сину. Еще похлеще, чем некогда шаха поэтов... Мошенника приняли за настоящего Ибн Сину, а настоящего Ибн Сину обозвали мошенником и обошлись как с мошенником... Ну, да нет худа без добра, мавляна! Лжелекарь — это ведь тоже наказание султану Махмуду, может, оно послано свыше.

— Но жизнь Ибн Сины в опасности, Маликул шараб!

— Знаю. Все знаю, Абу Райхан. Я сам хотел послать к тебе верного человека. — Маликул шараб придвинулся к Бируни, зашептал: — От имама Исмаила прибыли гонцы. Что нужно Ибн Сине — напиши тотчас. Иمامу передадут немедленно. А вечером, перед закатом солнца, получим ответ... Хочешь, жди здесь, в моей лачуге.

Неожиданности преследовали Бируни в последнее время. Не успел он успокоиться от услышанного и увиденного в питейной Маликула шараба, как там же, в питейной, появился новый гость. Тут и хозяин был удивлен донельзя:

— Поэт Унсури?!

— Хвала, хвала тебе, Маликул шараб! Узнал меня,

дорогой друг, узнал!.. О, мавляна Бируни тоже, оказывается, здесь! — Поэт, подметая пол длинным своим халатом, неуклюжей походкой подошел к ним обоим, поклонился — сначала Бируни, потом Маликулу шарабу. Опережая обоюдное их недоумение, сказал, вытирая пот со лба: — От солнца мира — к вам. Прибыл, дабы передать важное поручение покровителя правоверных, дорогие! — Тяжело дыша от волнения, глянул в темный угол, продолжил: — А где тот грешный раб аллаха Бобо Хурмо, дорогой мой Кутлуг-каддам?

Глаза Маликула шараба гневно вспыхнули:

— Если благословенный наш повелитель захотел позаботиться о Бобо Хурмо, то он... опоздал! Бобо Хурмо оставил наш бранный мир и осветил своей душою мир вечный, загробный.

— Да будет покой его душе!.. И когда?..

— Вчера в полночь! Если б вам выпала одна десятая доля страданий, которые претерпел Бобо Хурмо, вы, о садовник сада поэзии, давно угодили бы из этого сада в сад райский!

Унсури будто и не расслышал злых слов Маликула шараба. Постоял, пошептал что-то молитвенное.

— Сей бедный Бобо Хурмо... приснился ныне покровителю правоверных. Удивительно!

— О садовник, не стоит удивляться. Замученный Бобо Хурмо еще много раз будет сниться благословенному нашему султану!

Поэт не ответил и на эту колкость... Султан вчера вечером пригласил его к себе. В спальне, как обычно в последние месяцы, было мрачно и таинственно. Султан лежал на спине, лицом вверх. Его голова, напоминающая уродливо вытянутую гладко-рябую дыню, провалилась в пуховую подушку, глаза были плотно сомкнуты, скуластое лицо заострилось и приняло совсем желтый цвет.

«Великий исцелитель» и Абул Хасанак куда-то провалились. Унсури, весь в холодном поту, долго стоял у ног султана, так и не открывшего глаз. Султан, когда был здоровым, любил, чтобы ему гладили ноги. Преодолевая боязнь, Унсури осторожно протянул руку к желтокожим, высохшим голеням султана. От прикосновения султан пробудился.

— А, дорогой Унсури... — произнес султан едва слышно. — Послушай-ка, поэт, в полдень я сегодня задремал и приснился мне тот нищий... Ну, Бобо Хурмо, владелец рощи хурмы... где теперь сад Феруз. Приснился в белом

наряде, похожем на саван. Без шапки, босой, вошел вои в те двери... Что-то шептал, чем-то грозил — я не понял. Но... прошу тебя, Унсури, возьми хурджун с золотом и дай ему это золото, чтоб он оставил меня в покое...

Уставил в потолок взгляд почти совсем уже омертвевших глаз — без блеска, чуть мерцавших, словно тонкая пленка воды на самом дне высыхающего колодца. Тихо досказал:

— Ведь отныне моя цель — творить добро, только добро!

Слезы пролились — их было мало — из тусклых глаз Махмуда.

— А где этот самый... мой Ибн Сина, где Абул Хасанак? Неужели нет ничего нового о божественных плодах?.. О создатель! Как мучительна кара твоя...

...Унсури повернулся к Маликулу шарабу:

— О господи, что же мне делать? Покровитель правоверных послал Бобо Хурмо целый хурджун золота, говорил, что искупить хочет свою вину... Целый хурджун!

Маликул шараб горько рассмеялся:

— К чему человеку золото после смерти? Когда был живой — так мучили, истязали... Отнеси золото обратно!

Унсури всхлипнул:

— Бедный повелитель! Не знаю, сколько дней ему осталось жить!..

В разговор вступил Бируни:

— Где же тот мошенник, который обещал найти божественные плоды? И разве не помог покровителю правоверных «великий исцелитель»?

Он хотел сказать и еще что-то язвительное, но, видя, как горько всхлипывает Унсури, на миг представил себе султана, одиноко лежащего в опочивальне, обманутого и брошенного всеми «верными» своими и «доверенными», и сдержал злые слова:

— Все от аллаха, все, все от аллаха...

Унсури направился к выходу. Маликул шараб кинул вдогонку.

— Подождите, господин поэт! Если повелитель возжелал отплатить безгрешному бедняку, пусть прикажет дать клочок земли в саду Феруз, чтоб мы смогли похоронить несчастного в некогда любимом месте.

Унсури с трудом поднял с пола хурджун, пробормотал:

— Да, да, я донесу вашу просьбу до слуха солнца мира!

— Донесите, донесите. А мы подождем ответ до вечера!

Маликул шараб посмотрел на Бируни, как бы спрашивая: «Правильно ли я поступил?» Но Бируни был всецело занят своими мыслями. Об Ибн Сине, которого надо спасти. О Садаф-биби... утихшая было острая боль снова, стрела за стрелой, била в сердце...

Он думал вообще о жестокости жизни: в молодости он слышал, что «в смерти — истина», что «смерть — это благо», и ему казалось тогда, что подобные суждения вопиюще несправедливы, но «тогда» давно прошло, а теперь он убеждался в том, что есть в них некая правда и некая справедливость тоже, ибо, допустим, не есть ли освобождение от земных мук для Бобо Хурмо — благо и разве не благом для других будет близкая смерть угнетателя, ложно называемого покровителем правоверных?

Настал вечер, но от султана так и не пришло никаких вестей. Бобо Хурмо похоронили на краю большого кладбища.

Небо, закрытое серыми облаками, пролило на собравшихся легкий, теплый дождь. Люди не разошлись. Ни дервиши, ни бедняки, ни поэты, ни музыканты — никто. Глухой дервиш долго сидел над могилой, долго читал молитву. Его печальный голос еще звучал, когда люди слышали неподалеку, но за стенами кладбища, иные — щемяще-грустные — звуки. И люди снова застыли под дождем, вслушиваясь, не шевелясь, в хватающий за сердце мотив.

— Бедный Пири Букри! — сказал кто-то.

— Лишился ума, бедняга! — сказал другой.

— Хоть и лишился ума, но играть не разучился, — сказал третий.

Маликул шараб и Бируни молча слушали напевы, пока горбун не закончил. Когда вышли из ворот кладбища вслед за людьми, Маликул шараб вдруг пожалел Пири Букри: что ни говори, несчастный он человек, несчастный.

Снял с головы шапку, вытер ею капли дождя с лица, потом из прорехи вытащил письмо, закрученное, как маленький най. То был ответ имама Исмаила: «После захода солнца мои сарбазы будут вас ждать в назначенном месте. Спешите! Может быть, ночью нукеры Хасанака нападут на обсерваторию».

Бируни заторопился. Маликул шараб поманил одного из дервишей в лохмотьях, что-то сказал ему на ухо.

Уж откуда явился вскорости крупный воронбй, Бируни догадаться не мог, но явился, его привел под уздцы давешний дервиш.

— Тысячу раз сожалею! — сказал Маликул шараб. — Сегодня надеялся выпить с тобой по чаше вина, мавляна. Да вот... И еще жаль: столько лет я мечтал увидеть Ибн Сину, и нынче не удалось. Мой почтительный поклон ему! Пусть улыбнется счастье почтеннейшему из почтенных мудрецов этого мира.

4

...Им обоим казалось, что все, что скопилось в душе, все уже высказано и обговорено. Но чем скорей приближался час их расставания, тем больше нарастало желание продолжить беседу еще и еще, будто самое сокровенное недовысказано.

Приближалась, однако, и опасность, о которой предупредил их имам Исмаил, и потому нельзя было терять время ни на что другое, кроме как предупредить опасность, опередить налет Хасанака на обсерваторию.

Бируни подарил Ибн Сине «Индию», красиво и быстро переписанную для шейх-ур-ранса преданным Сабху. А Ибн Сина с превеликим уважением преподнес Бируни редкостный список «Аль-Канона».

Сарбазы имама Исмаила стояли наготове в густой арчовой роще у выхода из подземного коридора.

Бируни и Ибн Сина чувствовали, что эти их общие мгновения — последние, что никогда больше они уже не увидятся друг с другом. Старались держаться спокойно, но горько, как же горько было им расставаться!

Бируни первым прижал к себе Абу Али:

— Прощай, дорогой мой. Прости меня... И пусть тот, кто тебя унизил, сам будет унижен! Тебя поручаю имаму Исмаилу, а имама — аллаху, Абу Али!

Обнял учителя Ибн Сина, с трудом справляясь со слезами:

— Учитель! Я свое отстрадал, сейчас боюсь за вас. Может быть, нужно и вам уйти к имаму Исмаилу? Хотя бы месяца на два.

— Если мы будем там вместе...

— Увы! Мне как можно скорей надо добраться до Исфахана. Там свирепствует чума. И... задуманы книги, которые я должен еще написать, а в горах их не напишешь.

- О справедливых шахах?..
— Надо мной посмеиваетесь, а вы сами, учитель, разве не написали книг о шахах?
— За мной этот грех, Абу Али, за мной.
— Ну, будьте здоровы, учитель. Вашу доброту не забуду никогда.
Ибн Сина отвернулся. Бируни слез не стыдился:
— Счастливого тебе пути, друг мой, брат мой... Да сохранит тебя всевышний, Абу Али!

ЭПИЛОГ

«Сегодня — четыреста восемьдесят первый год хиджры, восемнадцатое число месяца мухаррам¹. Шейх, ушедший утром на совет ученых, вернулся домой поздно ночью с каким-то письмом. Шейх был сильно возбужден.

С тех пор как мы вернулись из немилосердной Газны, я не видел шейха в таком состоянии.

Еще весной, после возвращения из Газны, нам вдогонку оттуда пришла весть о кончине султана Махмуда — да сделает аллах его могилу мягкой! Весть эта содержалась в письме Хатли-бегим, там сообщалось, что султан осиротил этот мир в конце месяца савр², похоронен был в саду Феруз; в султанате на сорок дней и сорок ночей объявили печаль поминовения.

Эмир Масуд тоже объявил печаль поминовения. Облачился с головы до ног в белое и уже на следующий день отправился в Газну. С войском.

Он был весьма печален с виду, но чувствовалось, что в глубине души его таится радость. Перед выездом в Газну пригласил он всех знатных во дворец, пригласил и шейха. И даже отдал распоряжение освободить Каракез-бегим, которая все еще томилась в зиндане. После того как эмир Масуд покинул Исфахан, в городе установилось спокойствие, черный мор тоже удалось прогнать. Мы были сильно заняты восстановлением библиотеки шейха.

Одно его сильно беспокоило — не было никаких вестей от мавляны Бируни. Поэтому, увидев в руках шейха письмо и его волнение, я сильно обеспокоился. Но слава аллаху — мавляна Бируни, оказывается, был жив и здоров. Письмо прислал нам ученик Бируни, историк Абу

¹ 1030 год, декабрь.

² Махмуд Газнийский умер 30 апреля 1030 года.

Фазл Байхаки. В нем сообщалось о резне, затеянной эмиром Масудом.

Выяснилось, что эмир — истинно сын своего отца. Оказывается, еще не успев доехать до столицы, успел он снять с плеч немало человеческих голов. Оба визиря были тоже казнены. Хотя и говорят, что повинную голову меч не сечет, и хотя они оба, со своими сокровищами и отрядами почета, вышли Масуду навстречу, целовали ноги, каялись и плакали, он их не простил.

Али Гариб был убит в Нишапуре, когда находился в гостях у младшего своего брата: его зарубили саблями.

Абул Хасанак был обвинен в карматской ереси (вот зловещая шутка судьбы!), и его закидали камнями на гератском базаре.

— Вот сам прочитай,— сказал шейх и протянул мне письмо.— Вот это место прочитай!

Я видел немало красивых почерков у разных переписчиков, но красивей почерка Байхаки не встречал. Но то, о чем написал он столь изысканно и красиво, было отвратительно и бесчеловечно:

«Визиря подвели под виселицу — спаси нас от такой казни, создатель! — и приказали раздеться. Абул Хасанак подтянул шаровары повыше, перевязал себя крепко в поясе, снял дорогой зеленый халат, белую рубаху и вместе с черной чалмой отбросил все это от себя подальше. В одних шароварах, белотелый, остановился он под виселицей, повернулся красивым своим лицом к толпе.

Народ не видел от Абул Хасанака ничего хорошего, но все же его жалели, иные — плакали. Чтоб не повредилось лицо от камней, палачи надели ему на голову железную маску, вроде ведра, — и это было сделано потому, что голову Абул Хасанака, кармата, надлежало отправить в Багдад, в подарок халифу. После всех подготовок крикнули: «Правоверные! Закидайте вероотступника камнями!» Но жалостливый простой люд не захотел выполнить приказ улемов. Поднялся ропот, послышались возгласы: «Зачем беднягу закидывать камнями, все равно собираетесь вешать его! Так вешайте скорей!» Всадники, окружившие площадь, подавили ропот толпы. И все же палачам пришлось сначала накинуть петлю на шею бывшему визирю. Выбили из-под его ног помост. И снова, обращаясь к народу, приказали побивать камнями Абул Хасанака. Народ опять не послушался. Тогда стали раздавать нищим деньги, и за это они начали кидать камни в висевшего Абул Хасанака, но Абул Ха-

санак уже был к тому времени мертв. Палачи затем отделили голову от туловища и перевесили труп — ногами вверх¹.

У Хасанака был старый враг Абу Сахл Завзани. Этот человек в день казни своего недруга зазвал многих столпов государства — беков и эмиров — к себе домой на большой пир. В самый разгар его принесли и поставили на дастархан золотой горшочек под крышкой.

— Это свежее, совсем свежее угощение, на радость нам,— сказал Абу Сахл Завзани.— Давайте попробуем.

— Отведаем, отведаем! — весело поддержали хозяина гости. Сняли крышку и обомлели, увидев голову Абул Хасанака!..

Да, кто в этом мире творит добро, тот и получает добро, а зло оборачивается злом. Абул Хасанак — пусть аллах простит ему его грехи! — причинил много страданий правоверным, потому, я думаю, и понес наказание. А единственный, кто остался безнаказанным,— так тот самый хитрец, кто назвал себя господином Ибн Синой. Говорят, что хитрец сей, способный, видимо, и блоху стреножить, до сих пор называет себя господином Ибн Синой и подвизается в Мавераннахре».

Когда я дочитал до этого места, то невольно посмотрел на шейха. Почувствовав мой взгляд и тотчас поняв, что я желал бы спросить у него, шейх сказал:

— Мудрецы правы, Абу Убайд! В нашем мире подлунном тот, кто причинит страдания другим, пострадает и сам, а кто творит добро, пожинает добро... Может, не сразу. Но получается все же так. Человек победит и льва, и кабана... Не сразу. Но победит.

— А Шахвани? — спросил я, скорее всего, невпопад. Шейх улыбнулся:

— Люди, подобные Шахвани,— загадка мира, которую никто пока не разгадал, ни один мудрец... Мавляна Бируни прав: будем держаться подальше от сильных мира сего. Нет большего счастья, чем знание... Возьми-ка бумагу и перо, да и примемся за работу. Я хочу, чтобы ты кое-что записал, дорогой!»

Из воспоминаний Абу Убайда Джузджани
Ташкент, 1977—1982.

¹ Как сообщает далее свидетель, Абу Фазл Байхаки, тело Абул Хасанака висело вверх ногами на виселице семь лет, никто не смел его снять и захоронить.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	5
Глава вторая	19
Глава третья	37
Глава четвертая	48
Глава пятая	56
Глава шестая	59
Глава седьмая	66
Глава восьмая	82
Глава девятая	90
Глава десятая	107
Глава одиннадцатая	116
Глава двенадцатая	126
Глава тринадцатая	128
Глава четырнадцатая	133
Глава пятнадцатая	141
Глава шестнадцатая	164
Глава семнадцатая	175
Глава восемнадцатая	182
Глава девятнадцатая	189
Глава двадцатая	195
Глава двадцать первая	205
Глава двадцать вторая	216
Глава двадцать третья	233
Глава двадцать четвертая	246
Глава двадцать пятая	262
Глава двадцать шестая	274
Глава двадцать седьмая	282
Глава двадцать восьмая	289
Глава двадцать девятая	301
Эпилог	314

ЯКУБОВ Адыл

В ЭТОМ МИРЕ ПОДЛУННОМ...

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» **Н. Пшенецкого**

Редактор **Е. Бережная**

Художественный редактор **Э. Канаева**

Технический редактор **А. Березина**

Корректор **Т. Низамова**

ИБ № 1342

Сдано в набор 10.02.89. Подписано в печать 21.04.89. Переиздание.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага книжно-журн. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Печ. л. 10,0. Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 18,16. Усл.
кр.-отт. 17,01. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2076.
Цена 1 руб. 20 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства
«Звезда», 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

Якубов А.

Я 49 В этом мире подлунном...: Роман. Пер. с узб.—
М.: Известия, 1989.— 320 с., ил.

В романе известного узбекского писателя Адыла Якубова действуют два знаменитых мудреца Востока — Абу Райхан Бируни и Абу Али Ибн Сина (Авиценна), воплощая собой мир света и разума, мир гуманности, которым противостоит мрачная фигура завоевателя султана Махмуда. В книге воссозданы политическая борьба и бытовые картины XI века. Увлекательный сюжет ведет читателя во дворцы тогдашних деспотов, на древние караванные пути, в кельи ученых.

я $\frac{4702570200-053}{074(02)-89}$ —85—89

ББК 84 Уз 7

В 1989 году
издается 7 книг
розничной серии
**«БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ»**

М. Карим. Помилование. Повести. Перевод с башкирского.

Б. Мегрели. Ответный шаг. Романы.

Молодая проза Прибалтики. Сборник.

Ю. Трифонов. Старик. Отблеск костра. Роман. Повесть.

М. Юхма. Голубая стрела. Роман. Повесть. Перевод с чувашского.

В. Яворивский. Полюнь. Роман. Повесть. Перевод с украинского.

А. Якубов. В этом мире подлунном... Роман. Перевод с узбекского.